



Иван Алексеевич Бунин

Том 3. Произведения 1907–1914

(Собрание сочинений в шести томах #3)

Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1933) — известно во всем мире.

В третий том Собрания сочинений И. А. Бунина вошли повести «Деревня» и «Суходол», рассказы 1909–1914 годов и цикл «путевых поэм», объединенных под названием «Тень Птицы» (1907–1911).

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Произведения 1909-1914	0006
Деревня *	0006
Суходол *	0249
Крик *	0358
Смерть пророка *	0368
Снежный бык *	0382
Древний человек *	0387
Сила *	0404
Хорошая жизнь *	0424
Сверчок *	0469
Ночной разговор *	0488
Веселый двор *	0528
Игнат *	0594
Захар Воробьев *	0648
Ермил *	0674
Князь во князьях *	0697
Последнее свидание *	0716
Жертва *	0730
Забота *	0737
Будни *	0745
Личарда *	0762
Последний день *	0776
Всходы новые *	0789
Копье господне *	0802
Иоанн Рыдалец *	0814

Худая трава *	0825
Пыль *	0863
Лирник Родион *	0871
Сказка *	0884
Хороших кровей *	0892
При дороге *	0904
Чаша жизни *	0951
Я все молчу *	0991
Святые *	1012
Весенний вечер *	1036
Тень Птицы *	1057
Тень Птицы *	1057
Море богов *	1098
Дельта *	1112
Свет Зодиака *	1122
Иудея *	1143
Камень *	1162
Шеол *	1179
Пустыня дьявола *	1185
Страна содомская *	1204
Храм Солнца *	1213
Геннисарет *	1233
Произведения, не включавшиеся в собрания сочинений	1242
В стране пращуров *	1242
Проза Бунина 1907–1914 годов	1250
Комментарии	1287
Выходные данные	1437

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в шести
томах
Том 3. Произведения
1907–1914

Произведения 1909-1914

Деревня*

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше со-

знается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоянный дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он

по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острее, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, — «не плохо, ничего не разбрешет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взял приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именье: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и гово-

рили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — оборотаем. Но по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И по минутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в

лавку, — темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал:

— Нет-с, уж я своего добьюсь, — говорил он

знакомым. — Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это, — одна приспала, другая — все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть па иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, — так смиренно и ласково-грустно, — темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком,

завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники и в доме появился «Новый полный аракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, злоеющие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидел жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

*Где мой дитяtko лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...*

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угодни-

ку...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен нака- зать его за то, что он, в суете и хлопотах, толь- ко под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он полу- чил письмо с Афона: «Боголюбивейший Бла- годетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне я честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любо- вью уделяете лепты на созидание и украше- ние храмов божиих, на келий иноческие. Ны- не хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордо- стью верил, что и впрямь до самого Афона до- шли слухи о нем, хорошо знал, что уж слиш- ком много афонских хижин пришло в вет-

хость, — и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, — особенно при фра-

зе, не сходявшей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не накинешь платок! И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл

четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари...

Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— «Каторга!» — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лоша-

дей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом спальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевах и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый, севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в

длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда

доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. И воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Во-т квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лоша-

дей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро до Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, — на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры воз-

ле порогов; высокие шести у ворот, а на шести — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкапывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятни-

кам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

*Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!*

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что по, явилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессо-

ра можно было разобрать стихи:

*Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...*

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в

кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустешие:

*тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —*

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и попадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: работники бы этого лодыря! Полднее солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на

тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиреницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадеенок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищebroды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрал окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый дет-

ский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей пронесился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Бе-

да!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь. С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попить — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция. Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

Ив злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. — «Все жида работают! Все жида-с да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то

держись: почает удачу, почает шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, нехорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодырь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придиричивость. Все, что

делается по дому, начинало казаться отворотительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — берзовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с

перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугушка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашкой рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да, капитал-то, к примеру, не позволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил,

деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вдыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась!

Да что — отравить хотела! Иной раз, к приме-

ру, остудишься.... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за сигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да вместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решился:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете? Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, — что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьюми!

Но «распоряжение» — таки вышло. Пронесся в одно из вокресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после

дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугушки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух

был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономии посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то, — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер?

Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему! Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Стой!

А издали доносились голоса, крики. И из всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду

шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились слухи. Но Тихон

Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя па свадьбе, и ушел в солдаты. А Молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с пазументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянув-

шись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертнова не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшее лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув, и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко задавшим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говорите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделиться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услышавши это. — Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью, — ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, — как и многие в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубьями пол, Пахнуций конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады,

как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он но просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, — начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли, — анархист... Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, — драть шкуру не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, — драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. — Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанивал пальцем по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал он. — Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, — покосился Кузьма на брата, — так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка сырых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Да-

вай-ка лучше об деле поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да, а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь. — Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго. — А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул, — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. — Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а за-сим говори дело. — Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма, все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он. — Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманнные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что

брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал, блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло мажоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич, — сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, — а у нас одна песня... И непонятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что почему?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем

прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно. Она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, — противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, Щелкал на счетах. Смилоstinился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратись на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, — сменилась бурей, лив-

нями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугушки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугрибенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», — пригласили Козу и Молодую, вей ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать верев-

кой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, — после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, — то увидела, Что Молодая, но пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, — опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее, — убийство или

такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубашу сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть

веселая тема.

— Имей в виду, — горячо перебил Тихон Ильич, — охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю Утиную Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими

окурками. Вентилятор, — жестяная труба в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придиричивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит па печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяни-

ца», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот, сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про него песен не

пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дела-то слово сказать! Кузьма остановился.

— Ну, говори, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у

крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отво-

ренной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но болезненным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящичку с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наше дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не

выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, — кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей; а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник

почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал: «Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровями дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду, — с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, — имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубил, — сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубил-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич. И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка то слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки не даром. «Все линяет, — думал он, — вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно, простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрылся, сползла на пол, и тогда

снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, — он показывал три, — поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колокол над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, — что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться

встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырým холодом, — караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светло, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братушка, — сказал Тихон Ильич сильным со сна голосом. — Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. — Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кор-мочку давай, — пробормотал старик, не под-нимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и тряся головой. — Ох, мати царица небесная!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное кры-лечко, на ледяную свежесть бледного ненаст-ного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет», — подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буя-на, кинувшегося к нему из-за угла: глаза бле-стят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом при-вязал его на цепь под амбаром, вернулся в се-ни и заглянул в большую кухню, в избу. В из-бе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выста-вив кострец и подогнув к животу ноги в ста-

рых больших валенках с толсто натоптаннми по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением. — Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал

возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда? Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он толь-

ко перерыл, переслюнявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, притворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверь, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где над табуреткой с оловянными тазом был прибит медный рукомо́йник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомо́йником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, при-

де-ешь, поклоо-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох, — сказал он, закрывая глаза и тряся головой. — Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, — в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил Врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула,

ее, по белому, замазали глиной — и получили очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель: над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчалась шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестящий из-за раздвоенной губы мужика. — Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину,

торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнувшего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить, — думал он, страдальчески морщась. — Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, со-

образить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задрезавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахара. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на мос-

ковский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоянный двор, то кабаки. Теперь вот жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесик, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, — да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковин. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез

Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых козovorотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, — Бучнев, Выставкин и Богомоллов. Выставкин, тот, что посередине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомоллов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, — когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончай-

шая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет также будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, — значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, — и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны слышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покой-

ный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жвавший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им те-

перь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул; морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшениную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только стащив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет; лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспшишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И бу-

дильник ожил, застучал и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались... —

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой — так и звали все: «Макарка Странник» — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках высокая палка, выкрашенная медяной, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бы-

вает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший сигарку и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключаящим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, — настолько зловещими, что его посещениями стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь йод окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и

беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело запивался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

*Расплачется мать, сыра-земля,
разрыдается! —*

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,

— вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

*Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!*

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйста, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам в падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку, — отрезал Тихон Ильич. — Меня, брат, не перебре- шешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее, — ответил слепой серьезно. — Тут, по крайности, прямая сообще- ние.

Смеркалось, гряды сплошных облаков си- нели, холодели, дышали зимою. Грязь густе- ла. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в гор- ницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомни- лось лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать

платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две тринки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим ему показался этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и

детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Жизнь мою описать следует...

А описывать-то что? Нечего. Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Мионов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: пом-

нишь мать? — и он ответил: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его,

жалко улыбається:

— Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, — например, купец Рукавишников, — рассказывали... Да я без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только но пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равны-

ми, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибираться... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, — сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубокодохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да,

вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытой душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по кособоку за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее все проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что

стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурасыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, — с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял

на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень короткие. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинового цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городском тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно ответил он. — Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, называя венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан;

— А это что ж за штука такая? Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич. — А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «По-

здравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...»

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль пролетарията в России. Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил, — ответил Дениска с грустной усмешкой. — А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, — седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, — и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он. — Тот тоже всегда так-то; наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич. — Деревня стоеросовая! А еще революционер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов», — с усмешкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покурива-

ет?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор, и, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечкй-то где рассчитывать? Под лавкой-то не считаешься.

Дениска подумал.

— Она! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, — читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький,

дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решил и закончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. — Я калянить не стану. Жениться можно. По приституткам хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али сви-ней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много, — сказал он протяжно. — Не знаю, про какую вы балакаете... Про эту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет, — это не твоего, свинья, ума дело, — ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не брешу попусту. Людьями сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу... — начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой

Ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки — решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, — глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, — и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав. Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно. — А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским

дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал теле-

графист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коконом, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной, дрожью дрожал сидевший на грязном полу поинтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелся.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок

бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился. Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то еще история была. Жил на селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябой. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугунок...

— Чугунок? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугунок-то чугунок, да в чугунок-то золото! Видимо-невидимо... Ну и заботел мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич

и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка. Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим кашлем,

— Никак, Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель окошел, — надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська

и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — надо кобеля хоронить. Как затопают поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьдесят целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вы-

нул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший? навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засылая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. Отдыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько

стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей денег патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, голштанний!»

«Нашел Деня на станцию Тула и как раз его обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла его тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!»

«Найду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых

брюках но безсапох...» —

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа. То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Ти-

хон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, — кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

*Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...*

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

*Целует, обнимает,
Прощается со мной.*

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди и радость, и воля, и беззабот-

ность, — то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет те-тушка в торгу! То зло глядел на лампу и бор-мотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милос-ливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что по-темнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные се-ни, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидал два зеленова-тых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в го-лову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разно-цветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно изпод земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электриче-ством, разметав, как летящая ведьма, дым-ные косы, ало озаренные из-под низу, неся

вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугуничок со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы, и сонно, мрачно глядел в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоквницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и

оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью по Муромским лесам, попал на

ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано!» Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал колыбельным ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей молодости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, — ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как

*В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять, —*

и как эта орда —

*В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...*

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин; читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию просвещеннаго без наук природою...»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого

картуза, большелищый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту Сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумали, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

— Боже милостливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев! Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого

сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев, с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лиходимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев....

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизей, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лю-

тер, наконец того? Нот, шаяишь! Мне-то, сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде проходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друга друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное

чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, — по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пятен, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статьи по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи

Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в сигарку. — Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил сигарку и полез в столик.

— Вот, — забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. — Вот тут, друг, куча добра... Я все почиывал, да вырезывал, да записывал... Помру, — годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет, — этого ты пока и касаться

не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби дерево по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ, — сказал Кузьма. — Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо каждый вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе, — в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество.

Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уже нетути!» Он не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться

на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидел красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекая трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от задохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без ко-

пейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, йод одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытывавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками.

Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоположных размеров, застилала глаза Кузьмы. «А непотивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистень-

кий офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончилась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал,

как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопля, мальчишка непрестанно тянул:

*Взгляните, мамыши,
какие мы есть несчастные, страдающие!*

*Ах, не дай господь, мамыши,
Таким страдающим быть!*

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!» В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго, и что впереди — нищета, потеря лица человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал послед-

ние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

*Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...*

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

*Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!*

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, останови-

лась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, отдельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, — думал он, — давно пора!». И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поределли, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще хуже стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вок-

зал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от сигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый, — сказал Кузьма. — По-новой-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отнял, — ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбил примьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет ор-

кестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик, извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. — Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо.

Дальше, возле рвов, промытых внешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, и на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызущую во рву кость...

«Да, да, — думал он, поднимаясь на гору. — Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галлопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и крутом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет: — В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и,

распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят... реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорах. В руке у старика была длинная ореховая палка и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Серый, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — „депутат хотел реку отравить“... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего —

несчастный!..» — И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдееча на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду. Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе

на лапти и вдруг, почувствовав ни себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...». И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: — «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой сол-

дат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаении. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свой чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит; «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец

в сапогах бутылками, ручник Черняев, все время косивший на него свинными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил!

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты о голоду околевал, ре хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ру-

чьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум!

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал

свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Дат но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежде...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях

и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанный оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшов.... Н-но, анчихрнст!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь; Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Не-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голем дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и

по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колению, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, — вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные, жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на целях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ, — задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

*Не пахать, не косить, —
Девкам жамки носить!*

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддев-

ки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди галма и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. — Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала, — говорил Меньшов, тащась по выгону. — Любит она его без памяти, — дело вдовье, — а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стоит.

— Это каким же манером — «того сто-

ит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень, — сказал Меньшов, кивая на больного. — От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неудобно, скучно, а

тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобылинником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте, — две длинных лощины, заросших дубняком, — назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым завромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колесах, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче,

над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубаше и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо я мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма.

На том боку, на покато́м выгоне, — темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с крот-

ким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчерась... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок, — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать, — ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочном шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками

хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, но ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но сми-

достигивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализациями, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он, на ходу, прислушиваясь к вокализациям. — Ишь, раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма. Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да барчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семьей год так-то!

— Это какой же — что курицу рубил? — Нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша учење!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного,

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять, хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, — бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так

сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким прита-

щил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемой ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, — притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, — приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди, — рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. — Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скггипом»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам, — сказал Кузьма, — вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. — Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Поле-

чился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю, — сказал он покорно и грустно, — что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. — Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут, — сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал, — строго сказал Митрофан,

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястреби-

ные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь ден сидел, — много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

— Да дурак, — перебил Митрофан, — булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугуничком. «Милости просим», — сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая

листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли, — складно и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда? — А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — услышался голос пекаря, — сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письменный, — сказал Аким. — Тебе из навозу, видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и в навоз! Зароется, не хуже свиньи,

и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего хочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. — Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничая, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки, — равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет, — подтвердил Митрофан. — Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Нанковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать, — сказал он наконец. — А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами;

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво. — Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь, — отозвался

Аким.

И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать сигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холод-

ные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загредел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошейей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам.

Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в го-

род и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать место приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает;

вздохнет, пройдетя по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — прости дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из Ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва до аллеи, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всеобщей, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька», — подумал Кузьма. И правда: вылез

из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплеываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать сигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте руба-

хами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

*Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —*

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух,

бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигаает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от де-

ревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, — Мысовых, как назвал их Оська, — и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребяташки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них бедовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широко-

му логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу,

твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подснежнику, милому позднему цветку голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство.

По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мясниками, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его

Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец, не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех нор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Одинодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоче несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?»

— Выучил?

— Выучил....

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он уши найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными: деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», од-

нодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Одинодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью, и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлеба и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покорись. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику. — «Видно, иди», — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугушке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плава-

но неслось на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугулки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дождок теперь для

зеленой первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь.
Так-то старички-то говаривали.

Он служил, в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма нарани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе за-

Вязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож. И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голем саду, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, падрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-

нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казакове и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге, — то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встречал не только во всемирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нече-

го. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не поддавало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей, — говорил Серый. — Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брешу.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, — «милое за немилое сбывал». И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он. — Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит, ребятишек-то. Не

чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросятка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, — возражал, раздражаясь, Яков. — Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и довезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машинку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и

простояла она без крыши год, почернела вся.

А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей; за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, потряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут, — ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь, — сказал Яков, — наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то не мед, — говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он. — Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел

дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская — экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик. — Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы.

Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладывать?

— Не время его накладывать, — твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя, бросать,

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому.

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, милый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасти... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел,

стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывая брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюща-то, с Егоркой, с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то? под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут нормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними...

Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепугались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужно-он...» Поддевочку его взял, пинжачок тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю и он сзади идет: снег белый, — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Закатилась — насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю пояснику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну, и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. — А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, — в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет,

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку поверх пенсне. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас стоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на су-мерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную за-

бить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говорившей только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни

тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, — угольком краснеет его трубка; хозяйка, — смирная, молчаливая, с придурью баба, — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом расска-

зывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок, — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под

нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжелые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у

снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сильный голос, — голос человека, проснувшегося рано, натошак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь,

всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закурил сигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью, днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи, — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалова-

нья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на два на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз; даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам, — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень... Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками; в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскаты-

ваясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымилась ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-

таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысынами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь,

смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт и передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахатров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, — о необходимости поскорее, поскорее развязаться с именем. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бо-

яться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его, — его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу.

«Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно бы-

ло дожить век у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Ош косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому», — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку

только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси тебе господь, внучка», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло, с лаптей текло по полу. От ветхого, бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отозвался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось? Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая спрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норovit человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепах» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от

холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду; склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И студился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью он пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказа «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он

дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, привезли из города муки, водки, соленого судака; а он возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнил это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых бах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещение говорили, что птица мерзла на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и

закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться.

А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым креп-

ким волнам полей к Тихону Ильичу. Заинде-
вевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко,
екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы се-
рого пара; козырьки голосили, звонко визжа-
ли железными подрезами по жесткому снегу;
сзади, в морозных кругах, желтело низкое
солнце; спереди, с севера, несло жгучим, за-
хватывающим дух ветром; вешки клонились
в густом кудрявом инее, и крупные серые ов-
сянки стаей летели перед меринком, рассыпа-
лись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый
навоз, опять взлетали и опять рассыпались.
Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые
ресницы, чувствовал, что задеревеневшее ли-
цо его с белыми кудрями усов и бороды стало
похоже на святочную маску... Солнце сади-
лось, снежные волны мертвенно зеленели в
оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин
тянулись голубые тени... Кузьма круто повер-
нул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце
село, в доме с запущенными серыми стекла-
ми брезжил тусклый свет, стояли сизые су-
мерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь,
висевший в клетке возле окна в сад, окошел,
лежал вверх лапками, распушив перья, раз-

дув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновкау занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово. Но Молодая равнодушно, сухо ответила: — Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ниче и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату весь дрожа, со страхом сообщая, как же это и куда о будет ходить теперь за нуждой, лет на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Мо-

лодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, — зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, не леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, — бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, — руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто то, но нехорошо было то, что Кла-

ша почему-то не зажигает огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, и даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-нибудь чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, — и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: слышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце, Синел табачный дым. Возле постели сидел стари-

чок-фельдшер, пахнувший лекарством и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечи-

стым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, влочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, — найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, шел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в

саду, на белоснежном покрове поля краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сторбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять спускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма, — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стоял вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за

один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. — Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем братуша, в город, подалее от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавал подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро за живет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив от целковый Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на сигарки потолок, который Денис оклеивал газетами и разными картинками. Обдирал конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом.

Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорезли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услышав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушные Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете, — сказала она с дрожью в голосе. — Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец пове-

рила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам, — сказала она тем милым тоном каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат, — ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь, — ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, — картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работ-

ник, мужачинка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломками. Подняли ломы да как заорут: «Руки вверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк:

— Да договаривай же, — сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение, — полусердито, полуплутиливо отозвался Тихон Ильич. — Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить!

Пора бросать...

Кузьма потерябил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, — твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. — И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гарао, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего, только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за ссыпку примемся.

Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, — и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в вида — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивал кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано, на печи-то лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не Могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, — это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, — нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич. — Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо

подхватил Кузьма. — Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты его живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая. — У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич. — Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с то-

бой хоррши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, — в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма. Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, отдельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом, — Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Деййски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь,

прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился.

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пахут целую тысячу лет, да что я — больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигающим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с трестом надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насильовали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью, — тихо ответил Тихон Ильич. — Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жале-ли! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, — кабы по-

везло им в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить, — отозвался Тихон Ильич страдальчески. — Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. — Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал: из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию

созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищий...

— Царие и нищий! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *она взяла да и истаскала его наизнанку...* Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей*. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел

негромкий разговор: У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя: на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждаться-то нельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, потрянув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж языком даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно

ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекмену, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним, Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом трягнули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи, — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут, — сказала Молодая, выходя из-

за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, бог даст, ничего.

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высока и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

*Как у нас да по садику,
Зеленом виноградину,
Ходил, гулял молодец,*

Пригож, бел-белешенен...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугуны и моток черных ниток.

— Вот, невестушка, — сказал он смущенно, — на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, — кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «за место фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугуны на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугуны положил, — пробормотал он.

— Спасибо, батюшка, — еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыб-

нулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай, — сказал Кузьма. — Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно, — негромко ответила Молодая. — Уж и так сраму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупчатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох, — сказал Кузьма, — измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле не дешевле, — мертвых с погоста не носят, — просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину. — Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойным. «Ну, шабаш, — тут пива не сварить!» — подумал Кузьма и ска-

зал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженный пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны щей, чугуны каши — все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, — тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревянную, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игрицу и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребке, переходившую с девишника на девиш-

ник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Былолюдно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шالях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полшубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг

стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

*Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем конце вечера,
При Авдотьином девишнику...*

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Годный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недо-

вольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

*Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!*

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голениям, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий,

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

*Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...*

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недуд-

рен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружно, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется, Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы,

взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонилась в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал! «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой стано-

вилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шальями, шли к саням Опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так Ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижима-

ли уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, беллил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом. И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господи бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонившегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи —

на сапогах и лаптях натаскали много снега, — в Спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всея твари содетелью... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос, — Иже раба твоего Авраама благословивши и разверзши ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавши... Иакова Рахили сочетавши... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ; «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... снадоби я видеть чада чадов... и даждь

има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга, в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

*У голубя, у сизого
Золотая голова!*

Суходол*

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунева, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господу в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дождала из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворе сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и заперол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужаста!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непо-

нятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая

на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сошки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной кры-

шей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И сча-

стья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного

ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращурь. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но тем-

ной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Су-

ходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны

ны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по сильней грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидели мы в высоких мокрых ржах высокую и пре-

странную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостинной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором.

Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подснежником... Запахло самоваром, посыпались распросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших

то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе

Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою голову в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, — на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей.

Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с, — окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— *Où êtes-vous, mes enfants?*[1] — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда

его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестренских платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шالях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегающий по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бе-

жал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые тусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав ме-

сто посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробежала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в

избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетья, пересильная дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошинным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Тайнственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча,

так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострацать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особенно после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я

как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмеяется:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночь темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, — энтото и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворе жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи, — он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня.

Да и дом у нас был сумрачен, — не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в поговорку: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли мали-

ны, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская дача, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, поделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы

бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюб-

ленным углом и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, — минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, — а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, — «уж не Петенька ли из полка в побывку», — или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись, — рассказывала Наталья. — Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом —

год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, — особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грóзы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, — боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с,

ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольской доме, когда жили в нем французы, — сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи, — когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «Maotre corbeau sur un arbre perché»[3] — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, — волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начередичуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, — говорит раз барчуку, — ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Ан нет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семей-

ные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равня-

лась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай. Гервасий, на балалайках! Выучи

ты меня, за ради бога, „Закатилось солнце красное за лес...“». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней делается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья». — «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то „сударь“! — кричат. — Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась пося своей провинности...

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным,

щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, вместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. —

Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фóра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, — возразил он, насупясь. — А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доньше, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то но-

вым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и рассмотреть на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и

стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню насекомых в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью

ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразила ее только скукой, сухью, духотой да еще

чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что изда- лека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили ло- шадь, возле пустых под вечер «обжорных» на- весов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, кло- ки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «погля- дывать» и, в случае чего, кричать на всю пло- щадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сво- дила глаз с купола тогда только что построен- ного собора, огромной серебряной звездой го- ревшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повесе- левший Евсей и не стал, с калачом под мыш-

кой, снова заводит лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, черنونёбому. — «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там,

откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходо-

ла — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее

быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косягам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вда-

ли, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцей, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце,

она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищ-

но-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую це-

ремонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после

таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибежал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка. — Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косою ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с

маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазами.

щами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хва-

тит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрысник лопнет!»

— Смотри не напейся, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному кинул ему Герваська. — Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в ча-

шу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и

тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспрерывно помру вечером, — попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч,

никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да, — волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да, смерть грешнику люта... Да не зáйдет солнце в гневем нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял

несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренняя, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг

неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он. — Это ты должён уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добрé ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Ока только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные сни-

лись ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиستا, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, — маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, — барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же вниматель-

но-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказа-

лось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколотная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж, — сказала она задумчиво. — И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей

молот без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, — а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и

ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил, — тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, — тяжелы были его сапоги, — в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямою и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-се-

рых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облежала удлинненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

*Як зійшла зоря вечірова
Та над Почаевом стала,*

как сама божья мать святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем

не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

*В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила, —*

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого

*Миленького,
Що я полюбила...*

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снявшиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дóвеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образуься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. — У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не ду-

мать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидела она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косяке безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со включенными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой же-

них!» — крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе, — скороговоркой шептала она. — Матушка царица небесная! Угодники божи!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, — недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят сухоходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на

себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидела она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу про-

шел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, — с прямо вытянутыми ногами, — с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакав-

шего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянсья: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минувешь!

А как забилося сердце, когда увидела она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных по-

коев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостинной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее кося. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова

истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидела роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнущей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичицу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старуха-

ми, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спра-

шивал о болящем.

— Зорька... темнеет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клима, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глаза-

ми, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окияне, — бормотал он глухой зловещей скороговоркой, — на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая руница...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось...

Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она за-таивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. — Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким

ГОЛОСОМ:

— Угодниче божий Дроние, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза оставались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубашке и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь. — Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечи... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала

при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинённый монах», как он называл себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». — «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал на-

зад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожи-

дании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровитя пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим че-

ловеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто неминуемое, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что

именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душил мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминуемом часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски,

сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Надеящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось

все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучница, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни

противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позумент-

том: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею умощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготавлилась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, тороковое, что было в ее несчастии, — ведь недаром же почти сов-

пал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвращаясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчиво-

сти и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоящей необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после

возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на

крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и пицей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полусшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках при-

нес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвигаемыми ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закопанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжелая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по

косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и словом, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго

еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам вообразить даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распаханна, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сме-

нам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность

ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загромажденной рухнувшим набор фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь ло-

шадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах

этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911

Крик*

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида. В Стамбуле были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дожждаться в Коваках, у входа в Черное море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был чистый четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропадал даром, поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над са-

мым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо! Он рассказывал, что у него, человека простого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «Джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакывая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задира л свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатках, мундир — коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучу в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компании тускло и печально горел один рожок. Легкий свежий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стенных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестящие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед,

за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где, в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под колпаком, каменел рулевой. Они, тоже замороженные ночью и Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса.

— Пять градусов лево, — бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево, — протяжным сильным альтом отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и разворачивалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать, — просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать! — на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами

Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого борта. Но все в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут не сметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на скутарийском берегу; роями усеявшие сверху донизу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буйках сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ах-

медиз, древний, дорогой мне купол Софии, сады Сералья и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издалека пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов.

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали.

Вот опять негромкая команда и альт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа скутарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водою, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает, — закрывается выход в Мраморное море, блестящий, как стеклянно-золотое поле, возле Се-

ральского мыса. Это поле меркнет; раздаётся короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому побережью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленоватобледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то издалека.

Я прислушиваюсь.

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с кормы. — Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда. Сбежал по трапу со спардека, прошел возле мерно и глубоко вздыхающей машины, обдавшей меня своим теплом и запахом разогретого масла. Опять луна переменила место. Она далеко за кормою, над золотым огромным озером, которым сталтеперь Босфор среди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбежав, увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, порывисто поднималась,

что-то искала в рогожке, служившей ей вместо молитвенного коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно кратко, с несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набормотавшись, напевшись спьяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстрастно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятым восторгом, как убили его в Аравии... И свалился, наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжело томило его в

пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидел величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекленевшие от алкогольного яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту рогожку. Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Неудержимо катившиеся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек, вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

28. VI.1911

Смерть пророка*

Во имя бога милостивого, милосердного. Вот рассказ о смерти пророка, — мир ему! — дабы утвердились сомневающиеся в необходимости покоряться Вожатому.

«Мы не видели и не видим его», — говорят они. Но солнце не виновато, что глазам летучей мыши не дано зрения. Сердце человека ищет веры и защиты. Кто же прибегает к защите совы? Лучше мечтать о сени феникса, хотя бы феникс и не существовал в мире. Сень же творца существует от века.

Черноух следует за львом: лев знает, где добыча, а черноух питается остатками его трапезы. Так шли евреи за пророком из Египта. По милости божией, он совершил подвиг.

Он испытал сладость сна, пробуждения и ласки в детстве. Царская дочь качала его на своих темных и круглых руках, гладких, как змея, но теплых, как плод на солнце. Она радостно и пристально смотрела на него черными глазами и порывисто целовала, прижимая к холодным грудям; она притворно душила его, как делают это все девушки. Вспоминая

подобное, не один восклицает в сердце: «Зачем не юношей был я тогда!» Но всему свое время.

Фараон дал ему перстень власти и одежды царедворца. Когда утренняя свежесть сменяется теплом солнца, когда на базаре поливают укроп, чтобы привлечь обоняние покупателя, когда пахнет из труб и туманом с большой реки, по которой медленно, в пару, идут высокие белые паруса, а редкобородый буйвол, сизый и шершавый, как свинья, тупо смотрит на них из прибрежного ила, — пророк, чувствуя силы и бодрость, ехал в колеснице надзирать за полевыми работами и мог по голове стегать бичом ленивых, кричать на них до красноты лица, чтобы сладко, в сознании исполненного долга, отдохнуть потом в легкой тени пальм, на сухой плотине между каналами.

Возмужав, он провел десять лет в супружестве. Он спал с женщиной богатой и дородной, он наслаждался ею ночью, а днем своими распоряжениями и заботами, питьем и пищей, легкостью тела, любившего и сухой жар внутри двора, и прохладное веяние ветра

по дому, приходившего с реки и от цветущих садов острова. Он гордился почетом людей. И был счастлив, как многие. Но незримая рука натягивала лук его жизни; она пробовала тетику и древко, готовясь пускать стрелы истины. И еще десять лет провел он в работе ума и сердца, в молчаливом постижении мудрости Египта ибо стене предшествует основание, а речи — мысль. И сказал о жрецах: «Глупцы! Рабам, страдающим от зноя, простительно воздевать руки к солнцу и призывать его, как бога. Но солнце — не бог. Бога никто не может видеть. Он непостижим. Его можно только чувствовать. Он один. У него нет детей». И тогда фараоном овладела ярость, как диким ослом, гуром. «Кто смеет жить и верить без моего соизволения? — воскликнул он. — У него нет драгоценных колец на пальцах, нет ожерелья на шее. Он мой раб. Вот я воздвигну гонение на него и на весь народ его. Я блесну, как молния, я оглушу, как гром». Пророк же напряг силы, как человек, стоящий перед крутым подъемом в гору, и пошел своим путем без страха и уверенно.

Мускус растирают, алоэ кладут на огонь,

чтобы дали они запах. Водолаз не сорвал бы ни единой жемчужной раковины, если бы боялся задерживать дыхание, бросаясь в море. И когда настало время поднять самый тяжкий камень для здания, вскинуть его на колени, перехватить покрепче и нести, пророк вскинул его до боли в паху. И сорок лет нес в пустыне, напряженный, изнемогающий и радостный сознанием, что творит волю бога, а не фараона. И, донеся куда нужно, куда указано Строителем, кинул камень ладно и плотно, и выпрямился, и отер пот с лица — рукой дрожащей, ослабевшей и поющей до самого плеча.

И настало время умереть ему.

Он познал истинного бога. Он убедился, что безумно изображать его в виде идолов из камня, глины и металла. Бог возложил на него подвиг освобождения еврейского народа от рабства и соблазна идолопоклонства: и он порвал шелковые сети мира, восстал и одолел в борьбе. Бог послал ему испытание: сорок лет быть вождем строптивых и слабых, предводительствовать и поучать в голодной и знойной пустыне. И сорок лет был он вла-

стен, как царь, неутомим, как поденщик, обремененный детьми, нищ, как пастух, крепок и высок, как борец, силен и рыж, как лен. Тело его, лишь по чреслам препоясанное звериной шкурой, стало черным от солнца и ветра, а ступни грубы и мозолисты, как у верблюда. В старости он стал страшен для людей, и никто из них не думал, что он смертен. Но час его пробил.

Вы, слушающие! В Книге написано: «Все зачаты в лоне истины, — это родители делают из детей евреев, христиан, огнепоклонников». Мудрый, как слепой: он ощупывает палкой каждый камень, выбирая путь правый, он поднимает лицо кверху, тянется к единому источнику света и тепла. Он думает о жизни и о смерти, уменьшая страх свой перед нею. И было немало тех, что приняли чашу неизбежно спокойно — были и те, что говорили: она сладостна так же, как чаша жизни. Только глупец тянется к чаше смерти при жизни. Вид его противен. Но и тот глупец, кто не думает о неизбежном, кто забывает, что у всех смертных должен быть единый Возлюбленный, обладающий благостью и требующий

покорности. Вы, слушающие! Слушайте внимательно, как всегда должен слушать человек человека, и, слушая, думайте. Ибо мы говорим, мешая чужие хорошие слова со своими порядочными, о том, что не чуждо ни единому из нас, и цель наша — утешение.

В Книге написано: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила». Бог милосерд. Он знает, что хорошо и что дурно для нас. Он сотворил нас смертными, мы же думаем противиться смерти. Напрасный труд! Слышали ли вы, чего стоило Искандеру Двурогому достигнуть Страны Мрака? Все же ему не удалось испить воды вечной жизни, о которой ему говорили: она в Стране Мрака. Ангел ветров не заботится о том, что от крыл его погаснет светильник бедной вдовы. Гонец смерти не внемлет ни мольбе пастуха, ни воплю владыки. Погоди: земля выест мозги из наших черепов, полных замыслов. Смерть не могол, и ты не Атабек-Абубекр: от нее не откупишься золотом.

Пророк воспротивился воле бога в пустыне; и за ослушание был наказан тяжело: бог запретил ему войти в землю обетованную. Пророк возмутился духом, когда вспомнил, что

он сказал смерть уже близка к нему, ибо он был стар. Он сказал: «Я вступлю в единоборство с нею». В полдень, проходя по еврейскому стану в горах Моава, он не увидел на белых камнях возле себя в своей тени. И затрепетал от страха, и помутилось в голове его, как у человека, сраженного лихорадкой. Тогда пошел он к шатру своему поступью, какой приказал подать пищи. И ел много и жадно, до пресыщения. И почувствовал боли и тошноту, как бы от плода с адского дерева Заакум, и позеленел в лице, покрылся потом, как рожаящая женщина, и лег на землю, крича дико: «Вот я умираю, обнажите мечи и встаньте на защиту мою!» Так кричал он первый день. На второй день боли усилились, и он стал молить, стеноя и злобствуя: «Позовите врача ко мне!» Когда же врач обнаружил свое бессилие, и настал третий день, пророк сказал тихо: «О, пожалейте меня! Смерть непобедима!» И ослабел, и впал в сон, и спал весь день и боли отступили от него. И, очнувшись, увидел, что уже ночь, он один, и опять ощутил сладость жизни и печаль разлуки. Тогда вошли к нему два темных ангела, чтобы утешить и

приготовить его.

Один сел в возглавии, другой — в ногах пророка. «Говори!» — сказали они. Но он молчал и не ответил им, думая. Он глядел в ночь, за приподнятую полу шатра, в страхе чувствуя их присутствие, ибо еще не вошла во все жилы его истина. И было так тихо в шатре и в пустыне, что все трое слышали шорох горячего ветра, пробежавшего в темноте мимо. Звезды же горели сумрачно, как во все жаркие ночи.

«Бог милосерд к своим созданиям», — сказал ангел, сидящий в головах пророка.

«Но вот человек страдающий: он умирает и умирает», — сказал ангел, сидящий в ногах его.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Это не смерть, а болезнь, наказание. Не лучше ли так думать? Ибо испытавший смерть не может говорить о ней. Мы не знаем ее».

«Солнце — источник жизни», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но оно же и смертельно, как рогатая га-

дюка», — сказал ангел, сидящий напротив.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Мы не знаем цели бога. А он благ, и цель его — благая. Не лучше ли так думать? Каждое мгновение свое должен человек посвящать жизни, помня о смерти лишь затем, дабы взвешивать дела свои на весах ее и без страха встретить час неизбежный. Как бы знал торгующий, что он честен с покупателем, что он дает ему должное, если бы не было весов? Как бы провел свой день человек, если бы сердца его не покидало ощущение, что зайдет в свой час солнце, если бы овладело им желание не допустить этого? Был бы он безумен и бесплоден».

«Сон мертвых сладок», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но вот умер в стане еврейском человек счастливый, молодой любимый, — сказал ангел, сидящий напротив, — Ты послушай: вот шорох горячего ветра, пробегающего в темноте мимо, звезды горят сумрачно, и гиены плачут и скулят от злого счастья, торопливо разрывая могилу, принюхиваясь к зловонию и

предвкушая пожирание внутренностей. Скорбь же близких умершего страшной самой могилы».

Они хотели испытать пророка и ранили сердце его. Но, думая, он сказал им:

«Я вспоминаю каждое мгновение моей жизни: сладкого детства, радостной молодости, трудового мужества — и оплакиваю их. Вы говорите о могиле, — и руки мои холодеют от страха. Прошу вас: не утешайте меня, ибо утешение лишает мужества. Прошу вас: не напоминайте мне о теле, ибо оно сгниет. Не лучше ли иначе думать? И стоянку, долину, защищенную от ветров, где провел человек хотя бы один день, покидает он с сожалением; но он должен идти, если идти необходимо. Говоря со страхом о могиле, не говорим ли мы словами древних, знавших тело и не знавших бога и бессмертия душ? Страшно величие дел божиих. Не принимаем ли мы этот страх за страх смерти? Чаше говорите себе: час ее не так страшен, как мы думаем. Иначе не мог бы существовать ни мир, ни человек».

«Он мудр», — сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Он был строптив и дерзок, — сказал ангел, сидящий напротив. — Он мечтал бороться с богом и вот снова будет наказан: ни единый смертный не укажет могилы его в горах Моава. И тем уменьшится слава его».

Они хотели испытать пророка, но он понял их и ответил им твердо:

«Благостна слава достойных славы; но должно быть уменьшено то, что заслужило уменьшения. Ибо и самого славного радует только истинная мера славы».

Тогда ангелы, пораженные его мудростью, воскликнули, вставая с мест:

«Воистину сам Бог утешит тебя! Мы же поклоняемся тебе».

Они были темны и стояли в темном шатре. Но глаза их сияли, и пророк видел звездное сияние их глаз. Они отошли в ночь, как тени, чуть склонясь при выходе из шатра. Пророк же остался один среди ночи и пустыни, лежа на земле. И когда вошло солнце из-за каменных гор, и стало светло и жарко в шатре, пророк, чувствуя великую жажду отдыха в прохладе, оставил свое ложе и пошел в долину среди гор, ища тени. Но и в долине уже не

было ее. В недрах же одной горы была пещера. И вот два невольника острыми кирками отсекают вход в пещеру. Камни у входа были белы, как снег горный, и горячи от солнца. И черные волосы медноликих невольников и повязки вокруг чресл их были мокры от пота. Но два свежих плода, два яблока лежало на камне возле пещеры, а в пещере были мрак и прохлада. И сказали работавшие, опуская кирки:

«Приветствуем тебя, господин и вождь, во имя бога милостивого, милосердного. Вот мы кончили свой труд».

И пророк спросил их:

«Кто вы и что вы делали?»

Они же ответили ему:

«Мы готовили для царя кладохранилище. Войди, взгляни и отдохни от пути и зноя. Уста свои освежи плодами и скажи нам: какой слаще из них?»

И, войдя в пещеру, пророк сел на каменное ложе у стены ее и почувствовал тень и прохладу. И, откусив первого плода, сказал:

«Воистину это сама жизнь: я пью ключевую воду, я обоняю благоухание полевых цве-

тов и чувствую вкус осинога меда. Я бодр и силен».

И, откусив второго, воскликнул:

«Воистину это ни с чем несравнимо: я пью вина райские, запечатанные печатью из мускуса, смешанные с водой источника, утоляющего жажду тех, что приближаются к Вечному. Я обоняю аромат Сада небесного и чувствую вкус меда из цветов его: в этом меде нет горечи. И вот, сон блаженный туманит мне голову. Не будите меня, невольники, доколе не исполнится мой срок».

И невольники, — это были невольники божии, — стали тихо продолжать затихающую речь его:

«Доколе, — сказал первый, читая суру о Великой Вести, — доколе солнце не будет согнуто, не падут с неба звезды, не сдвинутся с места горы, не будут покинуты верблюдицы, не соберутся в стаи дикие звери, не закипят моря...»

«Я Син, — сказал второй, читая суру Отходную. — Слава царствующему надо всем миром! Вы все возвратитесь к нему...»

И, слушая невольников, их тихое, мерное

чтение, пророк возлег на ложе и опочил сном смерти, не ведая того. И они укрыли вход в могильную пещеру и отошли к господину, посылавшему их. И приложился пророк к народу своему, насыщенный днями и не заметив конца своих дней. Никто, даже доньне, не созерцал его могилы в горах Моава. Но мудрость его запечатлена в памяти всех народов и записана на небесах в книге вечной — Гилльон.

Шейх Саади, — да будет благословенно его имя! — шейх Саади, — много его жемчужин нанизали мы рядом со своими на нитку хорошего слога! — рассказал нам о человеке, испытывавшем сладость приближения к Возлюбленному. Человек этот был погружен в созерцание; когда же очнулся он, спросили его с ласковой усмешкой: «Где же цветы из сада мечты твоей?» И человек ответил: «Я хотел набрать для друзей моих целую полу роз; но, когда я приблизился к розовому кусту, так опьянил меня аромат его, что я выпустил ее из рук».

Кто может, тот свяжет рассказ поэта с нашим. Мир и радость всем живущим!

СНЕЖНЫЙ БЫК*

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба село — все давно спит. Не спит только Хрущев, Он сидит читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей: — Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными ярко-синими основаниями, слегка дрожат, — и слепит глянцевитый лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку, — становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче, — жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную, — чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало, — проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами

лунную ночь, ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую отворена, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик. Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза, беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно, — маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая его щупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует.

Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний понемногу затихает... Что это

будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него, — это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками, — ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливадается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на по-

душку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, не высоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мерцают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие голубые звезды. Молодой снежок чуть запорошил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блещущей крышей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй, — говорит ей Хрущев. — Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегуру и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар, — и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блещущую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с

черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

29. VI.1911

Древний человек*

Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.

Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоняет через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истязной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.

Направо — большой сад за соломенным валом; налево — старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними — проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наро-

стах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это, — мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми стенами, — все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовевший осинник... Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон — чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки прикрытые пегими попонами и

армяками... Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.

Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугун засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лазят по ним. Много детей в Козелщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!

— Как тебя зовут? — спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.

Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.

Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, приманивая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от избы скосилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, пе-

чет худой кострец, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжидает, когда они соберутся в кучку, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.

Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избою и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаша, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чертовой кожи и сапоги. Соловьевы — первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здороваются, садятся на сруб, закуривают.

— К Таганку? — спрашивает Григории.

— К нему. Давно не видал...

— Что ж, дело хорошее. Пройдите, проверьте. Он это любит.

— А как он? Дряхлеет?

— Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.

— А что?

— Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.

— Все сноха?

— Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должен защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.

— Seriously, морят?

— Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит, — поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют...

— Нда-а, — задумчиво говорит учитель.

Сипят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репы, подснежник. Баба, в красной

юбке, в белой рубаше, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки. За конопляниками сереют риги, желтеют новые скирды.

— Нда-а, — говорит учитель, едко затягиваясь. — Скирды-то ваши?

— Нынешний год дал господь, — скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.

— А чашки чаю жалеют, — ухмыляется учитель. — Что он, и теперь еще хорошо помнит все?

— На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле, — все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету...

Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жили-

ще знаменитого человека,

Де-ед? окликает учитель, отворяя дверку. Никто не отзывается — в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надоедать снохе своим присутствием, сократить насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с великого поста. Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломки, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье, вместо подушки, — свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекмену этому полвека. У изголовья — столик из дощечки и кольев; на дощечке — подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка; моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком... Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?

У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется, — обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркаю-

щие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла, — невысокий, с опущенными плечами, — и подвигается неловко, вразвалку опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу, — вытерлась овчина, — стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.

— Здорово, дедушка, — говорит учитель, садясь на землю, — Как поживаешь? Надевай шапку-то...

Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.

— Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет...

Таганок, помедлив, садится; поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.

— Энтих уж нету, — говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим. — Энтих уж нету, что покоили-то...

— В старину лучше было? — спрашивает учитель.

— Гм! — слабо улыбается Таганок. — В два раза лучше было...

Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только — при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так сми-

ренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка надвинута глубоко; из-под шапки видны концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом — слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра... И все же весь он в забвении, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он

пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься; человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но — человек ли он?

Говорит Таганок очень медленно, но не пугаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к расспросам.

— Тепло, — говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем. — Кровь-то моя уж холодеет... Студился, бывало, часто... А все отчего? В старину ведь в извозы ходили...

Учитель начинает спрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве...

— Что же? — спрашивает учитель, домогаясь обобщений. — Нравились тебе хохлы?

— Хохлы-то? — отвечает Таганок, — Ниче-

го...

И, уже покончив с общим, переходит к частному:

— Мы туда под сретенье поехали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка их! Ну, поехали туда порожняком... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь-честью, стали барыши считать... Ан только себя самих да лошадей оправдали...

— А француза помнишь?

Таганок думает.

— Француза-то? — спокойно говорит он. — Это какой в Москву приходил? Нет, не помню...

— А Москва при тебе велика, хороша была?

— Большая... Приедем, бывало, в нее. Поставят нас на Болоте в ряд... Мы и стоим... Как хлаг спустят, может значит, купец какой купил что, подойтить, взять свой товар... Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы либо еще куда...

Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!

Он щиплет концы усов, собирается с мыс-

лями, стараясь представить себе невозможное, — картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека — и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, — думает учитель, — с самого начала надо начать...» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты спрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» — «А бог его знает, не знаю... Ведь мы, — слабо улыбается дед, — народ темный, в лесу живем, пням молимся... Допрежь тут везде леса были...» «Какие леса?» — «А всякие. Дуб, например, сосна... Разбойники водились...» — «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» — «Нет, истории, слава богу, никакой не было...» — «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» «Все такая же... Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища... Я четырех попов пережил...» Но каковы были эти попы,

похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? — Помнить-то помнит... Но узнает учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григории Милыч: что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч...

— Тебя пороли? — спрашивает учитель. Однова только. Да еще — в шею раз дал мне Мил Семеныч... На постройке... Я бревно не тое ухватил... Вот продавать — продавали... Возили... осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одиннадцать голов... В энтот, в Белев-то... Ну, привезли нас на базар, поставили друг с дружкой... Подошел бурмистр селезневский... Мы было дюже оробели, да не сошлось что-й-то дело... А за меня хорошо — полтора ста пять давали...

Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холод-

но, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.

— Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, — стало и совсем никуда... Молили мужики, чтобы ему бог смерти дал... А я, бывало, скажу; «Напрасно вы его сбиваете. Не сбывайте, — хуже будет...» Так оно и вышло... Да...

Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:

— Да... А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке... Сквозь рундук дрянь, кровь пролила... Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело... Как, значит, кому назначено...

Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.

— Ну, прощай, до свидания, дед, — говорит он. — Дай бог тебе еще пожить.

Таганок кротко поднимает брови.

— Пожить-то? — отвечает он. — Да ведь и так уж сто с восьмеркой...

И, помолчав, опускает голову.

— Но ведь хочется небось?

— А бог ее знает...

Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?

— Да что ж чувствовать? Тут чувствовать нечего... Чувствуй, не чувствуй...

— Позволь: ну, а если бы тебе, например, предложил пять лет прожить или год, — что ты выбрал?

Таганок слабо улыбается, глядя в землю:

— А господь ее знает...

И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.

Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой, пыльной дороге.

Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем — как-то особенно. Тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего, на гольше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?

— Дедушка, еще здравствуй, — негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.

— Кто это? — тихо откликается Таганок.

— Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:

— Да какой наш сон... Древен я... А ночь эта — как медведь идет она на меня...

«Это не ночь, а смерть», — думает учитель; и, помолчав, спрашивает:

— Ну, а как же? Пожил бы еще?

Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю — и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?

Жив. Долго спустя он отзывается:

— Пожил бы... И пять годов одолел бы еще... Да за пять-то годов...

Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность.

И легонько вздыхает:

— За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.

8. VII.1911

Сила*

Шел осенний, мгlistый дождь в сумерках. Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дрогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и борода его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбал-

ся, тянул с блюда горячую воду, сося кусочек сахара, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порывавшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка.

Буравчик поглядывал на нее, — она коптилась, — и без умолку говорил. А беременная старостица, сидевшая на нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький ша-тер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

— Вот они распарятся, я их и подберу, — говорил Буравчик и склебывал с блюда, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей. — Распарятся, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцам в рот.

— О! Ишь! — сказал он с удовольствием. — Ни аноо не аалось, — сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и вода пальцем по голой розовой десне.

— По какой же такой притчине? — равнодушно спросила старостица, с трудом подни-

мая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой косоворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает — живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиху, на ее большое сонное лицо.

— По какой притчине-то? — ответил он, вытирая палец о борт сюртука. А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего боятся! Пересолишь — хлебать не станешь, — прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам. — Зуб же я

своих лишился потому, что дюже болели они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимионию расскажу я тебе про эти самые зубы. Муженек твой, без сомнения, застрял где-й-то, давай его, дружка милого, ждать да беседовать от скуки...

— Обещался к вечеру быть, — сказала старостиха. — Да, вишь, грязь-то какая.

— А мы его подождем, — ответил Буравчик и, поставив блюдо на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой. — А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспрременно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают, — Для того он из дому уехал». А Буравчик, свертывая сигарку, рассказывал:

— Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в

нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белевской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы тогда с братом Егором коробошниками были, кампанировали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечера и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синет, а от лошадей альни дым валит: наката-лось на колеса грязи этой самой с листьями — чертям невпроворот! Подъезжаем, наконец того...

Буравчик хлебнул с блюдца и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой со- ломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

— Кажись, он? — спросила старостиха,

прислушиваясь. Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А я насчет твоей лошади зашел, — сказал Александр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку. — Прибрать ее, аи нет?

Буравчик подумал.

— Да нет, погоди, — ответил он с притворной беспечностью. — Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы, брат, люди русские, травленные...

— Дело твое, — сказал Александр и поглядел в сторону. — Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой-токой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик, — неизвестно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышан, значит, обо мне? — спросил Буравчик. — Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна,

значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-то.

— И то не похож, — сказал Александр. — Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я и сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава тебе, господи... Аи нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись, — прибавил он с застенчивой улыбкой. — Двое ребятишек сгорело...

— Да что ты? — с притворным участием и даже ужасом окликнул Буравчик. — Это не мед, — сказал он, качая головой. — Это не мед. Избавь бог.

И, помолчав, опять обратился к старости-хе:

— Да, так вот я и говорю: заехали мы в лес подъезжаем к караулке. Становим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то!

Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара вефередь эферетофоро звеферерь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник, и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длинные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

— Этот орутан в зверильнице живет, — вставил Александр. — Видел я его в городе.

— Он самый, он самый, — подтвердил Буравчик. — Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в землю смотрит...

— А виски, небось, серые, невпрочес, как у кобеля хорошего, — опять вставил Александр.

— И то правильно, — сказал Буравчик. — Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ралом, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с на-

ми милости просим». — «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь — шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю, — в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь, — а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебные крошить да в чаю их распаривать. Что, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову утнул. Молчал-молчал, да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

— Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? — из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

— Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился — за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон: и сказал

— Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я

теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какая дисни-то у меня? О, гляньте, — сказал Буравчик, представляя лесника и опять запустил в рот палец, — ни одного не осталось. А почему не осталось, — человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным богом, росту в том солдате не боле двух аршин, а силы — и на двух вшей не хватит...

— На взгляд-то, значит, — сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем назидании. — На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя, — прибавил он насмешливо и дружелюбно.

— Во, во, в аккурат! — подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами. — Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя — и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А де-

нег этих самых у него — прямо туча: все со-
дельные одне, и все в стопки, в кирпичи скла-
дены и оборочками хрест-нахрест перевяза-
ны. „Да это еще что! — говорит. — У меня, го-
ворит, еще гаман за гашником спрятан, пол-
ный золотом“. И как, значит, глянул я на эта-
кое богатство, потемнело у меня в глазах от
жадности, отнялись мои ручки, ноженьки, —
аж штаны ходуном заходили. Посчитал день-
ги солдат, попихал их в ранец свой и бает:
„Что ж, пора и на печь, дядюшка!“ А я в ответ
ему мычу только да зубами стучаю, зубы же
мои в ту пору таковы были, что мог я ими
очень даже просто доску столовую переши-
бить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой
на печь, потушил я лучину, нашарил то-
пор-колун под лавкою, лег и жду, а сам ду-
маю: тюкну, мол, обухом разок, и капут ему,
суслику!»

— Ан суслик-то умнее нас вышел, — вста-
вил Александр, показывая, что он уже преду-
гадал и развязку притчи.

«Долго ли, коротко ли, — продолжал Бурав-
чик, — только слышу — успокоился солдат.
Ну, думаю, слава тебе, господи, во сне-то ему

легче помирать будет, он и сам небось ко-го-нибудь сонного пришиб, — больше неоткуда было ему такую уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке, — а в обухе том весу, никак, боле пуда было, — стал, — стал покрепче на приступку, повернул колун тыном, нащупал голову стриженую, размахнулся — раз!.. Мать честная! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребяташки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

— «Что ж вы думаете? — говорит лесник. — Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: „Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается? Либо у тебя прусаки водятся? Мне сейчас здо-оровый прусак на голову упал...“ А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачал, однакося, опять ждать своего...»

— Этот солдат, значит, слово знал такое, — сказала старостиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розовольсой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывая беззубый рот, с детской гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову розь, а тут не иначе, как кочетиное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солда-тово, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-о-чет! „Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выспишься. У тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутком каким по лбу жиганул. Аж засвирбело...“ Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. „Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора итить, проводи меня из лесу“. Ну, думаю, и того лучше: угомоню его в лесу, мне же выгодней, — избу

поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: „А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...“ Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и — хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рта на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто черт какой! Вышли, наконец того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдата, а я пруд да пруд, на затылок его стриженный гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам меньше ранца, я — за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождалься я спуска в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатову. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старости и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

— «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто уди-

вился очень, да и говорит этак строго да внятно: „А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько...“ Поставил тихим манером ружьецо свое берданское к сосне, засучил рукава... „Ну-ка, разинь рот“, — говорит. А я уж и дубинку уронил от ужаста и ничего не смыслю. Однако разеваю. „Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!“ Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами залезными, и вынимает вон из рота, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

— «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: „Держи подол“, — говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккурат-

ненько завязал, закрутил его лычком. „Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...“ И вынимает, подает мне сотельный билет!»

— Это не плохо, — с улыбкой мотнул головой Александр. Буравчик залился смехом.

— Дай бог всякому! — воскликнул он. — Да ведь, знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непривычки только челюстью ворочаю. А-а, а-а, — только и всего. Хочу сказать: солдатушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо:

«Хочу сказать, — смеясь и почти плача, закричал он тонким голосом, — хочу сказать: солдатушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюдца воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние слова. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

Побаску твою понимаю, — сказал наконец Александр.

— Сила, значит, не в медведе, — пояснил Буравчик.

— Не иначе, — подтвердил Александр. — Был и у нас случай подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай бог не солгать, лет небось пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютине малый — дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на передке не хватало, — кобыла вышибла. Все, бывало; бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый палач. Потому его внешность позволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный, — бывает, тверезый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и бога никакого нету...

— Ну, уж это-то сдуру, — рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая

новую сигарку и думая о чем-то. — Это уж сдуру.

— Понятно, сдуру, — подтвердил Александр, — Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидел свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще пуще куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит — сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит, связан большой белый баран, тоже, значит, продается. Лобик, поясника краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатику, в белом колпачке из простой холстины и в чуньках покойницких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

— Своей беды не чует, — вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

— Да, беды своей не чует, — повторил Александр. — «Сейчас, говорит, пойду, всю его

амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, упрашивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прощу тебе, не трожь ты мне, а то я хуже надеваю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей державе не найдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгресть, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку — аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнул,дохнул, да и каюк, — красная вода носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ — да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старик-то, — рассеянно перебил Буравчик, — он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

— А шат его знает, — сказал он. — Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сатане... вот не хуже солдата твоего, либо тебя.

— Меня? — с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством. — Ай ты очумел? Я-то тут причем?

— Будя толковать-то! — сказал Александр ласково и грустно. — Авось слышали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь — кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день взодрать... Да и взодрал-таки на своем веку, дай бог всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! — сказал он с непонятым восхищением. — Я твоего ногтя не стою!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар

и стал нацеживать последнюю чашку.

16. XIII.1911

Хорошая жизнь*

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владею, — старичок-то мой прямо после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а

бедные-пребедные были, просто сказать побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром — праздник был, — я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветренный, я и загляделась, и не вижу, как подходят ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где, — говорит, — твой отец?

— Они, — говорю, — по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как, — говорю, — караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, — говорю, — смее-тесь? Вы, — говорю, — бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать, — кричит. — Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, — того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам, — он у нас ужасный горячий был, — под-

бегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, — говорит, — духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадила ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за ради бога, ваше священство! Вы — кричит, — черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, — деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, — он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной ни копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дрызги,

скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, — все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяце начинали ходить и говорить, — сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, — мы с ней квартиру-то снимали, — и говорит:

— Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула ложок, а он уж томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, — чем вы,

говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл, — говорит сестра. —

Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну, — говорит фельшер, — обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, — говорит, — отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, — видно, против бога не пойдешь. Так и похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей ежемесячно платили. Сами в верхнем этаже, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я

ихвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...» Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоplotная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ино пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и

сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сажу-мотаю, — всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Всходит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылится весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, — говорю, — делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если, — говорит, — полюбишь меня, я

для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила! Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке белой, вроде корзиночка, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к

сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла я с этого места и опять думаю: пропадет задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня бог. Запрягусь, думаю, сизнова и уж жива не буду, а добыюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в учение к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иванович, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин был человек серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, выдали за военных. Тут-то, правду ска-

зять, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами, — глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то, — ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я то поумнее была. Я. бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, — затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшему-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшему

четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, — руки-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало,

как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший брат был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залетется куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, — как хозяйева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку, ни хрупы. На другой день встал, — как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвеича, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспрерывно обеспечить себя, так и укрепилась в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила

Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую-нибудь безделицу — осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня господь сынком! Иной раз из головы не идет, я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, — да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в таком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала замечать — похоже, влюбился в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был

и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — избави бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, — зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливаешься, — заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, — притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору, — опять подбрислся, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, — голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

*Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать,
В танцах я могу смелее
Про любовь свою сказать...*

А я, будто и не заметила, — как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по

лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно от всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты, — говорит, — посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня ле-

жалю с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне понемножку вылезать из хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой погодить, еще покопить маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал; понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости, господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так, мол, — мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрюсь.

— Да в чем, — говорит, — дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, — дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда, — я пошла к нему с работой в руках, — шила себе что-й-то, — села возле постели и только хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговорил сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крестнакрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая а сам маленький, — даже смотреть нехорошо. Гля-

нешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть и моложавое будто — от бритья-то, — и усы густые. (Он почесть каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет, — говорю, — я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеробе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слазила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погромел, положил подле, — чистый,

ей-богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до-свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну, — говорит, — ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду, — ты даже представить себе не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим, — говорю, — грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, — говорю, — господь даст, поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, — какой я, мол, житель! — стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать, — скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи нету, на-

доела она мне, лежу ни кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно, — а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, — чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря, — наконец того, не вытерпела, — ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет, — говорю, — вы лучше скажите, какой сон вы видели? *Про нас что-нибудь?*

Хотела, понятно, приятное ему сказать, и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, — наконец того, отпирает, высыпает себе на живот, — как сейчас помню, две серии и восемь золотых, — сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель те-

бе, — никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, — ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди, — говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо, — это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обдeldывать, поглавнее, из-за какого я и билась пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, — мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, освободиться на время. Хозяева и

слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой:

— Ты, — говорит, — не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бесовственные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, — полштоф под кроватью так и дежурил, — и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходиться когда к празднику, к именинам:

— Обязательно, — говорит, — чтоб ты приходила все прибрать, приготовить. Я, — говорит, — только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс — и пошла. И сейчас же, господи благослови, за дело. Купила этот дом, открыла кабак. Торговля пошла ужасно хорошая, — стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, — я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, — я к нему, взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тут как раз и Ва-

ня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

— Да куда, — говорят, — его устраивать, у тебя и дома работы девать некуды.

И то правда. Сажая Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, — Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, непременно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило от стыда! Какое, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно и в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит

на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты, — говорит, — бесчувственная! Он, — говорит, — даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж, — говорю, — и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержание была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них

расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо, — говорю, — барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я, — говорит, — постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах, — говорю, — скажите, пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого.

Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет, — говорю, — перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору, что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я, — говорит, — хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, — прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послышу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то, — говорят, — что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, — говорю, — давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

— Любовь хорошая, — говорю, — от поганки всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, — говорю, — дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как

ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Начала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, — все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели со страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Что-й-то у вас, — говорю, — ай сговор? Ай именинник кто? Что же не привечаете, не

угощаете?

Молчат.

— Что ж, — говорю, — молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак, — говорю, — а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молодые были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нынче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддала:

— Пусть, — говорю, — денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже притих было на время. Вышел на утро из-под замка — и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку посылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло, — что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома

и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, — весь в меня, — лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, — говорит, — я могу каторжных дел натворить.

А захмелеет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Раз-узнаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решиться,

надо поскорее знакомство завести, — нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, — ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, но не отдал. Ну, я прямо залюбовалась па эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот туг-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело

кончатъ...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ай, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николаем Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! Ну вот, мол, тебе, — грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стенку над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-чего — вдруг кой-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня

сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха. — Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить! Крикнули, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо срам на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя голова! Шутка ли, что натворил, не тем бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настезь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я было, сдурю-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном пи духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от

сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, — жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, — вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, — лютая псовка была, небось сама же, остроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, — передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает — дела будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает; чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие благи не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она

его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и сама-то с ним на нет сошла с самых этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, — ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемнеет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решение от Николай Иваныча призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать, — наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почета добилась и недвижимое имущество у

меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты, — спрашиваю, — молчишь? Ты клеенку-то не дери, — наживи прежде свою, — ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы, — говорит, — замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стойте!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью хлопнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, — как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу — до веку не

прощу ему такой обиды, со двора долой стогню... А его все нету. Слышу — у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, — на смех мне, понятно, — в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам входит. Пьян — лица нету. Вносит селедки, — утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, — и как шваркнет их на прилавок.

— Можете вы, — кричит, — присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть.

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, — говорю, — тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, — говорю, — ты, свинья, не можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты

честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

— Как жмакну тебя, — говорит, — сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью пербиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, — прямо редкость по нонешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая доби- валась, — сказать невозможно! Ну, и награ- дил меня, правда, господь, — вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в оби- ду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заночет сердце. Особли- во великим постом. Умерла бы теперь, дума- ется, — хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни ду- ху об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привез- ли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать — цельный день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, — жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, ле- жит он весь ободранный, изгвазданный, хра- пит и захлебывается... Страм и жалость смот- реть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, по- гляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска

меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, — вся дрожу-лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты, — спрашиваю, — ходишь?

— Живот, — говорит, — болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты, — говорю, — выпой чернобыльнику.

Полежала еще и задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадается ктой-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша, — говорит, — не пугайтесь меня за ради Христа...

И как залетится в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, — так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за чего вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя, — говорю, — могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша, — говорит, — на что вы меня,

не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след проспал. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об этом толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калекой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особенно летом, в жару, в пыль эту, — просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище — цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвейч, об этом убиваться? Мы этого чують не будем.

— Да это, — говорит, — что ж, что чують не будем, беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль. И руки-то им наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

Капри. XI.1911

Сверчок*

Эту небольшую историю рассказал мне шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затопанном,

сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкал и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукиванье по хомуту, который Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видно было обоим, но Василии то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе

чувствовались и во всей осанке этого черно-волосого человека, похожего на малайца, — в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, ко-

горя дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, наторелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика, — так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, — тоже от старости, — неловко согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко прова-

лившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» — «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели слышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесков еще великолепнее, а нежное, милое лицо его бере-

менной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, — уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, — но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок, — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. — Однако ты, б'ят, вовок. Я небось постарше тебя немножко, — сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. — Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Слеп — так в богадель-

ню.

Все улыбнулись, — даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, — и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да почувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я. Брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил,

смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном, — на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, — и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову. — Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал, — ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был, — Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное, — так же просто сказал и Сверчок, — это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая...

авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, — сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня», — вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Кура сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет, — сказал Сверчок. — Туман.

— Как туман? — спросила барыня. — Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он. — Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, — картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне, — это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад, — ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая сигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго взглянул на него.

— Оставь мне затянуться, — сказал он и продолжал: Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огнвке, — он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, — ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличаться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак навечер а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, — скупой барин-то был, огарочка не разживешься, — чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла

меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

— Ильей-с, — ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос, — Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, — вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, — шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся, — красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! — взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уже совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, — как ту-ча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, — да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от

ветру, — в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое, — чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а спогито нан нас нагольные, да и поддевочки на шереметьевский счет сшиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете, — как свою гордость не выказать? — опять пошел. Входим в деревню, — конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жильё, — он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жильё, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая что ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окуок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, — продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе, — мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, огромный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а вместо того влево забрали по чье-

му-то следу, к бибииковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, — кто не блудил, все блудили, — а я то хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, — всякому, понятно, свой живот дорог, — но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, нонятно, думал, что мне первому конец, — много ль во мне духу, сами изволите видеть, — а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками сигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но

уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, — до нашего, то есть, брата, до дворового — так вот он тоже замерз, под городом нашли, — лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — ничего не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до живо-

тов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упусти... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит. «Это что, отец? Бибиковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдём. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него,

да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, — тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». — «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет, — сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет, — валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от этой страсти, да уж не могу... не в сужоунии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, по-

стой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, — думалось так... принесу на село... может, оттает, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро, — нахмурилась, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Расвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка, — ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.

Капри. 30.XI.1911

Ночной разговор*

I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, — был праздник, Успенье, — и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали

три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не

хочется, — выпались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он вес лето не разлучался с работниками, — возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретенкин, Веретенкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь да-

же его недостатками. — Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сторел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зяб-

ликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, — весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, — от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, — возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но

вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот пре-

зирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушал, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», — сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатались со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретенкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал,

хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, — даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, — у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, — если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он. — Чистая беда эти блохи, хомут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет, — отозвался гимназист. — Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жилиять, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается, — равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь, — отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. — Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, — сказал он, ме-

няя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. — К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого, — сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал, — весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. — В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, — только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое, — равнодушно ска-

зал старик, услышав хвастливое заявление Пашки. — Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. — Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, — наш же, елецкий, — эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой, — перебил старик, — ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка. — Вот чудака, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

— Знаю, — сказал старик. — И мы там стоя-

ли восемнадцать ден.

— Ну, вот видишь, — значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать ден, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные: проступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой, — перебил гимназист, — а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо, — ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. — Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестантских ротах пробить, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай, — сказал он, делая вид, что говорит только со стариком. —

Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того, подходит к старшему: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно, — сказал старик. — Он должен по закону нее в исправности принять.

— Про то и толк, — подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серпик в руки, сложенные ковшиком. Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой, — продолжал он, давая спичку и пуская в ноздри дым, — пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу, — спать мочи нет как хочется, — а грузинт этот как вскочит

вдруг да за угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандалный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой, — Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы, — да и деру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за ним: Козлов тоже за угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где зук, где то есть кандалы его звенят, — дуром-то, думаю, и стрелять нечего, — наслышал, наконец того, — раз! Чую — мимо. Я в другой — опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попа-ло, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, зук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в это место, бегу, а он и вот он: на земли на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком», — в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

— Ловко! — сказал старик. — Дай-ка заты-

нуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурок.

— А Козлов, — ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой, — а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай утомонил?» — «Утомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал, — сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово, — ответил Пашка, — прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурок.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так, — сказал Иван. — Ты что должен был делать? Ты должен был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом теле. Теперь расчухал, ай нет?

III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» — еще проще.

— А вот я, — начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста, — а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать., из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-богу, правда, — ответил Федот. — Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготавливаясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... Он пьяный пришел, а я выскочил сторяча, вдарил брусом... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а

тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать, — и так все смеялись, отговаривали, — да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, просторов и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотье... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь господи!

— А козу купить, — продолжал Федот, — ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда котна, а зачнет починать, злей собаки исделает-

ся, зреть их не может. И такая цопкая скотина — это ей на избу залезть, на ракирку, — ничего не стоит.

Есть ракирка, так она ее беспрерывно обдерет, всю шкуру с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил, — с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. — Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, — сказал он, обращаясь к старику. — Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю,

пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать — «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — деловито вставил Пашка. — Их не бить, добра не видеть.

— Понятная дело, — сказал Федот. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разле-

тится, разлетится — раз его в кичку! До того его измяла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, — как скрозь земь провалилась...

— Ну, правда, — яд коза! — сказал старик.

— Ха! — злорадно ответил Федот, — Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попанется она волку на зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого место не оставили, все до шпен-ту обьелозили — нигде нету! Затужил я бозна как, однако еду пахать, — как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под межу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, держает бородой, хлеб лопаает... Кинул я поскорее соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, а она

от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймавать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет, — ну, прямо насмешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! — сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, поощренный сочувствием. — Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, более часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее

знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, нагнув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дола, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать моря! Завтра домолото!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочув-

ствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой, — говорил Федот, — истинно до слез меня довела! Сказывают мне, наконец того, — загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где

ни гляну, — никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, испрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости, — встал Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела, — подтвердил Федот. — Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» — «Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скот, а объявления не делаете». — «Никакой, говорит, твоей козе мы не

держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-й-то. Та-ак, думаю, значит, опять мое дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стезжку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крипивой идет». А она и вот она — увидала его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» — «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу» — «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распяской, в сапогах. Набежал со всех ног. «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул:

вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгрел его за руки, испрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломил, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, — подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жилает. «Здравия желаем, мол, дозвольте спросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе». — «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду

дальше, взошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, — лошади жирные, рьяные. На крыльце лакеи с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, — кричит в дом горничной, — скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире: с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, — воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», — а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «Ты что?» — «Да вот, говорю мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, убить». — «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрахую на два цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, — у меня со завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, — пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, — катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже не доглядела, в пуньке лежала,

на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, — смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно, — сказал Федот. — «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай». — «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, — сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жустрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, — она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, — так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе

страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец того, пока она под самый перемет подошла — цоп ее за рога! Как закричит она, — даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — внесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и

захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

V

Помолчали. Федот приподнялся, сел, и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидал то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распугав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрыв, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве, — точно натертую черным воском, — и потрянул ею, развеивая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист. — Это нога настоящего

убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: „Аж в спину выскочило!“»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. То же вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... посмирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками оброта-

ли, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор, — разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь исшел.

— Как? — сказал гимназист. — Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного, — пробормотал Иван. — Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им — стражники. Мужики с кольями, с косами, — на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там черт сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и

брыкнул. Так, господи ты боже мой! — сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней, — чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зерькала в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользнет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... — Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. — Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточ-

кам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармонии играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

— Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла,дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его господь», — он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да

тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, — за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крикнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот. — Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу — подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча — раз его в голову! А он и наземь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только

икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрова мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, посмотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую, пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю сту-

лья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отопок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, — где, значит, удар-то был. Резак говорит следовательно, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрущам. Вырубил косяк, стал отдирать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю внутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит тем-

но-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка, — есть только зипун с большой прорехой на плече, — у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо-поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестящим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув

ХВОСТЫ.

Капри. 9-23.XII.1911

Веселый двор*

I

Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее — окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только добрей характером.

— Сосед он хоть куда, — говорили про него, — и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косою простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке на-

бекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова почистить — на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло хорошие люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных извешкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, курить начал по восьмому году, — а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворога бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном голе.

Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца — на звериный коготь, а указательный и средний пальцы — короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она — суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки, — сем, пересем, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже срод-

нилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала, — авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Довеку не женюсь! Теперь я — вольный казак, а женишься — журишь о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку, — кто-то ехал по деревне с колокольчиками, — а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она

коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку, все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее — к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, — «старый черт работу отбивает!» — стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сала яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак — горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано, — рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущенного дворового, — и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется — святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход

пошел! — говорили соседи, радуясь такой забаве. — И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести — все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон, — ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, — и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Паже-

ни никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, — на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Паженъ удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с: того ни с чего, — вот как Мирон за чужим обозом, — уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее печного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить, свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, — обогнанный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, — был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву, — сказал только: «Да аи велика беда?» — и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланское, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решила она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью — и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться — старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой — мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, — крупная, с большим бледным лицом и большими серы-

ми глазами навывкат, хорошо и нарядно одетая — в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, — та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запомывала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

— Три недели тому назад схоронили, сударушка, — ласково говорила старушка Анисье. — Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, — мы через Щедрину, через его поле скотину-то гоняем, — воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал — понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее наверну-

лась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, — подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну. — Пойду, била не была, авось не чужая...» А старушка продолжали, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

— Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просvirки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поведите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на

все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится, — авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

— Да ведь как сказать? — не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послушишь кругом, — правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад — иди.

— Он не может не кормить матери, — прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

— Ну, ин, пойду, — сказала она нерешительно. — Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, — не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ко обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора, погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкорový платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святой боже, святой крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она, — забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду, похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Паженъ. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекающую старуху в ватной

кофте и валенках.

— Что ж просишь? — медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом — накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» — гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак — «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тре-

возное, неотступное, просучив ногами, — жгли их блохи, жилили мухи, — заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж обеднялось — и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив — чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившие холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепали дожди. Хлеба и травы в нынешнем году чудесные. Пугаясь худыми ступнями и поповой по ме-

жам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаяев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клипы цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный, — усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, — вплоть до станции на горизонте, — сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной

линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распутив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидела она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой по-неве, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, — и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по

мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо — плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймашь, не удержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то — и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потихе надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес; над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами — бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они

собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался на них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубашке, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый виду этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Ани-

сья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налил, наелась бы досыта — и не увидел бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце; должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, — у людей обеда на дворе...

Она забыла о мельницах — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, — дело привычное слушать эти несуществующие голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висев-

шей на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» — звонко кричали бабы. — «Надо сесть», — отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначается? Богом? «Нет, сыном, Егором!» — крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою — всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» — подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышинным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и — спать... Ветер нес над

полями убаюкивающие трели жаворонков, убежала в поля зеленая межа. Немало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, — холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!»..... тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородицей ворот длинной

рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. «А напиться, родный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», — сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый папкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленова-то-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его — цвета свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, — и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, — со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый бе-

резовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когдаходишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы — по пояс; где кусты — не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов — белых, синих, розовых, желтых — рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрерывном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Закололось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом — полынь, лопухи, крапива, в крапиве — избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, чер-

но-седой, сероусый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкаррой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрежал — каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее — и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она — подходить ли?

— Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! — равнодушно сказал его взгляд. — Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый

шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чеканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, — нет ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка, — он, конечно, был не заперт, — и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть — об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки — и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти, — сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся

ся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» — подумала Ани-сья — и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибками — часто висели они, тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, — черными, траурными, коралловыми, — легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поест? Нет, помрешь — и растащут тогда соседushки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, — и еще раз пере-

крестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, — скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову — и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов-бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-

ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала — и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, — надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом — и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, крутом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубашках — и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжело, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев: рожков, сусликов, жамок — и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, — нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анистья с

лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть... Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен — и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены — насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услышав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрепщину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике — и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал,

шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» — то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготавливаясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он дол-

жен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор, — проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом, — когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль, — стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными

колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белозной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то придут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на парах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, потрянул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-

за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

— Свою прежде наживи, — говорила Марья, блестя злыми глазами. — Тогда и давай, когда наживешь. Побирушка, черт!

— Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану, — твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри. — Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

— Рот ты мне не смеешь зажимать, — говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

— Молчи лучше, — отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

— Не форси, авось тебя не боятся!

— погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!

— Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

— Что-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке. — Что-й-то скоро заявился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

— Ты лучше, сука, за своим делом смотри, — ответил Герасим. — Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиньям, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

— За мной гаять нечего, — отозвалась Марья. — Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва, — и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А беспрременно удавлюсь я! Ну их всех... куда подальше!..» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему сигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

— Гашка-то небось чуточку поболе твоего

работает! — говорил Герасим, не зная, что сказать.

— Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко, — отвечала Марья. — Десять лет ворочаю!

— А-а! Ишь актриса какая!

— Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип — это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли — и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала

последнее время Анистья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек — было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес — стал и дневать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анистья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось — и, выйдя из избы, он долго лазил на

коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь — хлебушка надо разжиться», — думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» — говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, — водяной и ветрянкой, — стоит на реке, тонет и целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах — несметные тысячи. «Такого села, — говорил Егор, — ни в одной Америке не найдешь!» — Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой му-

равы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью возле церкви — новое кирпичное училище, посредине — мирской хлебный амбар, гамазей, а справа — тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, серы. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса, — думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову. — Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать, — клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за седом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве гру-

бая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и бляло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали — и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был тем-

ный, снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это несколько но смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак приветствия, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просеивавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный, — резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

— Что, ай соскучился в лесу-то?

— Что ж мне скучать, — не спеша ответил Егор. — Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубь печки.

— Нуждишка есть, — глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» — подумала она, Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? — думал он рассеянно. — Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются», — рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной гор-

кой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алёну. Толстые руки её, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алёна подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалиясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

— Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на лбу белесые от голода и трубки губы.

Алёна промолчала. Анютка, её девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алёна вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алёна своим грубым однодворческим голосом.

— А вот я ее ножиком сейчас зарезу, — сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбившего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полосу загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отека-

шее лицо его. Он был тяжело болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяла растянул», — хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадетя на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не

сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнал крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломинку, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай, — кинул он Алене, затаиваясь. — Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо уметь с умом печь, — сказал Салтык, далеко сплевывая. — Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда, — отозвался старик. — Ты,

известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбредет Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык. — Да я не то что, я, как осень, беспрерывно опять туда! Там сейчас самая колбня идет, — сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись. — Да ей-богу: веселье, гулянье — каждый божий день, с восьми утра до двух ночи. Особенно в курсовых, и Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права, — вста-

вил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо, — продолжал Салтык, не слушая старика. — Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стоит. Там каждый грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается, — сказал Егор. — Авось, и это дело знаем не хуже твоего, — пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат, — говорил он, неизвестно кому обращаясь, — какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три квадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах всегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор. — Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знает...» Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» — подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.

— По горам там везде стежки проделаны, — говорил Салтык. — Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет — как только голова цела! А глянешь на горы издали — как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить — по таксе, за вход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может каждая раскипятить.

— Нет, теперь не гожусь, — отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком. — А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтись-

ся.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоял, отуманил, обольстил генеральскую дочь, — рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучий! — крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам. — Будя, бястыжмй! Старый человек, и що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

— А я что? — сказал старик. — Я ничего.

— Народ там красивый, не униженный, — продолжал Салтык. — Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт спрашивается? Но опять его перебили.

— Ну об этом ты оставь! — сказал старик, — Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы до ста

лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку — сто пять, говорит. А уронил шапку — поднять не может.

— Это барский-то? Какой табе! — весело крикнула Алена. — За водой еще сам ездит! Скоропостижный дед!

— Не хуже моей старухи, — сказал Егор. — Животолюбивая старуха! А я ее корми, журишь об ней...

— А вот говорят же умные люди, — сказал старик, — можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто каждый человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

— Ну, это зря брешут, — возразил Салтык.

— Книги, значит, доказывают.

— Книги! — ухмыльнулся Салтык. — Ни ж

можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

— А рыба? — спросил он. — Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

— Та-ак! — сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

— Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь — она с холодной кровью, а выложи ее на берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

— А я так скажу, — крикнул он, — а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пицци! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пицци захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

— Ну, и вышли оба дураки! — закричал и старик, поднимаясь. Терпенья у нас не хватает, вот и не можем заохолодить. А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то уго-

жали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?

— Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? — крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта. — Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

— Пойдите, — сказал Салтык, — погодите лапнуть-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

— Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

— Да будя вам бряхать-то! — громче всех закричала Алена, бросая решето. — Галманы!

— Да и правда! — подхватил старик. — Бога-то попомните! Он, брат, за такие речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

— Пустика-ся! Уселся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота, — возразил Егор, — я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? — и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то неотложной, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в го-

лове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и заохолдить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он

бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходилась с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит,

вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брони и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро раздеваться, раздеваться.

— Ай ты очумел? — крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. — Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдет в воде в этукую стыдь!

— Она! — крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шарк-

нуть в воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашло у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выско-чил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес — этого Егору не надо было пояс-нять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в почин-ку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгу-ющему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с куз-нецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бу-тылкой и горшочком холодной пшенной ка-ши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли заохолдить свое тело, чтобы не тле-ло оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора — полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку — и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, подвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись. Егор вдруг закричал таким страшным сильным голосом, что с шумом выскочила из ло-

пухов старая черно-седая собака...

III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, начинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альты. И наступало долгое молчание: слышалось только, — из-за ракит по дороге в Ланское, — протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракитами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали

казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадиллом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же — то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась, — парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрывала она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но

широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подола, калоши — все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притих-

ли — и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотку пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы — золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ног-

тями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеки были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землею, ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после

смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, — только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

— Что ты, дядя Егор? — испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

— Так... что-й-то померещилось, — пробормотал он.

И опять прилег. Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полусубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову

прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидели мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновение перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка — две ноги, ужающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разное кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

Игнат*

I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чесменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. И поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, тем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были

у нее как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки, — уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое, — приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстя-

ном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим из людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось натывать на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

— Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил, — неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег. — Понюхай-ка, как от меня пахнет!

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темно-

ту; пахло кухней, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая барыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замахала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун прощенного дня. Масленица выпа-

ла поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра горело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник застыл в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из трочных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычавшую собаку. Уже были по двору лысины — чернела кое-где земля. Вы-

таскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой протянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вождением, Игнат двинулся за собаками — посмотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел в сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного потного дна ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он плелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Из-

нутри примкнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и сунула в подставленный карман его растянувшихся порток четверть бутылки.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отравка по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким — промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, — дом топили соломой, — Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца, — он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер

особенно волновал их, — он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на дальнем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.

— Чего тебе? — крикнул он.

Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел, постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер — и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму...

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтобы запрягали в бегунки

Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «А-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

— А-а, собаки, собакаки, собачики!

Был прощенный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громыхание бубенчиков, звон колокольников: лавочник, сапожник, урядник, мужики — все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой талью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шажками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком

на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, стучая ледяными глудками в передок, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал, обдал дыханьем и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папашой...

И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и

смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга две гармоньи, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поземки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!

II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей на них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

— Вот вы так-то играете, — сказала она, — а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял, — прибавила она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малей-

шего значения не придавал он ее словам, но с этого дня. Шевельнулась и стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принюхивались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирал скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло — ржаным колосом. В сумрак огромного треугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотьбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась

против солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо, и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накинутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подрезанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенной сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно: «Мчится парочка вдво-

ем...» Потом вбежала в дом — и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверью.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея — веселой, широкой. И опять нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревню, к бабке-шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо из-под горы казалось необъятно-огромным и новым.

— Не пара она мне, — твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. — Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая па-

хучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, и галки садились на них, держали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двойлись и плыли... Странно, — он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать рав-

ным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывя, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобый, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней, — и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались руб-

цы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже полетному было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидел он, пригнав стадо на пар, сидящую на опушке бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив, Игнат не совладал с собой...

С этих пор дурочка стала приходить к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без

водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А наплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть — тоже. Сапоги он пропил...

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер — на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже — шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу — жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, — был уже конец июля. В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и

показала на лесок.

— Как отделаюсь, так приду, — сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролежавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом мимо сада, к гумну. Впереди него мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись налево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся — и схватил ее за левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги — тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за ней послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывать тому — не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью — сидящую в телеге Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

— Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

— Постой, — шепотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове, — постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбив солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась вся его судьба,

Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращалась к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в из-

бу, — будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнительен, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю — ответа не было. Он грозил, молил — она молчала. Он опять стал пьянствовать — и оступел, измучился. Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы. Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья мослаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову — бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка с привязанными к нему сапогами и чайником, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смот-

рел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу — и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы — и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли богатому помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игна-

та и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задира л мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя мослаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но ев-

рей ничего не сказал; только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попутчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом — так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали — свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломи-

ло в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурил сигарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Иг-

нат присел, взвалил сундучок себе на спину, подсунув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами; светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух — еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат по-

шел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марей, светился низкий огонек — из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка ткала кросна, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликнулся, только откашливался. Потом стал слезать — задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затаиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:

— Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у

господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника имеет...

— Знаю, знаю, — сказал Игнат, что-то думая.

— Известно, знаешь... Ну, потращаешь — бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

— Я сундук у тебя пока оставлю, — сказал Игнат, не поднимая глаз.

— Это можно... оставь... Оставить можно, — согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясно. Темно синяя в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от водовозок стали резче, улица заискрилась.

— Зима обозначается, — хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не

поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревням, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в небе под деревьями...

Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу — Николай-угод-

ник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, — и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним — старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

— Он у нас сумасходный, — тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. — Дюже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

— Бог благословит, бог благословит, — по-

бормотал он. Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

— Любовь в доме?

— В доме, в доме, — поспешно отозвался тот. — К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полян, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас же за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил — и застыл, замер, прижавшись к стене.

IV

Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос ши-

рокий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородки ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

— Кто там? — сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими деревнями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала

своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, — только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный крут. За стволами их просторно белел светлый двор, и свежая колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пъявки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полночной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула фортки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верх-

ние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрехал пойнтер, — и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безмянным пальцем в разных местах клавиши...

— Хорошо у вас тут, тихо, — сказал он входившей и выходившей Любке.

— Скучно, — ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

— А ты бы забаву какую-нибудь прииска-ла себе, — сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.

— И то правда, — тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее груди. Она вбок блеснула смуглыми белками и с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, как бы греясь, к холодной печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша, — подумала она, — распутный небось». Но опять грубо забрехал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

— На кого это он все? — спросил купец, выпив и раздувая ноздри. — Как отзывается! — сказал он, послушав. — Как орган.

— Да все небось этот пьяница шатается, муж скотницы нашей, — ответила она и, подумав, насмешливо улыбнулась. — Тут такая потеха идет, не приведи бог.

Купец, отрезая кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

— Да что ты!

— Ей-богу, — сказала Любка. — Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

— Что ж, еще дружка себе нашла?

— Да ай их мало! — сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый мороз будет. Куда вдаль так-то поохать, замерзнешь.

— Очень просто, — сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы. — А собака эта же чья?

— Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича, — сказала Любка. — Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.

— Да и дурак, верно, хороший, — вставил купец.

— Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить, — сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу. — Только, правда, никуда не гожается и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

— А ты уж давно здесь проживаешь?

— Давно. Седьмой год, никак.

— И довольна, значит?

— Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть и не живут тут.

— Муж-то в солдатах?

— В солдатах.

— И на войну не попал?

Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.

— Они, такие-то, счастливые, черти, — сказала она, смеясь.

— И отслужится небось скоро?

— То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать, — сказала Любка то, что часто говорила портному. — И опять же ревнив, надоел своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит — убью, а скажи ласковое слово — сейчас слюни распустит. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имеешь право, — сказал купец. — Это время прошло, чтобы сдурю, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышовый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую па-

пиросу, с наслаждением закурил.

— Давно замуж-то вышла? — спросил он с мутной усмешкой.

— Пятый год пошел.

— А детей не было?

— Не было.

— Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша.

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: — А уж это, видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была — искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку... Плохая наша бабья доля, — сказала она.

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.

— Это верно, — сказал он, не зная, что говорить. — Да что ты все около печки-то спасаешься?

— Греюсь, — ответила Любка с игривой

скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отвалившись к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, пробор, — и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюда, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно — острую кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул ку-

печ из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

— Довольно, что ли? — спросил он.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:

— Что ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

— А я люблю, — сказала она, — она сладкая, опричь если на сковородке поджарить. — И засмеялась: — Пост, а мы жрем... — И, помолчав, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

— За что же это? — спросил купец.

— Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шепо-

том сказала:

— Ну, пойдёмте, что ль...

V

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощён был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в сенях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как

потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцевито-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.

Но время шло, шло — и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привсталала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стола видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка

внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, — и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топорико со скользкой рукояткой, — стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел между тем в темный коридор и протянул вперед руки.

— Тут хворост на топку приготовлен, не упадите, — сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил прият-

ный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «Это у нас задняя прихожая», — пошарила по стене и отворила дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо блестящий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены — деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И, повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шепотом:

— Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шепота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал, — он, охватив и

прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ее рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать

с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, растегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной кверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть не до потолка ростом. Правой рукой, отведенной назад, он сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.

— Мой грех, — быстро сказала она. — Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрешавшееся лицо, на расширенные и неподвиж-

ные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки — и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, слабо зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугуничик горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжими от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальной огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синяя. Бледнело, расширялось небо за садом, за сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фаэтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадьё, её свежим пометом и недоёденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Фёдька подошел к нему — и он, играя, опустил голову. Фёдька подвел узду под неё, — он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве ещё круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Фёдьке, в его тугой полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Фёдька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела — обтирая руку и приглаживая, оправляя загнутые кверху, зачесавшиеся волосы на холке, — и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Фёдька с удивлением поглядел на неё. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил

его — и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, — и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

— Ну, будя, навек все одно не напьешься, — сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем стало светло. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось ало-оранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившись и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, раздрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток — по-

греть лошаадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу — и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шипели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к тмени.

Капри. Февраль 1912

Захар Воробьев*

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества; в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласко-

востью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слянули. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел он в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Срок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы теперь для праздничка выпить маленько», — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрицевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, потратился, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятеле-

лю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осяживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучив-

шись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал —

подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, покраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять

французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с него своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно перегляды-

вался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, пожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая

седьмую, последнюю булку. — Стоит и лопатет! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на деревья, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к нему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жаны, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан этим временем подошел к окну и с косою на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте испросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Легонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энто день пропал без вести и на мои требования

не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблучков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голени-

ца, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — К допросу. Подойди поближе!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать». — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, — и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушшество, говорит, моя, за сына я не плательщица, но правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни

портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой». — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имущество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. — «Иде отец?» — «В клетке, после обеда отдыхает». — «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Блиско, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, — он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просившим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки при-

земистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубаше распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошущукался чтой-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!» Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит... — Форсит-то, форсит, — опять перебил

урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли целый час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. — Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он, — Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. — Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду до-

казывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты mine, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слушать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушкой. И еще пуще старика морщится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в

осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». — «Ну, пойдете, надо его охоту просмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степи аграматные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да

еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опустилось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похо-

жие вдали на гусениц, — и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирал горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек не особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к

концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубо-

кого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. — Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. —

Раз тебе испрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее зарорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я тебе говорю, не голоси! — гово-

рил Захар. — Всякий свою стежку топча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертво тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лоцины. Над ним полный, уже испускающий сияние

месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды,

уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновы Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситце-

вой рубахе и обтертых до красна и опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, — выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя

под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачайшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль 1912

Ермил*

В наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни метели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой — как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу непривычен: прежде нанимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, кто никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он

давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помыкали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху — злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все нипочем. Уверенно переселился он в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бы-

вало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночки похаживать по лесу — и уж только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за избу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи — нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги — и совсем хоть пропадай!» — думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучику посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился — и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были вол-

чьи притоны. В самую полуночную пору не раз, с визгом, с захлебывающимся лаем, кидались в глубину сеней собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна, при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени — и сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скату оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впуская за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцом, гоня дрожащие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогач, подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задира л тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и

запалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго, сурово, по-зимнему. И Ермил повеселел было. Но по сравнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он па страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалась на суке высокого дуба веревка, а не веревке — оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорвавшейся шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине — со зла или для забавы — удавил ее. И вдруг

опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят? Лес, глушь крутом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заныло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слазил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел,

поминутно попадал одной лыжей на другую — измучился, извихлялся и вернулся к избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, — подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. — Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер — и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила — до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, выпускал своего белого лохматого кобеля, — сучка куда-то сбежала, если только не попала на зубы волку, — шел по сугробам в овраг, на пруд; возвратясь, затапливал, умылся, молился и принимался за работу — вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетыком. Дымил, сипел, стрелял хворост в

печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел кобель — наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно-белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми во-

лосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле бога. Не о нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Ом нею жизнь полагал, что верит в бога, но только полагал. Темная сила — другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда знали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смола и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а

что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, затаился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедля в село, как сторяча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму — все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто — неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни — и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие

то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный сапожник, Ванька Махор, первый разбойник на селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» — Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, ставившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдуманно. Пора было дело делать. И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистолетом, зарядил утиной дробью, крепко забил палкой, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колена в белейшем снегу, поджидая, не сядет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в нано-

сы по пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачивалась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, — наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и, вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: откровенная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная, — это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать — смотреть на тропинку, поднимающуюся по

косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне, прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе, — тем более... А кто же именно идти-то будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, постой, меня голдой рукой не возьмешь!» — думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидимому селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных му-

жицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда белее, пушистей, глубже, — не жилой это снег, звериный... Он прошил околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей, свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... Зачернели люди, ехавшие в кабак, с лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной, редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то

перевертывал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, ссыпая туда пшено, то наливал, щедро переливая, бутылки керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пень, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, — только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой, насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

— А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселые, пированье, а мне — жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да

убьет. Да что ж! Небось скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, бережной... А не то, святошное дело, и так только — попугать вздумает... А я от того могу беспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

— А ты вот бреши так-то побольше, наклей на себя, сказал лавочник, протягивая щербатому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. — Бреши побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

— Верно. Это уж известно — только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурацки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мещанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и гряз-

нее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него — много желтых и белых медалей. В темных сенях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись сидел сам Махор и его подручный Мишка. Больная старуха спала за ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мещанского угла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из снятой крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикла-

дывал их к губам, без передышки тянул в себя воздух — и клапаны дребезжали, пели, пищали. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог — и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушной, он, пойдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое-что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоить сапоги.

— Головки? — отрывисто спросил Махор. Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели:

— Это кому же?

— А хоть бы и мне, — сказал Ермил. — Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

— Франт тоже! — сказал Махор, оглядывая его. — Да тебе околевать пора. Ай погодить хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил сощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околей ты прежде!» — подумал он. И с притворной развязностью ответил:

— Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь — я к Кострецу, к хрому, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

— А! Вон оно что! — свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

— Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

— Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сижу ни жив ни мертв в лесу... По ночам не сплю... Кто и пугать просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

— Родимчик приключится? — сказал Махор.

— А ты что ж думаешь? — подхватил Ермил. — Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, полушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

— А! — опять сказал Махор, но уже равнодушно. — Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

— Чего ты? — торопко спросил Ермил.

— А то чего же! — ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества, — он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом полушубке, — и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и

какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.

Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путаные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу — покойник батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

— Батюшка? Ты зачем? — спросил он. — Я теперь тебя не боюсь.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

— Спи, господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчерашней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять ныряла в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг — насторожился. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору.

Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, наклонился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, щурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

— Господа начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

— Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел он двор, как ловко колол дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, — «прижился к богу». Но в монахи постричься не пожелал.

— Нет, я дюже преступный, — говорил он с удовольствием.

Капри. 27 декабря 1912

КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬХ*

Лукьян Степанов приехал в светлый сентябрьский день к помещице Никулиной. До его хутора верст пятнадцать, лошадьми он дорожит как зеницей ока. Значит, приехал он по важному делу.

Гнедой жеребец, сверкая глазами, тяжело влетел во двор, к сараю, где еще до сих пор слезают те, что не решаются слезать у крыльца. Лукьян Степанов сидел на беговых дорожках, на голой доске.

— Что же это вы, Лукьян Степаныч, без подушки-то? — смеясь, спросил его лицеист Сева, шедший от конюшни.

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, привязывая жеребца к телеге без передков.

Сева стал годить. Привязывал Лукьян Степанов долго, основательно. Привязав, высморкался на землю, вытерся полою и наконец ответил:

— Вот оттого-то у вашего брата, господ, и нету ничего. Есть подушка — валяй ее и в хвост и в голову!

Взяв с дрожек мешочек, набитый чем-то тяжелым, он пошел к дому — большой, тяжелый от одежды. На нем была теплая поддевка, сверх поддевки бараний тулуп, голова под шапкой повязана по ушам красным платком, ноги обуты в тяжелые сапоги.

Сева опять засмеялся и сказал:

— А тепло вы одеты!

— Мне, брат, восемьдесят с гаком, — ответил Лукьян Степанов. — Доживи-ка до моего.

— Ну, уж и восемьдесят! Откуда вы столько набрали?

— В поле, брат, набрал.

— Ну, а уши-то вы зачем же завязали?

— Глухой быть не хочу — вот зачем. Отче-

го вы, господа, глухие-то все? Вот от этого. Выскочил в чем попало, надуло в уши — и готов.

Вышла в зал хозяйка, ее старший сын Мика, лысый, усатый, близорукий, и дочь Люлю — бледная, женственная, задумчивая, постоянно кутающая плечи в пуховой платочек и неожиданно, притворно вздрагивающая. Хозяйка угощала гостя белым хлебом, чаем и вареньем, много говорила, делая вид, что очень осведомлена в сельском хозяйстве. Сева не спускал смеющихся глаз с Лукьяна Степанова, с его загорелого лица и носа, который от загара лупился, был лиловый, в золотистой шелухе. Мика, наклоняясь к столу, курил, сбрасывал пепел в пепельницу в виде ладони и катал хлебные шарики, что всегда раздражало хозяйку. Люлю села с ногами на диван, прижалась в уголок, съежилась и, не моргая, глядела красивыми печальными глазами в большой рот Лукьяна Степанова: десны у него были розовые, голые, без единого зуба. Всех томила загадка: зачем он приехал? А ну как приторговываться к имению? Ах, если бы дал господь! Хозяйка очень тонко, как ей казалось, подводила разговор к продаже имений,

намекала на то, что, по нынешним временам, и она охотно продала бы:

— Ах, Лукьян Степаныч, с нашим народом поневоле придешь к заключению, что банкто самое надежное место для капитала!

Но Лукьян Степанов говорил только о своих лошадях, об умолоте, очень охотно ел белый хлеб, деликатно брал ложечку варенья прямо из вазы, глубоко запуская ее в рот, клал обратно и пил чай. Он делал вид, что слушает хозяйку, изумлялся самым простым вещам, хлопал себя по колену — и опять говорил только о себе, не давая говорить хозяйке. Сидел он в расстегнутой проддевке, под которой была линючая ситцевая рубашка, вытирал лысеющую голову и лицо платком, снятым с ушей. «Совсем еще здоровый мужик! думали все. — Только борода седая, да и то не совсем, еще видно, что она была рыжая; есть, конечно, и в глазах что-то тусклое, старческое, живот провалился...» Наконец он встал, принес из прихожей и развязал свой тяжелый мешочек, полный серебра вперемежку с золотыми. Оказалось, что он приехал только затем, чтобы похвастаться. «Да это еще что! —

сказал он. — Разве это деньги? Так, запродавал овсишко, ну и взял маленько задатку...»

Вызвав удивление, зависть, почтение, он довольно и хитро засмеялся, вернее, засипел, открывая розовый рот, поблагодарил за чай, за угощение и пошел одеваться.

— Нет, пора, пора, — сказал он, хотя никто не оставлял его. — И так припоздал. Лучше на Покров еще приеду.

Все были разочарованы и ушли, не дождавшись, пока он оденется. В прихожей остался один Сева.

— Ну, вот вы, Лукьян Степаныч, говорите, что вам восемьдесят с гаком, — начал он, садясь на коник. — Ну, скажите откровенно: боитесь смерти? Часто о ней думаете?

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, одеваясь.

И опять ничего не рассказал. Повязав уши, надвинув шапку на самые брови, туго и низко подпоясавшись, он стал нанизывать на себя тулуп. Справившись с этим, он устал, задохнулся и тяжело сел рядом с Севой.

— Смерти-то? — сказал он. — Кто же ее не боится? Чудак-человек! Да ведь что ж сдела-

ешь? И умрешь, не откажешься... И богатства своего, брат, с собой не возьмешь!

— А вот, вы с деньгами так-то ездите: не боитесь, что убьют, ограбят?

— Что я с деньгами, того никто не знает. А и узнает, не догонит. Такого жеребца, как мой, у твоего деда на свадьбе не было.

Усевшись на дрожки верхом, Лукьян Степанов шибко понесся со двора, но, миновав церковь, гумно, всех, кто мог его видеть, потянулся шагом. А в накуренном зале долго стоял столбами свет предвечернего солнца. Сева открыл пианино, в тысячный раз что-то начал. Хозяйка с грустным и важным лицом несправедливо обиженной, но покорной своей судьбе женщины занялась мытьем и вытиранием чайной посуды, брезгливо отдав горничной вазу с вареньем, из которой ел Лукьян Степанов:

— Выкиньте это и вымойте горячей водой.

Люлю встала с болезненной гримасой, — ах, уж эти доморощенные музыканты! — и, выйдя из дому, медленно пошла по липовой аллее, стараясь наступать на сухие листья, золотые и розовые. «Осень, осыпается весь мой

бедный сад!» — высоким голосом запела она. Но оборвала песню на первых словах, свернула на дорожку среди сиреневой заросли, села на скамью и вдруг зарыдала, подавляя рыдания, злобно закусывая край платка, чтобы не закричать от боли. Полоса яркого вечернего света легла на серый старый стол возле скамьи. Какая-то черноглазая птичка беззвучно слетела на ветку, с ветки на стол, туго, бочком прыгнула раза два, с любопытством глядя на плачущую. На гумне, куда, притворяясь хозяином, шел Мика в австрийской куртке и высоких сапогах, ровно гудела молотилка. Ясный, равнодушный вечер был так тих, что она слышна была далеко в поле — желтом, пустом, золотившемся шелковыми сетями паутины.

Через несколько дней подали к крыльцу никулинского дома тройку. Кучер надел плисовую безрукавку, шелковую канареечную рубаху и шляпу в павлиньих перьях, барыня и барышня — траур: всегда есть какая-нибудь умершая дальняя родственница, а это ведь так удобно, если нет хороших костюмов для вагона. Спустив вуали, натягивая фильдекосо-

вые перчатки, они ласково и грустно прощались с прислугой, принимая зонтики, накидки, рыжий плед покойного Никулина. Сева поехал верхом, на нервной худой кобылке. До станции всего двадцать верст, поезд отходил в семь, а выехали в два. Можно было отстать. Сева отстал возле хутора Лукьяна Степанова. Тройка скрылась в степи, среди ржаных жнивей; он повернул на заросшую полынью дорогу к хутору.

Было жарко, вокруг блестела сухая вспаханная земля на картофельных обобранных полях. Вдали серебрились тополя. Навстречу шел по пыли белый толстый мальчик, лет трех, в грязной рубашечке, в большом картузе, похожий на старичка, — шел, положив голову на плечо, неизвестно куда. «Заблудится, пойдет к черту на кулички», — подумал Сева, смеясь.

Был праздник, послеобеденное время — хутор казался необитаемым. Вот плетень и въезд в широкий двор. На дворе — телеги, сорокаведерное каменное корыто, журавль колодца, тень от старых амбаров под сизой соломенной крышей. Нарушая вид степного му-

жицкого гнезда, белеет за амбарами еще не крашенная железная крыша нового мещанского дома на высоком фундаменте. Дальше — какой-то черный исполинский шалаш, возле которого висит на шесте дохлый ястреб. Впереди — мелкий пруд, сверкающий на солнце, глиняные берега в гусином пуху. А по другую сторону двора — развалины варка, старинного, еще тех времен, когда хутор принадлежал барону Ачкасову: каменные крепостные стены, голый остов несокрушимых стропил. Все ворота настежь — виден навоз, слежавшийся, спекшийся, выросший за многие годы под самые переметы.

Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубахе, опираясь на рогач. Невдалеке тихо сидел в ведре, забитый в него, закутанный в попонку, бледный ребенок в чепчике. Другой, в продранной на тугом животе рубашке, криво и старательно заносил полную ножку, взбираясь на каменное крыльцо амбара. А вокруг все было усеяно спящими: одной семьи у Лукьяна Степанова шестнадцать человек, да еще гости, кум с женой, приехали. Все ошале-

ли, ослабели после обеда, повалились где попало и заснули. Один Лукьян Степанов не сдался: был еще во хмелю, красен, но стоял бодро.

Когда Сева въехал во двор, Лукьян Степанов не спеша подошел, подал ему руку и осмотрел запотевшую под седлом кобылку.

— В Москву за песнями? — спросил он с усмешкой.

Под навесом амбаров сидели на цепях овчарки. Он погрозил им. Возле них, в тени, крепко спал на спине кум, мужик с черной бородой. На солнце, в телеге — баба в зеленом платье и старший сын Лукьяна Степанова, в атласной синей рубашке, в кованых сапогах, с выпущенными из-за голенищ каемками шерстяных чулок. Эти лежали ничком, обнявшись. Прочие спали прямо на траве. Бабы — прикрывшись от солнца фартуками.

— Яишенку? А? — спросил Лукьян Степанов.

Сева, смеясь, отказался:

— Мы только что от завтрака.

— Ну, чайку?

— Право, не хочется. Да и на станцию бо-

юсь опоздать.

— Значит, опять в Москву?

— Да... Пора. Я и так пропустил уже много уроков.

— Жисть вам! — сказал Лукьян Степанов, как бы с завистью, но не скрывая и насмешки. — Урков! А я вот тысяч на сорок имею, князь во князьях, а все сижу. В Киев и то не соберусь никак. А понужней твоих урков. Пойдем, дом покажу.

Возле дома, на рвани ватного одеяла, сушилось просо.

— Кш, пропасти на вас нету! — сказал Лукьян Степанов, махнув рогачом на высоких худых цыплят, бегавших по просу, и поднялся на крыльцо, вошел в сени, делившие дом на две половины. Полов в сенях еще не настилали: навалены были тут рассыпавшиеся колеса, разохшиеся кадушки, кирпичи, известка. В отворенные двери глядели пустые комнатки, кафельные печки, медные отдушники, стены в голубеньких обоях.

Сева спросил, оглядываясь:

— А что же вы его не доделываете?

— Это кого? Дом-то?

— Да.

— Капиталу, брат, не хватает. Это ведь у тебя одна забота — урки учить, задачи решать да диктовку гнать.

— Нет, без шуток? И не доделываете и не переходите. Ведь вы, говорят, под шалашом, в землянке живете?

— Она землянка, а лучше всякой избы, — сказал Лукьян Степанов. — А не перехожу, это правда. Третий год не перехожу, оттого и не доделываю. Не в капитале, понятно, дело. Дай ребятенки подойдут, выровняются.

— Какие ребятенки?

— А внуки. Их у меня числа нет. Пусти-ка их! Живо все шпалеры обдерут.

В задней комнате, в зале, как назвал ее Лукьян Степанов, сидела на полу босая баба, милостивая, очень смиренная на вид, и рубила косярем зеленую траву.

— Это кому же? — спросил Сева.

— Свињьям кушанье готовит, — сказал Лукьян Степанов. — Пойдем. Тут жарко.

— А я все-таки избу вашу хотел бы посмотреть.

— И в избу сведу.

Под громадным, черным от старости шалашом толстый потолок из бревен покрывал громадную землянку. Спустились вниз по земляным стертým ступенькам. Внизу было мрачно, темно — свет проходил только в два крошечных окошечка под самым потолком. Сева увидел нары человек на двадцать, опять-таки заваленные старьем — попонами, лотками, ошметками лаптей, люльками; оглядел рассевающую кирпичную печь, полати, стол, занимавший чуть не половину избы, щербатые чугуны на мокром земляном полу возле печки, — в них, в воде с золой, выпаривались портки и рубахи.

— Но это ужасно! — сказал он, смеясь. — Как же вы тут живете! Ведь вас шестнадцать человек. И целую зиму спите все вместе...

— Ничего тут нету ужасного, — сказал Лукьян Степанов, что-то внимательно оглядывая под печкой, и вдруг махнул рогачем: изпод печки, раздувая золу, вылетел больной облезлый голубь. — Ничего тут нету, братец ты мой, ужасного. Девять лет прожил, как дай тебе бог прожить. Ни разу не угорели. Диво, а не изба. А теплынь какая! Зимой прямо хоть

рубаху скидывай... Мы, брат, люди земляные.

— Но сыро, должно быть, ужасно?

— Наладил! Сыро, это правда, дюже сыро.

Пойдем свою охоту покажу.

«Охота» Лукьяна Степанова, его знаменитые на всю округу чернопегие битюги помещались в особом дворе, в каменной, крытой тесом пристройке к новому дому. Отомкнули замки на высоких тесовых воротах, вошли в уютный квадрат из денников и амбарчиков с крылечками и маленькими железными дверками.

— Вот буду жить в новом доме, проснусь так-то ночью, гляну, ан мне из залу все и видно, — сказал Лукьян Степанов, показывая на окошечко, глядевшее из дома во двор. — Понял? Умно придумано? Истинно, как Адам в раю, живу! Истинно, князь во князьях.

Глаза его стали блестеть. Денники тоже были на замках. Отмыкая их, он распахивал дверь, смело шел прямо к заду лошади, оглаживал его и шел в голове.

— Ты не ходи, не ходи! — кричал он из денника. — На порожке стой. Насмерть убьет! Меня только одного подпускают...

Страшные траурные лошади вздрагивали всей кожей, шарахались, храпели, косили огненными глазами. Гривы у них были черные, густые, чуть не до земли. Раскормлены они были на удивление, до желобов на спинах и крупах.

— А? Что? Каково? — глухо кричал Лукьян Степанов из темноты. — Видал? А то Москва... Боле ста лет в нашем роду этот самый завод, такой масти ни у кого во всей губернии нет. Стану помирать, накажу цельную тройку запрячь в самую первую телегу, — тройкой гроб помчат!

Потом, нагнувшись, переступил порог денничка, где стояла ладная жемчужная кобылка:

— А это моя любимица! Земчужная лошадка называется. У, матушка! Любишь? Любишь? — Любит, чтоб ей носик чесать, страсть любит, — сказал он с восторгом, обращившись к гостю.

Все осмотрев и затворив, замкнув, он обрел еще более прекрасное расположение духа.

— Погоди, дурачок, погоди, поспеешь! —

говорил он, удерживая Севу. — Пойдем чай пить. А не хочешь, давай так посидим, побалакаем...

Он сходил в избу, принес скамью, сел; глубоко и довольно вздыхая, усадил Севу рядом с собой.

— Эй, бабка! — закричал он на весь двор. — Старуха!

Толстая, сутулая старуха в шерстяных чулках, в очках, с паголенком и спицами в руках, показалась из-за шалаша.

— Княгиню-то мою еще не видал? — спросил Лукьян Степанов, кивая на нее. — Заодно уж и ее погляди. Она у меня тоже при делу. За избой сидит, мак стережет.

Старуха подошла и низко поклонилась.

— Ну, как? — спросил Лукьян Степанов. — Сидишь? Никого не видать?

— Пока, слава богу, никого. Да ведь знают, что есть караул.

— Маку немножко для потехи посеял, — сказал Лукьян Степанов, обращаясь к гостю. — Я этих там маков, подсолнухов ни по чем не уважаю — для потехи только сею по малости, абы ребятишкам хватило. Как сеяли

деды-прадеды ржицу, так и нам бог велел. Они только ее, матушку, знали, а сигарки из трехрублевок вертели. Я, братец ты мой...

Старуха стояла и блестела мелькающими спицами, слушала, глядя исподлобья, из-за очков. Лукьян Степанов слегка нахмурился.

— Ну, будя, послухала, — сказал он и махнул на нее рукой. — Что приглядываешься? На мне узоров нету. Ступай, ступай отцеда...

Вечерело. Галки, болтая, усаживались на решетчатые колпаки на трубах нового дома. Стали просыпаться спавшие. Один за одним прошли мимо, на пруд, умываться, сыновья Лукьяна Степанова — угрюмые, густоволосые, крепкие мужики. Ребенок, сидевший в ведре, повалился вместе с ведром и кричал на весь двор. Сева простился. — «Ну, во святой час, — сказал Лукьян Степанов, — подюжей учись», — и Сева, вскочив на свою нервную кобылку, поехал по плотине пруда. Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь. Воробьи осыпали горелую, голую лозинку на плотине сплошным треском, вечерним, уютным. Желтоватая жидкая вода кишела возле плотины мельчайшими вшами. Умывшийся му-

жик сидел на глиняном берегу распояской, отражался под берегом и глядел на оранжевое солнце, садившееся за степью, за неоглядной равниной, в молочно-голубом сухом тумане. Жнивья были лимонные. Пастушонок, с раздутой губой, в бараньей шапке, медленно гнал по ним стадо овец. Они двигались скопом, на ходу докармливаясь, с шумом дыхания. Сева, отъехав от хутора, ударил плеткой по лошади и понесся вскачь, оставляя за собой столб пыли. Столб этот протянулся на версту и не опадал долго, долго...

В Москве всю осень шли дожди. Мика не писал и не слал денег из деревни — опять с любовницей связался. Мама хворала, — по крайней мере, не принимали никого, говоря, что она хворает. Принимали только одного Жедринского, старого театрала, бритого, очень полного, страдавшего одышкой, славившегося своими острогами на весь город. В ноябре Люлю, неожиданно для всех, вышла за него замуж. Теперь уже валил снег, ночью вверх по Тверской одна за одной неслись, гремя глухарями, тройки. Жедринский часто проводил ночи с компаниями в Стрельне. Ку-

ря на морозе сигару, сидя в дохе между женою и маленькой знаменитой артисткой, Жердинский все наклонялся к ней и остротами вполголоса заставлял ее хохотать до упаду и бить его по рукам. Люлю, в дорогих легких мехах, в средневековом бархатном берете, печальными, молящими глазами, уткнув лицо в муфту необыкновенной величины, смотрела на сидящего напротив молоденького сумского офицера. Его сосед, знаменитый певец, с лицом екатерининского вельможи, стриженный в скобку, по-мужицки, но в цилиндре и медвежьей шубе, делал ленивые, бесстрастные глаза: ревновал. Люлю грустно думала:

— Я гадкая, гадкая...

Жизнь в Стрельне, у Яра только начиналась. Весело было входить туда, в огни, тепло, блеск зеркал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским и жареными рябчиками, отряхивать морозный снег с мехов, кидать их на руки ловких людей в поддевках и помогать дамам, шуршащим шелком юбок, покрасневшимся и сияющим с мороза, расстегивать ботинки!

А Лукьян Степанов, мирно ночевавший со

всем своим многочисленным потомством в теплой земляной берлоге, уже третий раз просыпался в эту пору и босой выходил наверх, на скрипучий снег, под черно-синее небо и звезды.

Капри. 30 декабря. 1912

Последнее свидание*

I

В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Довея его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и

ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки — темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

— Андрюша, ты куда?

— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими гла-

зами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. — Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

— Кого ты можешь уважать? — ответил Стрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

— Виноват, виноват! — сказал Павел. — *На условное свиданье мчится юноша молодой!*

Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на закрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мель-

кала по голым вершушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновою корой, оврагами с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужно сияющей траве.

— А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть

не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекошил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

— У, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, — так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радост-

но, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин — последнее богатство.

— Ты до завтра? — быстрым шепотом спросила она. — Да? Я не верю своему счастью!

— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

III

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

— Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

— Чем ты пожертвовала?

— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

— Мы с тобой не бог вещь как молоды.

— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказала она.

— Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произноси-

мое разно. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

— Пусть из меня ничего не вышло... Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немного, но добилась бы...

— Ах, не музыку. И как только Падарский...

— Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

— Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отравы для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

— Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

*Любя тебя, мечтал я о мечтавших,
Любивших здесь сто лет тому назад —
И по ночам ходил в заглохший сад,
При свете звезд, их некогда кидавших...*

Он взглянул на Веру и заговорил резче:

— Зачем ты ушла — и за кем? — из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на се черные сухие волосы.

— Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, тем-

ный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твое платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза — не видящие меня глаза! — желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона — это было для меня...

— Она, а не я во всем виновата, — с трудом сказала Вера.

— Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зелена, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. — От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей ру-

ке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге — и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

— А потом, конечно, роли переменялись, — сказал он тихо, с отвращением. — Ну, да теперь все равно. Конец...

IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный

блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

— Митрий приехал.

— Подождет, — ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинута назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндевевшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из

черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задира л голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

— А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

— Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, по-

ехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. — «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Капри. 31 декабря 1912

Жертва*

Семен Новиков, живший с братом своим, сусхоруким Никоном, Петровками горел. Братья согласились поделиться, и Семен, высяаясь из Брода, рубил себе избу на большой дороге.

Под Ильин день плотники отпросились ко двору. Надо было ночевать на постройке Семену. Поужинав вместе с большой семьей брата, в тесноте, среди мух, он закурил трубку, накинул полушубок и сказал своим:

— У вас тут духота. Пойду на постройку, там ночую.

— Ты хоть собак-то возьми, — ответили ему.

— Она! — сказал Семен и пошел один.

Ночь была месячная. За думами о будущем дворе Семен и не заметил, как поднялся из села по широкому прогону на гору и отмахал по большой дороге с версту — до своей запотолоченной, но еще не покрытой избы, стоявшей на опушке хлебов, в пустом поле, черневшей окнами без рам и тускло блестящей против месяца концами свежих бревен по углам, па-

клея, торчавшей из пазов, и щепой на пороге. Низкий июльский месяц, поднявшийся за оврагами Брода, был мутен. Теплый свет его рассеивался. Спелые хлеба тускло, сумрачно белели впереди. А к северу было и совсем хмуро. Там заходила туча. Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и овсам — и они сухо, тревожно шелестели. Туча на севере казалась неподвижной, но часто подергивалась золотым быстрым блеском.

Семен, по привычке сгибаясь, вошел в избу. В ней было темно и душно. Желтый месячный свет, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой, только увеличивал ее. Семен кинул полушубок на стружки посреди избы, как раз на одной из полос света, лег на спину. Пососав потухшую трубку и подумав еще маленько, заснул.

Но вот понесло в окна ветром, глухо заворчало вдали.

Семен очнулся. Ветер усилился — он бежал теперь по горячечно шумящим хлебам непрерывно, и свет месяца стал еще тусклей. Семен вышел из избы за угол, в сухо и знойно шур-

шавшие, бледные, как саван, овсы, посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полнеба. Ветер дул прямо в лицо, задира, путал волосы и мешал смотреть. Мешали смотреть, слепили и молнии, загоравшиеся все жарче и грозней. Семен, крестясь, стал на колени: вдали, среди овсяного моря, выделяясь на стене тучи, двигалась на Семена небольшая толпа, с обнаженными головами, в белых подпоясках, в новых полушубках, — с трудом несла саженный запрестольный образ древнего письма. Толпа была туманная, призрачная, но образ виден хорошо — страшный, строгий лик, красневший на черной доске, опаленной свечами, закапанной воском, окованной старым, сизым серебром.

Ветер разобрал волосы на лбу Семена, приятно отдувая их, — и Семен, в страхе и радости, до земли поклонился образу. Когда же поднял голову, то увидел, что толпа стоит, неловко держа величаво откинутый образ, а на туче, как церковная картина, начертался и высится огромный зрак: белобрадый, могучий Илья в огненном одеянии, сидящий, как бог Саваоф, на мертвенно-синих клубках обла-

ков, а над ним — две горящих по аспиду зелено-оранжевых радуги. И, блестя очами-молниями, голос свой сливая с гулом, с громами, сказал Илья:

— Держись прямой, Семен Новиков! Слушайте, князья-хрестьяне, вот я буду судить его, временнообязанного хрестьянина Елецкого уезда, Предтечевской волости, Семена Новикова.

И все поле, белевшее вокруг, все колосья его вместе с куколем понесли, побежали вперед, поклоняясь Илье, и в шуме их сказал Илья:

— Я серчал на тебя, Семен Новиков, желал покарать тебя.

— За что, батюшка? — спросил Семен.

— Непристойно тебе, Семен Новиков, меня, Илью, спрашивать. Ты должен ответ держать.

— Ну, ин, будь по-твоему, — ответил Семен.

— Позалетошний год я убил молоньей Пантелея, старшого твоего: ты зачем закопал его в землю по пояс, колдовством воротил его жить?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Жалко было малого. Рассуди: ведь кормилец-поилец при старости.

— Летошний год я посеял, повалил твою рожь градом, вихрями: ты зачем прознал о том загодя, запродай эту рожь на корню?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сердце чуяло, нуждишка была.

— Ну, а нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешишь строиться, отделяешься?

— Прости, батюшка, — сказал Семен, кланяясь. — Сухорукий брат мой несчастливый: от него и все беды, думалось.

— Закрой глаза. Я подумаю, посоветуюсь, чем казнить тебя?

Семен закрыл глаза, склонил голову. Ветер шумел, — он старался сквозь шум его тайком поймать, о чем шепчется Илья с крестьянами. Но опять загредело над ним — ничего не стало слышно.

— Нет, не придумаем, — во весь голос сказал Илья. — Сам посоветуй мне.

— А глаза-то открыть? — спросил Семен.

— Не надобе. Слепой тверже думает.

— Чуден ты, батюшка, — серьезно усмехнулся Семен. — Да и что ж тут придумывать? Поставлю тебе свечку трехрублевую.

— Не из чего. На постройку потратился.

— Тогда в Киев схожу.

— Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?

Семен задумался.

— Ну, девчонку, Анфиску, убей. Ей и всего-то второй годок. Девочка, сказать по совести, умильная, — жалко нам будет ее, да ведь что ж сделаешь? Все не с малым сменить.

— Прислушайте, православные, — громко сказал Илья. — Соглашаюся!

И такой огонь разорвал всю высь, что у Семена чуть веки не вспыхнули, и такой удар расколол небеса, что вся земля под ним дрогнула.

— Свят, свят, свят, господь бог Саваоф! — прошептал Семен.

Очнувшись, открыл глаза, он увидел лишь пыльную тучу, хлеба и себя самого, на коленах стоящего в них. Пыль вихрем неслась по дороге, и месяц совсем замутился.

Семен вскочил на ноги. Позабыв о полу-

шубке, он поспешно пошел к себе. Крупный дождь захватил его на выгоне. Темные облака надвинулись над стемневшими оврагами. Красный месяц закатывался. Село спало крепким сном, но скотина по дворам беспокоилась, петухи орали. И, подбегая к своей старой избе, Семен услышал в ней вопли. У порога стоял сухорукий Никон, в полушубке и без шапки, тощий и морщинистый, глядел тупо и растерянно.

— Беда у тебя, — сказал он, и по голосу его было слышно, что он еще не совсем проснулся.

Семен вбежал в избу. Бабы с криком метались в темноте, ища серников. Семен выхватил из-за образа коробочек, зажег каганец: люлька, повешенная возле печи, носилась из стороны в сторону, — бабы, задевали ее, бегая, — а в люльке лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.

Жил Семен с тех пор счастливо.

Капри. 1913

Забота*

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам и лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами — и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пуньюкою, дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь расставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: про-

давать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена, — только бы насыпать да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он, ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается — на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой, — старайся проскользнуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы разделенные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умча-

ла его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинные и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок, на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а меж ними — большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдальцей, Авдея — нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку в ее ящике, Авдей прибывает кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски — точно пустые. Подошел кобель и стал обню-

хивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.

— Полушубок вынеси да хлебушка завяжи, — сердито сказал он старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахотлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый Двор, его глубокий навоз, плетенные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной закутки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закутке, где взаперти сидел баран.

— Батюшка, мать спрашивает: огурчика положить? крикнула девка, заглядывая в во-

рога.

— А сама не знает? — строго откликнулся Авдей.

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, вьющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей щеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряс жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку, проходит мимо изб и пунек, то в тени, то на солнце, по-дорожному пахнувшая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрептуг с сеном, в передке, на старновке — связан-

ный, спокойный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахнущий донником дым, не спеша, по-дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» — думает Авдей.

По скатам мелкая речка разливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону, плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники-охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Ав-

дей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет. До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет, садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье бесприютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда — длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И зака-

ялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

— Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни, — сказал ему однажды молодой барин.

— У меня, слава богу, ничего такого не было, — ответил Авдей. — Вот семьдесят тысяч живу, а благодарю бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побирушке, хорошо говорить!» — всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и

мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска.

Капри. 24 января. 1913

Будни*

Казалось, что вечно будут стоять по горизонтам эти бледно-синеющие тучки, под которыми серели соломенные крыши, зеленели лозины и пестрели разноцветные клетки окрестных полей. Июньский день без солнца был особенно долог.

Попов сын, у которого гостил семинарист Случевский, возил с попом навоз. Ворота, возле длинной белой хаты, были открыты настежь. Две испачканных коричневой жижей телеги, две сытых лошади стояли среди взрытого двора на варке. Попов сын ворочал за троих: глубоко поддевал вилами горячие пласты и, подставив под вилы левое колено, вздирал их с сочным треском. Поп, черный, высокий человек, в одной рубахе, в розовых

подштанниках и мужицких сапогах с опустившимися голенищами, не отставал: бодро тряс по плечам синими волосами, запуская в навоз вилы, и крепко шлепал по возу дымящимися ломтями, перевертывая их. Выходили из ворот и отец и сын с потными лицами, но возбужденные, довольные предстоящим в пути на поле долгим отдыхом.

— Господин Шаляпин, присоединяйтесь-ка к нам! — весело крикнул поп семинаристу, идя за колесами, держа в руках веревочные вожжи и развевая на ходу легкие полы незастегнутого подрясника.

Семинарист, сидевший на крыльце, почувствовал в этой шутке фальшивую, корыстную ноту, однако не сдался.

— Да вот та-то и беда, что мечтаешь стать Шаляпиным, — отозвался он. — Запотеешь, охватит ветром — и готов. С голосом, отец Петр, нельзя шутить. А то бы я с величайшим удовольствием.

Семинарист, темноглазый юноша с широким, бледным и важным лицом, смотрел на удаляющиеся телеги, на серо-сиреневую дорогу и на потные, ржавые клоки, раскиданные

но ней. Прошел мимо дьячок, приостановился, пожаловался на свою судьбу и опять рассказал о своем покойном сыне. Огромные руки его, разбитые старостью и пьянством, лежали на костыле и все время ходили, шатали костыль. Огромные дегтярные сапоги глядели из-под коричневого подрясника. Серебряная медаль на красной ленточке украшала грудь. Лицо и крупный нос были розовы, мясисты, в рытвинах. Выпученные гноящиеся глаза, как всегда, плакали; темно-рыжие волосы, заплетенные в косу, жестко вились, как у старух-пьяниц. А говорил дьячок однотонно, с трудом выбивая каждый слог: каждый слог его дрожал, прыгал.

— Отцу Петру счастье! — говорил он. — У него помощник есть. А мой — лежит себе в могилке! Рос — восхищал всех. Бывало, похваляюсь им: «У меня не сын, а гений!» А все говорят: «Если выйдет в вас, Степаныч, лучше всякого гения будет». Вырос, — так, верите ли, хозяйственнее его во всем селе не было! Чахотка в последнем градусе, а и умер, не поддался. «Вы должны на днях умереть», — говорит фельдшер. — «Нет, говорит, не могу я, не сво-

живши рожь, умереть». Скосили мы, связали, сидит зарей на крыльце, смотрит на облака, а я ему и говорю: «Что это ты сидишь, смотришь?» А он и говорит: «Давайте, папаш, куда погодка, на двух подводах возить». — «Да бог с тобой, куда тебе возить! Я мужика хотел нанять». — «Не надо, не надо, сами управимся». — «Как же, говорю, управимся: ее, ржи одной, тридцать четыре копны». А он все свое... Так, верите ли, по двенадцать раз в день на поле летал! И отдыхать не отдыхал, — сядет в холодок, выпьет кваску и опять в телегу. Меня, и то уходил. Чуть свет, еще петухи не крикнут, а он уж подымает: «Вставайте, вставайте скорей, тучки заходят...» В три дня все кончили — и свезли, и обмолотили, и солому прибрали... Гонит меня за веялкой, взял я веялку у Данилкиных, обвеяли, подмели ток... Как последнее зерно в амбар — входит в избу и говорит: «Ну, вот теперь дело другое. Где, папаш, свечи? Зажигайте свечи». Зажгли свечи у образов, он лег на диван — и каюк!

«Недурно», — иронически думал семинарист, слушая. По уходе дьячка он взял тросточку, надел новенькую серую шляпу, наки-

нул на плечи серебристый дождевик и побрел по деревне. Выйдя на выгон, он посмотрел на церковь, бледно белевшую на туче, посмотрел на раскрытые окна казенной винной лавки; хотел было зайти поболтать к сидельцу, но раздумал и пошел по направлению к погосту. Сиделец был отравлен страстью к чтению. С утра до вечера лежал он на своей высокой двуспальной кровати, опершись на локти, и страница за страницей пожирал «Вокруг света». «Сейчас, сейчас, — торопливо бормотал он в ответ на приветствие. — Дайте только до точки дочитаться...» А беседуя с гостем, не слушал его, невпопад смеялся, ждал, когда гость уйдет. Поминутно отрываемый от книги то женой, то мужиками, он кидал на них растерянные, шальные взгляды. «Корове пора месить!» — злобно кричала жена, отворив дверь. «Еще четвертку поскорее!» — радостно орал мужик, заглядывая в раскрытое окно. А он не понимал, кто и куда его зовет. В голове его путались острова Тихого океана и прерии, Южный Крест и Гренландия, Бразилия и кафры, голландские колонисты и удавы, реки в тропических чащах и гиппопота-

мы... «И при чем тут Тихий океан?» — думал семинарист, шагая по безлюдной улице. Навстречу ему шел десятский, длинный, в красной рубахе, в разбитых сапогах, из которых один был связан по ступне веревкой. На плече его лежала одностволка.

— Куда это? — спросил семинарист.

— Грачей наказывать, — ответил десятский.

Десятский был человек знакомый: не раз приходил просить газет на сигарки. Полурасыпавшаяся изба его стояла на краю деревни, рядом с погостом. За избой пустовало гумно, без соломы и без риги, валялись, зарастая травой, однозубые вилы, перевернутый вверх дном тележный ящик с двумя новыми, желтыми ребрами, высохшая дегтярка... На лозине вниз головой висел дохлый цыпленок — путало, хотя отпугивать было некого и не от чего. Гордый своей отчужденностью от этого жалкого быта, своими мечтами о Москве и консерватории, семинарист вышел на погост, на бугор за деревней, небрежно откидывая голову, выставляя кадык, посвистывая, шурша серебристым плащом.

На погосте, среди репьев, татарок и могильных бугров бродила рыжая лошадь с палевой гривой. Помахивая жидким хвостом, она щипала мелкую, сухую траву. На большой свежей могиле, на холмике из сизой рассыпчатой глины, лежал, с головой накрывшись армяком, мужик. Смиренно, с опущенными хвостами, тихо переговариваясь, гуляли индюшки лавочника. Гуськом тянулись они к мужику — и вдруг все разом пускались бежать, а добежав, подпрыгивали, вклеывались в его армяк, в голову. Мужик вскакивал, запускал в них горстями глины: индюшки подпрыгивали, треща перьями... Сделав вид, что не замечает мужика, семинарист прошел мимо.

Над господскими могилами росли две березки. Когда-то их окружала деревянная ограда, за оградой стояла скамья «Буду приходить сюда, сидеть, вспоминать и грустить», — думал тот, кто делал все это. И ни разу не пришел. А деревня мало-помалу разломала, растаскала и ограду и скамью. Свиньи взрыли могильные бугры, телята обглодали стволы березок... С иронической улыбкой, посвисты-

вая, семинарист повернул назад. Поблизости от той могилы, на которой старался уснуть мужик, стоял гнилой голубец. Из него выпорхнула мухоловка. Семинарист подошел: в голубце, рядом с фольговой радужной иконкой, лежало круглое гнездышко. От скуки семинарист хотел вытащить его, рассмотреть, разобрать и бросить. Но мужик открыл глаза и пристально посмотрел из-под армяка.

— Отделались? — спросил он.

Вопрос был неожиданный. Семинарист обернулся и поднял брови.

— То есть как это? — сказал он.

— А так. Отучились?

Семинарист не спеша прошел к соседнему могильному бугру.

— А, ты вот про что! — сказал он, садясь и с притворной рассеянностью поглядывая вокруг. — Да, до осени отучился. А ты, кажется, не здешний?

— Я из Рассохина, — ответил мужик. — Из волости еду. Ехал и думаю, — дай, мол, лошадь маленько покормлю... А вы? Духовные?

— Да... Но, главным образом, пению учусь.

— Как пению? — спросил мужик, зевая. —

Хор, значит, будете задавать?

— Нет, брат, не хор, — сказал семинарист и оперся на трость. — Я на сцене буду петь. Да ты, впрочем, этого не поймешь... Я в театр готовлюсь.

Мужик усмехнулся.

— Ну, нет, это я даже очень хорошо могу понять, ответил он. — Ну, только это совсем никуда, совсем скверно. Это вы так много не наживете.

— Да что ты!

— Верное слово, — сказал мужик спокойно и уверенно. — Там вы добра не приобретете. Нет, вы уж лучше по церковному ступайте, по своему ремеслу, — кур да ситники с народа огребать. А в театре петь — это уж самое последнее дело.

— Да чем же последнее?

— А так, что последнее. Там чепуха одна идет. Вы лучше мое готовое слушайте, я уж плохого не скажу. Я не простой, я бывалый человек. Я от этих мужиков теперь отбился, я все лето прошлый год в Липецке прожил. Со всяким могу поговорить...

Скучно синело по горизонтам низкое об-

лачное небо, бледно зеленели хлеба на противоположном косогоре, — поневоле приходилось довольствоваться и такой беседой. Вынув плетеный портсигар, семинарист закурил папиросу, другую протянул мужику. Мужик осторожно взял.

— Вот это покорнейше благодарим, — сказал он, зажигая серник, и, пустив дым в ноздри, посмотрев на папиросу, отрывисто спросил:

— Асмолова?

Семинарист напомнил ему о театре.

— А вот слушайте, — сказал мужик. — Я этих театров нипочем не уважаю. Там, прямо надо говорить, черти живут. Раз куренье там есть, — значит, и водка есть. А уж где водка, там и баб не миновать... Нет, от этого вам надо подальше куда подаваться! Вот кто, к примеру, по монастырям живет, монахи, тем хорошо: гуляй, бесись — и вся недолга. Есть чистые борова, домовые! Цельную жизнь бражничают, весь век в том протекают! А в театрах, там водка, бабье, ну, конечно, и он тут же вертится. Уж где вино, там бесприменно он.

— Это ты про черта, что ли? — спросил се-

минарист.

— А то про кого же? Конечно, про него. Да и верно. Там, куда ни качнись, везде он. Я давно об этом понимаю. Что там хорошего? Я такой-то, и то туда не пойду. Тощавый человек туда и не показывайся — на тройк там не разыграешься. А ездят туда бабье это самое, разные бабы шальные, да купечество: долги свои заверстал — и вали... Я в этом Липецке всего нагяделся. Там в трех верстах сад есть, ну, вот туда и ездят все. Забирают с собой ветчину, колбасу копченую, наливки... Приедут и пируют цельный день. Старуха с дедом не успевают самовар кипятить...

Семинарист небрежно сказал:

— Ну, вот и видно, что ты ничего не понимаешь, несешь чепуху и все путаешь. То грех, а то — «на тройк не разыграешься...»

— Обязательно так! — твердо сказал мужик. — По капиталу глядя, конечно, можно, а таким-то, как мы с вами, голоштанным, зачем туда соваться?

Семинарист вздернул плечами.

— Черт знает что! — проговорил он, помолчав. — Несешь и с Дона и с моря.

— Нет, брат, — сказал мужик. — Умней меня во всем селе нету. Обойди всех, спроси: кто дельнее по хозяйству Назар Павлова Протасова? Со мной старики, и то советоваться приходят.

— А несешь чепуху?

— Какую-такую чепуху? Воспитанья на вас нету хорошего, вот и «чепуху»... Вон у нас сапожник есть... Первое дело, как выпил, сейчас за ребят: у него их целая война, человек двенадцать... Так они винтом от него, кто куда горазд! Ты не гляди, что он пьяный: так, брат, воспитал — по лычку ходят! А, конечно, теперь всем воля дана... Женщину, например, взять: от кого вся сумятица в государстве идет? Опять же от ней. Она теперь во все председания допущена большое количество, а куда она годится? Хоть им теперь тоже хорошее ученье пошло, ну, а все-таки мужчина-то немножко потверже будет!

— Черт знает что! — повторил семинарист, глядя на его густую чубарую бороду. — Что такое у тебя в голове творится? То сад, то театр, то женщины... Ну, скажи на милость, какое отношение может иметь этот дурацкий сад к

театру?

— А такое, — ответил мужик еще увереннее. — Такое, что без этого ему никуда податься нельзя.

— Кому ему?

— Запевале главному, вон кому. Он там, в саду-то в этом, вылупит стакан али два хороших и орет, альни ребра трещат... Он уж не может без этого.

— Да позволь: какой-такой запевала?

— Говорю же вам — главный запевала. Главач этих самых певцов. Натощак он никак не станет для них глотку рвать.

— И опять чепуха, — сказал семинарист. — Певцам и совсем нельзя пить. От этого голос портится.

Мужик ухмыльнулся, поднялся и сел.

— Ну, нет, не чепуха! — сказал он. — Не может от ней голос портиться. От ней голос не хуже, а много злей становится. Как же можно ровнять! От вина человеку все нипочем. Он прямо сам не свой, когда душу свою наспиртует. Вы попробуйте-ка ее, сивухи-то нашей. Она слепому глаза продерет.

Семинарист, махнув рукой, облокотился

на колени и стал осторожно давить концом трости красных козявок, парами ползавших возле его ног. Мужик что-то думал, глядя в землю.

— Нет, этот жребий ваш — жестокий, — сказал он с сожалением. — Жестокая ваша задача. Театры — это как все равно зверильница, или, скажем, цирульня простая... Как эти звери там режут, так я такой страсти прямо с отроду не видывал! Настоятель ходит, — как какой зритель захочет, чтоб зверь встал, он его сейчас железным прутком... Хочет не хочет, а обязательно подыметя.

— Здравствуйте! — сказал семинарист. — Еще к цирульня на сцену появилась. Она-то тут при чем?

— Так, там все есть... Только я этого, говорю, никак не уважаю. Раз там молитвенного нету, все эти театры, зверильницы, цирульши всякие надо запечатывать и скилеты все переломать... Вон у меня родственник есть. Из себя так, писаришка простой, а голос — прямо беда. Молодой еще человек, а пить страшный здоровый, любитель до вина. Залез недавно на крышу и зевает за все село. Это что ж, при-

лично?

— Но зачем же на крышу-то?

— А спроси его! Чума его знает зачем. С сестрой вот, это они, правда, хорошо поют. Его сестра в городе живет, на машинке работает. Она хочь чахоточная, а голос много складней, чем у него, хоть под кого подтянет. Как приедет к нему, сядут зарей возле избы и поют. И не что-нибудь, не мужицкие песни, а все «Накинув плащ» либо «Ах ты, воля, моя воля...». Хорошо выходит. Сулился этот писарь ко мне приехать, вот и вы приезжайте попеть с ними. Я и угостить могу всякого.

— Merci bien[4], — сказал семинарист. — Приехать не мешало бы. Ты поистине достоин изучения.

Мужик радостно улыбнулся.

— Ага! — сказал он, подмигивая.

И горячо заговорил:

— Ах, брат, кабы мне ученье-то, каких бы я корней наворочал! Да ведь откуда ее взять? Я вон в городе недавно был. Так там что исделали? Там земский музей исделали и скилет крокодилий привезли, а он, может, пятьсот либо тысячу стоит. Вот, похоже, куда наши де-

нежки-то идут, вот они мошенники-то, сукины дети! — сказал он с горечью. — А ты вот сиди тут... Да тут от одной скуки удавишься! Я уж на что бывалый человек, а и то не могу!

Скулы его порозовели, лицо приняло злое и грустное выражение. Не глядя на семинариста, он поднялся, надел армяк в рукава и, заскребая сапогами по земле, решительно пошел к лошади. «Чего он разозлился? — подумал семинарист, недоумевающе глядя ему вслед. — Вот нелепая и странная скотина!» Мужик, как бы угадав его мысли, обернулся.

— Чего вылупился? — сказал он зло и грубо. — Ай неправду говорю? Ты должен за учење благодарен быть, а не лупиться. Я с тобой задушевно, а ты — лупишься. Вот подойду, измордую тебя, в лучшем виде, — тогда судись со мной! Не посмотрю, брат, на твое духовенство, на пение!

Распутав лошадь, он кинул обрывок ей на шею и, подпрыгнув, упал животом на ее спину, перекинул ногу и бодро поехал среди могильных бугров на дорогу.

Ошеломленный таким неожиданным концом беседы, семинарист вспыхнул, переста-

вил трясущимися руками между колен трость.

Мужик повернул на деревню. Семинарист, посидев в оцепенении и успокоившись, пошел под гору, поднялся на косогор и свернул на какую-то высокую межу, осыпанную белым клевером и убегающую вдаль между двумя стенами серо-зеленой ржи, бледной вдали, под тучей. Мягкий, сладкий ветер дул навстречу, рожь слабо дымилась июньским цветом... Семинарист пожимал плечами и думал.

«Да-а. Без револьвера, собственно, и выходить бы не следовало».

Капри. 26 января. 1913

Личарда*

Когда после обедни все сгрудились к подножию амвона маленькой церкви, из купола ее почти отвесно падало на толпу бледное апрельское солнце. Потушенные свечи чадили, в толпе, разнообразно пахнувшей дыханием, волосами и одеждой, стало жарко. Каждому хотелось приложиться поскорее. Низкий и ладный, чернобородый, плешивый мужик, выделявшийся из толпы очень черной сермяжной поддевкой и очень белыми, толсто и аккуратно увязанными онучами, хотел пролезть прежде всех. Но священник, держа медный крест обеими руками, поднял его и смотрел куда-то через головы, а Агафья, чистая, строгая старушка из дворовых, схватила мужика за рукав. Он покраснел, рванул, что-то заговорил, блестя сердитыми глазами.

— И слушать не хочу, не пуцу не по чину, — ответила Агафья, оттаскивая его в сторону. — Я, брат, к этому глухая.

Мужик долго глядел на нее, и краска стыда, подавленного раздражения не сходила с его лица. Толпа расступилась, — и к кресту

осторожно приложился милостивый молодой человек с чрезвычайно нежным румянцем, напомаженный, в голубой короткой поддевочке и с дворянским картузом в руке. После него кинулись к священнику без толку, а тот стал совать крест кому попало. Чернобородый мужик приложился все-таки раньше многих и быстро вышел в боковую дверь, за оградой же, надевая шапку, кинулся бежать по сохнувшей дороге сзади барского сада.

Теплое солнце точно щурилось, улыбалось сквозь бледную апрельскую дымку в небе. В голом саду, за соломенным валом, пели дрозды, гудели пчелы, хотя кое-где, среди коричневой листвы, еще серел крепкий горбатый снежок. Агафья вышла из церкви на ту же дорогу, по которой пошел мужик, развязывая носовой платочек с меткой-короной. В платочке были куски просфоры. Она перекрестилась и на ходу стала есть, наклоняясь к ладони, боясь просыпать крошки.

Мужик ждал в конце вала, на пригретой весенней траве. Увидав Агафью, он сдвинул шапку с потного лба и, разбрасывая полы, направился прямо к ней. Агафья в страхе оста-

Новилась.

— Ты чему мою девку заучаешь? — спросил он, подходя. — Ты что барину ее подводишь? А?

Агафья хотела что-то ответить, но он сгреб ее за лицо всей пятерней, зажал рот, отламывая голову. Агафья, пытаясь вырваться и крикнуть, стала давиться, пускать слюни.

— Молчи, стерва! — крикнул мужик бешеным шепотом. — Кто ей вчера гостинцев надавал и водкой напоил? Можешь ты такие греховные дела затевать?

Разжав правую руку, он левой схватил ее за шиворот, за темный платок вместе с седыми волосами, нагнул, подставил под ее лицо коленку и крепко ударил об коленку носом. Ноги Агафьи подломились, но, пока она падала, он успел перегнуть ее назад и коротко ткнуть кулаком в зубы. Агафья повалилась, боясь даже плакать. Мужик вытер кулак об изнанку поддевки и, бледный от злобы, задыхаясь, быстро пошел назад. Агафья осталась лежать, слабо и уже притворно охая, сплевывая кровь на зеленую траву, по которой, тихо жужжа, ползали еще сонные пчелы.

Квартировала она у старосты. Староста жил на другом конце деревни, на выезде. Под голой лозинкой, бросающей чуть заметную тень, у порога кирпичной избы, глядевшей на ровный выгон, на большом камне, накрытом суровой скатертью, пили водку и закусывали ситником с творогом и сметаной двое копачей, окапывавших старостину усадьбу, и хозяйка его, Катерина, с дочерью девкой. Староста был в городе, и копачи, угощая Катерину водкой, говорили лишнее, хохотали. Девка, наруганная, в канареечном платье, стояла на пороге; она наелась раньше всех, но не хотела уходить и, тупо улыбаясь, хлопая белыми ресницами, слушала.

Вдруг все смолкли и подняли головы: из-за избы показался сосед, высокий белобрысый малый Гришка. Он вел Агафью, почти тащил ее, маленькую, со включенными волосами, и жмурил глаза от смеха.

— В целости и сохранности! — сказал он, опуская ее под стеной избы на сухую глину. — Сюда, что ль, квартирантку-то вашу определить?

— Да ба-атюшки, кто ж это нос-то ей рас-

шиб? протянула Катерина, раскрывая и оставляя открытым рот с творогом на языке.

Один из копачей, Демьян, низкорослый, кривоногий, с курчавой серой бородкой и широкоскулый, посмотрел на Агафью, со стоном легшую на глину, бодро играющими глазами.

— Знать, где воевала, — сказал он. — Где воевала, старуха, а?

— Вот тебе и досводничалась! — жалобно сказала Катерина. — Да кто ж это тебя, Петровна? Что ж молчишь?

Гришка, упершись руками в бока, подмигнул и качнул головой в сторону деревни.

— Карпуха Большаков, — прошептал он. — За дочь, верно.

— Значит, ей зеркало теперь надо, — сказал Демьян, рассеянно взглянув в зеленеющее поле, в серебристый блеск пригревающего солнца и на лозинку, на суке которой лежал его армяк. — Дашка! — крикнул он девке, стоявшей на пороге с радостно выпученными глазами. — Беги, соломки принеси, ей струшной умирать будя.

— Ступай скорей, — с притворной строгостью прибавил другой копач, Тит, гнутый,

широкоплечий, с волосатым ободранным носом. — Выпей за работу, — обратился он к Гришке.

Гришка осторожно взял с краями налитый стаканчик.

— Значительная старуха, — сказал он, жмурясь от смеха и вытягивая шею, приготавливаясь пить.

— Старушка дружелюбная, старая барская гнида, верная Личарда, — подтвердил Тит, разглядывая чуньки и просторные шерстяные чулки Агафьи. — Здорово земляных шмелей послухала!

— Самый разнесчастный человек! — весело прибавил Демьян. — Мы и ей сейчас поднесем... Верная Личарда, выпить хочешь? — крикнул он. — Забудь горе! Не ешь с Фомой, ешь со мной! Захмелеешь, песни зачнешь играть, танцевать пойдешь!

— Что ты ей спокую не даешь, не трожь ее, — сказала Катерина, из приличия нахмуриваясь. — Поднеси, правда. Ей полегчает.

Демьян пилил стаканчик, вынул из него толстым пальцем кусочек пробки и бережно понес Агафье, одергивая короткую рубаху на

широком заду и гусем ступая на своих крепких выгнутых ногах. Подойдя, он притопнул лаптями и затряс портки. Агафья приподнялась, взяла стакан дрожащей рукой, отпила немного, сморщилась, как от уксуса, и, отирая губы, отказалась:

— Нет, не неволь. Не могу.

— Допивай, допивай! — крикнул Демьян. — Никак нельзя! Агафья допила и, поправляя платок, сбитый на сторону, опять тихо заплакала, сморкаясь в подол. Дашка подала ей кусок ситника.

Гришка выпил еще, поблагодарил и ушел. Агафья не поднимала запухших глаз, плакала и ела, а Демьян бодро заговорил, вынимая изо рта трубку:

— Так-то вот и у нас была в селе такая-то Личарда, сводня, греховодница. Взяла и подвела нашему барину одну барышню из города, вроде как в управительницы. Барин у нас никуда, голова толкачом, голая, наденет круглые очки — чистый филин, а до женского пола первый любитель. Ну, конечно, и улестил ее, хотел, сказывали, увековечить ее, все именье под нее подписать. А барышня попалась

добродушная: развеселая, словоохотливая, так и распускает глаза на каждое слово. Что ей ни скажешь, на все дивится, радуется: «Да что ты? Да что ты?» Вроде дурочки.

— Видал я ее, — сказал Тит. — Часто, бывало, по селу хаживала, а не то по саду. Возьмет зонтик кружевной, подхватит белую юбочку, — наряжалась, правда, хорошо, и юбка вся в кружевцах, — и ходит по дворам, все, нет ли больных, спрашивает: «Я, говорит, жалостлива и сама из бедного быта...» А то по саду с книжкой ходит. Как заходит, сейчас в сад. Идет с книжкой, уткнется в нее, глаза вылупит и так и жжет, только листики перевертываются.

— Верно, верно, и до чтения охотница была, — сказал Демьян. — Только приезжает, значит, к барину гость, малый молодой, должно, из военных, а может, и служака какой... Человек капризный, тощий, а до баб тоже разбалован, зёл...

— Он самый и есть востряк, — сказал Тит.

— Да. Да и она уж, значит, до мужчин стала распущенная...

— Любила блудничать, — вставила Кате-

рина.

— Любила, — подтвердил Демьян. — Такой уж природе была. А может, и сам барин был стар по этому делу. Вынесут им, бывало, в сад под яблонку ковер, подушки, лежат и читают. Утром на станке на токарном точит всякую пустяковину, кровь себе полирует, после обеда — под яблонку. Она в одну сторону, он — в другую, так и блестит очками из травы, как змей. Покатается, покатается возле ней, да только и всего, только разбередит. А тут кста-ти помоложе подвернулся... Слухай да догадывайся! — весело и бодро сказал он, обращаясь к Агафье. — Дело до хорошего дойдет: «и ему отдалась до последнего дня...»

Он засмеялся, подморгивая, и продолжал:

— Прякрасно. Значит, запялась она с ним, со служакой с этим. Идешь мимо саду, глянешь — сидит на скамейке, плачет и платочком кружевным утирается... Потом, глядь, повеселела: махнула, значит, на свою судьбу рукой, на отчаянность пошла. Мы весь сад с ту лето окапывали и все это хорошо видели. Сходбища у них была в самой их заветной беседке. Беседка была прямо хоть круглый год

живи: столы, стулицы, чистота, пол под желтую одинарную краску, а по бокам черные каемки пропущены. Ну, вот они и повадились туда. Как вечер, как барин в поле, она сейчас проследует в сад, вроде как чтением заниматься, а это и есть самая встреча их. Он, как заяц, прокрадется через задний вал — и к ней... Ну, только и от него она часто в горьких слезах выходила. Капризен был! Иду раз мимо саду, вижу, стоит в своей куртке плетеной, слюнявит платок в руке, к мослаку прикладывает, а рука в крови, — бывает, упал, содрал на валу. Брюки синие в земле и в листу... «Здравствуйте, говорю, Чеслав Викентьич!» Запустил он меня матерком и залился в беседку...

Агафья, все выжимавшая из глаз слезы, вдруг зарыдала, поднялась и, шатаясь, пошла в избу. Дашка, сидевшая на пороге с широко раскрытыми глазами и раздвинутыми коленками, кинула на нее радостный взгляд, вскочила и тоже скрылась в сенцах.

— Горе, правда! — сказала Катерина. — Он ей весь нос размял.

Демьян быстро оглянулся.

— Не горе! — быстрым шепотом сказал он. — Это я ее разжег. Ведь барышню-то она подводила!

— Да что ты! — в один голос воскликнули хозяйка и Тит.

— Сейчас умереть! Ведь она из Голицына?

— Из Голицына, из Голицына, — подтвердила Катерина. — Говорит, к нам на спокой удалилась, дома дюже много врагов, завистников нажила.

— Как же, успокоится такая-то! — сказал Демьян. — Я давно об ней наслышан, ведь Голицыно-то от нас пять верст всего. Я ее сразу признал, только говорить не хотел — угодить сулилась...

— Они страшные хитрые черти, эти дворовые, — сказал Тит.

— И, значит, она самая и загубила эту самую барышню? — спросила Катерина.

— Говорю же тебе — она, — сказал Демьян. — Она и все дело это совостожила. Да ты погоди, что дальше-то будет! Повалялись они, говорю, в беседке в энтой, отделалась она, идет по дорожке, поет песню, а сама цветы рвет, хоть, правда, дюже глаза опять за-

плаканы. А барин-то и вот он. Бросил дрожки за садом и идет прямо к ней с плеткой. Она — туда, сюда, обмерла от страха да так и осталась на месте. Подходит он тут прямо к ней, скидывает с ней косынку кружевную с плеч, рвет, ногами топчет, скидывает брошку, рвет часы золотые на цепочке, зачал и их топтать, только стекла хрустят... Потом за нее принялся: дерет плеткой, и все по морде норовит... Избил, как надо, сшиб с ног не хуже старухи этой — и поскорее прочь, домой, чтобы, дескать, от греха уйти. Прибежал приказчик, кликнул нас, понесли мы ее в контору, а она — безо всяких чувств, лежит, как мертвая, в своем голубеньком платице, в кружевах, и вся лицо тоже вроде как голубая стала, альни нос блестит. Потом призывает барин кучера Никодима и кричит ему с крыльца: «Немедленно свезть ее и этого сукина сына на станцию, отыскать его немедленно, он небось в саду в лопухах хоронится. Брось их где-нибудь в страшную глубину, в пучину-яругу...» Ну, тем же вечером и оттащил ее в телеге на станцию.

— Ужли с любовником вместе? — спросила

Катерина.

— Куда тебе! — сказал Демьян, поднимаясь. — Его и след простыл. Ему-то что ж! Он своего добился, обломал ей сучья-ветья, да по-туда его и видели.

— Я эту историю тоже слышал, — сказал Тит, выскребывая куском хлеба остатки сметаны из чашки. — Я ее, говорю, сколько разов видал. Ее Лизаветой звали. Жидкая, праховая бабенка, а ничего все-таки, аккуратная. Я тогда у попа при молотилке служил. Рабочая пора, самый разгар, я сижу погоняю, а старостишкин сынишка, бедовый дьяволенок, все под привод, под лошадей лезет. Раз сказал, два сказал — нейметя. Я соскочил, поймал его да маленько за височки. Он в голос. Гляжу, бежит эта самая барышня, Лизавета, — по дороге возле гумна с собачкой гуляла, — прямо ко мне: «Как вы смеете, кричит, вас к уряднику надо. Надо с детьми гуманно обращаться...» Будь в другом месте, я бы ее кнутом шарахнул.

— Гуманно! — повторил Демьян и засмеялся, снимая с лозинки свой армяк.

Встал и Тит, перекрестился и, поклонив-

шись хозяйке, пошел вслед за Демьяном отдохнуть в ригу. Качая головой, Катерина стала собирать с камня чашки, хлеб, скатерть.

— Мамушка! — крикнула Дашка, выскакивая на порог. — Я боюсь! Она пьяная, на всю избу кричит, волосы с себя дерет...

Катерина, кинув скатерть, вошла в избу. Агафья сидела на лавке и раскачивалась с сильным воем, глядя, но ничего не видя кровавыми безумными глазами, без платка, с растерзанными седыми волосами, сизая от слез и от натуги.

— Господи, прости меня, окаянную! — сипло вскрикивала она, размахиваясь, широко крестясь и кланяясь двери. — Господи, разрази меня, старую дьяволицу, холопку лютую! Ненавижу вас, мужланы дикие! — завопила она, увидав Катерину. — Ненавижу!!

Не отвечая и улыбаясь, Катерина стала тереть хрен, чтобы привести ее в чувство.

Капри. 27 января. 1913

Последний день*

Все было кончено: свели проданную скотину, увезли проданные экипажи, сбрую, мебель, настезь распахнули ворота варков и сараев, двери амбаров и конюшен: везде было пусто, просторно, на дворе — хоть шаром покати.

Новый владелец, мещанин Ростовцев, известил, что будет вечером двадцатого апреля. В тот же день, в три часа, решил уехать и Воейков; семью он отправил в город еще двенадцатого.

Из работников осталось двое: солдат Петр и Сашка. Они валялись по лавкам в пустой кухне, курили и то со смехом, то с сожалением говорили о прожившемся барине. А он, одетый по-городскому, в коричневой пиджачной паре и уланском картузе с желтым околышем, держа в одной руке костыль, в другой табурет, ходил по дому. Как было светло в его нагих стенах! Растворяя двери из комнаты в комнату, он влезал на табурет и задираал сверху вниз засиженные мухами, отставшие от стен обои: с треском и шумом падали на пол

огромные куски их, с исподу покрытые известкой и сухим клейстером. В большой угловой комнате обои были синие с золотом. Они поблекли, выцвели, но много было на них темных овальных кружков, квадратов: эта комната всегда была увешана дагерротипами и мелкими старинными гравюрами, а в углу образами. Ободрать ее не удалось. Солнечный свет мягко проникал сквозь тонкие и тусклые, выгоревшие стекла четырех больших окон. Вспоминая детство, проведенное здесь, Воейков ударил костылем в одно окно, в другое... Стекла со звоном посыпались на гнилые подоконники, на желтые восьмиугольники разошедшегося паркета. В дыры потянуло мягким весенним ветром, стали видны серые кусты сирени.

Сев на табурет, Воейков решил додумать и последнее. Он сидел долго, сняв картуз, опустив широкую голову, причесанную на косо́й ряд по-старинному — справа налево, с косицами на виски. Снова и снова вспомнились деды, прадеды, жившие и умершие в этом доме, в этой усадьбе; вспомнились чуть не все имена борзых, прославивших воейковскую

охоту... Теперь захудалых, обезображенных голодом и старостью потомков их осталось всего шесть штук... Они скоро поколеют, конечно... Да, но не Гришке же Ростовцеву оставить их! Воейков поднял свое тяжелое смуглое лицо, все в желчных складках и морщинах, с черно-зелеными, крашеными усами. Темные глаза его блестели строго.

Надев картуз, стуча костылем, он вышел на крыльцо и крикнул через двор в кухню. На порог выскочил длинный Петр.

— Где собаки? — спросил Воейков.

Петр глянул в сенцы, по двору, в сад...

— Да все, кажись, дома.

— Ну, вот и отлично, — громко и твердо крикнул Воейков. — Всех удавить. Получишь по четвертаку за каждую.

И, закуривая толстую короткую папиросу в дорогом прокопченном мундштуке, сел на ступени крыльца. Петр скрылся в кухне, удивил и обрадовал Сашку, быстро сообщив ему о решении барина, нашел под лавкой веревку и снова вышел на порог, думая: с какой начать?

Три пегих собаки лежали среди двора, на

солнце. Две белых — в тени, возле сарая. Одна бежала от ельника по светлой аллее еще сквозного сада с голыми зацветающими яблонями, по розовой весенней земле. Все были стары, стара и эта — палевая сучка с черными ушами, с длинной сухой шерстью на тонких жилистых ногах. Петр посвистал и похлопал себя по коленке. Сучка направилась через двор прямо к нему, виляя густым загнутым хвостом, лизнула ему руку. Петр накинул ей на шею веревку и, заскребая сапогами, побежал по двору к саду. Схватив железную лопатку, забытую в углу сенец, коротконогий веселый Сашка побежал за ним.

Собака пошла сперва охотно. Но у ворот сада вдруг уперлась, взвилась и, завизжав, закувыркалась. Сашка на бегу поднял рогатый зелено-золотой яблоневый сук и несколько раз ударил ее по сухой спине, оставляя на рогульках лохмотья старой шерсти. Петр бежал, держа веревку через плечо и точно падая; собака, подскакивая, кидалась во все стороны, рвалась назад, приседая и отматывая себе голову. Спавшие борзые очнулись и стаей бросились катать ее.

— Отрыжь! — грозно гаркнул Воейков, вскочив с крыльца.

Сашка лопатой разогнал их. А на деснах сучки, яростно грызшей веревку, показалась кровь: давясь, она защемила язык. В боковой аллее из кустов акации Петр пошел тише: она внезапно изнемогла, перестала сопротивляться, похудела еще более, уже шаталась, путая задними ногами, и отставила опустившийся хвост. Когда Петр перекинул веревку через толстую ветвь раскидистого клена, засыхающего на перекрестке двух дорожек, и, быстро повернувшись к нему правым плечом, рванул ее вниз, собака, вздернутая на дыбы, судорожно скорчив передние лапы, сделала усилие удержаться на взрытой под кленом земле, но повисла, едва касаясь ее. Черно-лиловый язык ее высунулся, обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.

— Теперь молчи, не вякай, — сказал Петр, усвоивший себе манеру шутить сумрачно.

Сашка, напевая женским голосом, рыл яму среди голых кустов, покрытых бледно-зеле-

ными зернами почек. Вдали, на старых деревьях в низах сада, шумели грачи. Кругом пели скворцы, стрекотала сорока, солнце сушило слежавшуюся листву в корнях кустов, а Сашка твердо и с удовольствием наступал на блестящую лопату, легко уходившую в рыхлую синюю землю и резавшую надвое жирных малиновых червей. Подошел Андрей, стерегший свою кобылу в бесхозном саду, молодой опрятный мужик с деревни.

— За что так сказнили? — спросил он, улыбаясь.

— Значит, так приказано, — ответил Петр, все еще державший веревку через плечо. — На прощанье, значит. Всех велел к смерти предать. Чтоб никому не доставались.

— Горюет?

— Загорюешь! А ты, кажись, пристроился лошадь в саду кормить? Смотри, — к вечеру новый приедет. У того, брат, не покормишь.

— Я к вечеру сгоню, — сказал Андрей.

Он палкой приподнял под зад собаку, — собака очнулась, зарычала, вытягивая живот, — и продолжал рассеянно:

— А я тоже недавно собачонку удавил.

Пристреляла чья-то, живет неделю, другую, брехать не брешет... Я подумал, подумал, взял да и удавил.

— Собак что, и людей, какие позамечательнее, и то много казнят, — сказал Петр.

— А ты что ж, видал?

— Видеть я этого никак не мог. Никого не допускают: ближним даже и то нельзя. Мне солдаты рассказывали. Сделают с ночи висельницу, а на рассвете приведут этого самого злодея, палач мешок ему на голову наденет и подымет на резиновом канате. Доктор подойдет, глянет и сейчас говорит, удавился или нет... Тут же под висельницей и могила.

— Так без гробов и валят?

— А ты думал — под стекло?

— И так ни один алхитектор не найдет, — сказал, смеясь, из кустов Сашка.

Петр бросил веревку, — собака упала и осталась в сидячем положении, — и стал закуривать.

— А потом, значит, станок этот на иную место переносят? — спросил Андрей.

— Куда нужно, туда и переносят.

— А за что же их казнят?

— Понятно, не за хорошее. За всякие разновидности, за начальство, за разбой. Не буянь, не воруй...

— А палач-то этот самый, он, что ж, жалованье получает?

— А как же. И харчи и одежду дают отличную.

— Смотри, отдышит, — пошутил Андрей и пошел к лошади, трещавшей сушью в чаще старого вишенника.

— Небось, — сказал Петр и крикнул Сашке: — Готово, что ль?

Вместе с мраморными и желтыми, сухими и мокрыми листьями он потащил собаку к яме. Закидав яму землей, Сашка стал утаптывать ее, и влажная земля дышала под его сапогами.

— Ну, вечная память, — сказал он. — Нам жить-поживать, тебе гнить.

И, вскинув лопату на плечо, пошел за Петром к дому. Петр на дворе остановился и, держа веревку за спиной, манил к себе большого, уже сидящего кобеля Черкеса.

— С одной, Борис Борисыч, управились, закопали, — весело крикнул Сашка Воейкову,

все еще сидевшему на крыльце.

— Чего ржешь, болван? — строго осадил его Воейков. — Как так закопали? Кто вам приказывал закапывать? В ельнике, на елках повесить всех и так и оставить. Слышишь?

— Слушаю, — ответил Сашка и кинулся помогать Петру. — Ну, скорей, что ль! — крикнул он шепотом.

К трем часам покончили со всеми собаками. Теперь старая усадьба, тихая, безлюдная, дремлющая под лаской теплого апрельского солнца, была совершенно пуста. Возбужденные, утомившиеся работники шли по аллее и считали, сколько им приходится за работу.

— Ничего, отлично, — говорил Петр с сумрачной веселостью. — Полтора целковых. Будет нам на поминки полный обед с закуской.

Воейков, с обнаженной головой, стоял у крыльца, крестился и кланялся дому.

— Прощайте, — строго сказал он, оборачивая свое энергичное темное лицо к подошедшим. — Кончили?

— Кончили, — ответили работники в один голос, снимая картузы.

— Получите.

Принимая деньги, Сашка поцеловал его смуглую руку с истончившимся обручальным кольцом, Воейков, не меняя выражения лица, обнял его и поцеловал в губы. Кивнул Петру. На мгновение глаза его перекошились, подернулись мутью. Но, надев картуз, он стал еще строже и еще тверже сказал:

— Теперь можете идти. Я не велел Мирону заезжать за мной. Сам к нему зайду, от него и на станцию поеду. Я не телеги стыжусь, а просто... не желаю...

И пошел к воротам, не оборачиваясь. Сашка сбегал в лавку, и лавочник ржавым топором отрубил ему на пороге кусок мокрой соленой свинины. Петр поджидал его возле винной лавки, на выгоне, близ усадьбы. И, закусывая, они долго сидели на мелкой и яркой весенней траве. Вечер наступал розовый. Холодел воздух, и слышнее шумели, кричали грачи на старых деревьях в сыроватых низах сада. За сквозными верхушками их уже сияла небольшая ясная луна. А за рекой, в золотом чистом блеске, садилось солнце, — и в странно молчавшей усадьбе оранжево пламенели

стекла настежь растворенного мертвого дома.

Ростовцев, с приказчиком, на беговых дорожках, приехал поздно, когда деревня вся спала. В тишине чуть звенела гайка на его колесе, когда он шагом въезжал на бывший войковский двор. У крыльца он остановился и, с трудом слезая, передал вожжи назад, приказчику. Приказчик поехал к сараю отпрягать, а он, в чуйке и глубоком теплом картузе, разминая онемевшие от долгого сидения ноги, вошел в дом. Поклонился и он дому, снимая картуз и набожно роняя волосы на пороге полных мутного лунного света комнат. Всюду были завалены драными обоями полы в них. Проходя комнату за комнатой, внимательно и уже по-хозяйски строго вглядываясь во все углы, он отшвыривал шуршавшие куски сапогом и, качая головою, с искренней горечью бормотал: — Ах, мошенник! Ах, невежа!

В полусумраке казалось, что комнатам конца нет. Было жутко в обезображенной пустоте их, в этом остве разоренного чужого гнезда, столько лет жившего своей особой и для всех Ростовцевых загадочной, недоступной жизнью. Ростовцев повернул назад, вы-

шел, горбясь и хмурясь, на крыльцо и, волнуемый нетерпением поскорее осмотреть все, теперь свое, собственное, пошел в сад, взглянул на цвет яблонь: очень он надеялся на сад в этом году. Но при розовой луне даже зоркие глаза Ростовцева не могли отличить мелкого бело-розового цвета от нагих сучьев и почек. Он постоял, потянул носом, надеясь взять обонянием. Цветом пахло, но слабо. Сильней пахло холодной влажной землей, свежестью молодой травы. В глубокой тишине четко и осторожно отдавалось по саду чоканье соловья, пробующего в низах голоса. Ночь была нежная, светлая, лунная, чуть туманная. Далеко сквозил сад — и, повернувшись к ельнику, Ростовцев вдруг почувствовал, как у него зашевелились под картузом волосы: на сумрачной чаще высоких густых елей стояло пять длинных бледно-голубых привидений. Вне себя от страха, он двинулся на них... А через минуту уже шел назад и бормотал с еще большей горечью:

— Ах, мошенник! Ах, невежа!

— Думал в доме лечь, — нарочно громко, на весь двор, сказал он, выходя на середину

двора. — Да ну их к черту. Там жить, безобразие. Все ободрал, старый дурак, собак всех повешал... Пойдем в избу, авось наше дело не барское.

— Корусть не велика, — громко и весело ответил приказчик, подходя к нему. — Уж чего, чего, а собак-то наживем... С новосельем вас, Григорий Кискентинич! — сказал он, снимая картуз.

— Ну, будя, будя! — притворно сердито ответил Ростовцев. — Пойдем-ка спать...

Бросая на росистую траву две тени, они пошли в кухню. Там, на лавке, при лунном свете, они закусили колбасой и белым хлебом, отрывисто переговариваясь, и легли голова к голове на лавке возле окон, положив вместо подушек свернутые чуйки. Нужно было встать пораньше, чтобы встретить подводы из города и начать приводить усадьбу в порядок.

Но от нетерпения ночь казалась Ростовцеву бесконечной. Он просыпался и с тоской видел розовый лунный свет все на том же месте — на своих голенищах. А засыпая, вздрагивал: стеной вставала перед ним черно-зеле-

ная чаща ельника, а на ней, в ее строгом сумраке, — висящие собаки. Он повертывался с боку на бок и сердито ухмылялся своему малодушию.

Капри. 1 февраля. 1913

Всходы новые*

В усадьбе праздник — весна.

Днем жарко, весело, в голубом небе круглятся белые облака. Припекает облупившуюся железную крышу дома, мохнатые бревенчатые стены его, черные стекла окон. В слуховом окне, против солнца, воркуют голуби. На сохнущем и рассыпающемся фундаменте, на сирени палисадника липнет много крупных мух. Караковый жеребец князя стоит в пустой поварской, в длинной черной избе крепостных времен. Он беспокоится, не ест овса, насыпанного в лоток на лавке. Просунув голову в окно без рамы, он глядит на широкий зазеленевший двор и жалобно-страстно ржет.

Князь понемногу приходит в себя после долгой зимы. И эту зиму запивал он — все от одиночества, как говорят все; когда бывал

трезв, ходил на охоту, играл в карты у лавочника, сидел в людской с работниками, случилось, и обедал с ними, а не то читал в своем теплом кабинете и часов в шесть ложился спать. Теперь он выходит из дому чаще, отдает распоряжения. Бесстрастно восточное лицо его с большими седеющими усами.

Князь вспомнил, что пора чистить, подметать сад: уж таков спокон веку обычай. И приказывает старосте пригнать девок-поденщиц. Девки весь день поют, сгребая листву по аллеям, по дорожкам; их красные и желтые сарафаны мелькают в голом, нежно зеленеющем саду. В доме растворены двери на крыльцо, раскрасневшаяся баба с подоткнутым подолом и коленками цвета моркови яростно моет полы в зале; в рамах, с треском выдираемых другой бабой, сверкают на солнце стекла и зеркальными зайчиками озаряют потолки. Льет теплый, солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени возле дома... Князь, в одной косоворотке, в плисовых вытертых шароварах и дегтярных сапогах, ходит с работниками по осеке за сараем, выставляет из омшаника колодки, полные сердитого и певу-

чего жужжания.

В воскресенье на Фоминой, как опять-таки ведется спокон веку, молятся в поле, на ози-
мях. Молится все село, заказывает молебен и
платит из своих скудных средств — князь.

Ночь накануне холодная и лунная. Дев-
ки-поденщицы сидят на крыльце людской,
вполголоса поют и оговаривают друг друга:
грех, завтра праздник большой. Они живут в
саду, в бане, но нынче баню топили, князь ку-
пается. Когда он, накинув на плечи тулуп,
проходит туда в лунном свете по двору, они
бегут в светлый сад, под окна бани и, давась
тем особенным таинственным смехом, кото-
рым смеются женщины весной, в лунные но-
чи, заглядывают, швыряют в стекла сучками.
Князь с медлительной усмешкой стучит кула-
ком в стену. Купается и кучер князя, Николай,
в той избе, где стоит жеребец: приносит туда
два ведра, ставит на лавку зажженный ога-
рок. Девки подбегают под окно без рамы,
швыряют и в него. Косится на них, шуршит
мокрой соломой, накиданной на полу, упруго
перебирает ногами обеспокоенный огнем же-
ребец, а Николай сидит на соломе и намыли-

вает голову. Услыхав смех под окном, он вскакивает и, с серьезным лицом, с седой от мыла головой, начинает плясать, потрепывать себя по голым мокрым ляжкам.

Утро теплое, солнечное. Приятно, когда звонят колокола в такое утро, приятно наряжаться под этот звон. Мягче кудрявятся белые облака над садом, млеет яркая синева между ними; со двора видно, как в полях, над зелеными и лиловеющими пашнями, бегут, струятся испарения.

— Дождь будет, парит, — сказал староста, обходя с овечьими ножницами в руке поставленный возле людской продранный стул, на который покорно, заранее вытянув и согнув шею, покрытый по плечам полотенцем, сел Николай в распоясанной рубаше,

Николай, пока подрубали на затылке его сухие рыжие волосы, все гляделся в зеленый осколок копейного зеркала. Падают желтые клоки на полотенце, голова Николая становится меньше, уши отстают и торчат. Взяв у старосты ножницы, он подстриг и усы: стал длиннее его лебединый конопатый нос. Потом он нарядился: надел синюю атласную ру-

баху с рукавчиками, с тремя крупными белыми пуговицами на высоком вороте, отделанном каемкой кружев; подпоясался малиновым шелковым жгутом с махрами; вбил ноги в тесные сапоги с лакированными узкими голенищами. Рубашка коротка, ноги Николая, обтянутые кавалерийскими штанами, слишком топки, сам он худ и сутул, глаза у него маленькие, зеленые.

В доме сумрачно. Теплый воздух, льющийся в открытые окна, не скоро нагреет его. Все промерзло за зиму, с потолка в зале огромным животом висит отставшая, в коричневых подтеках, бумага. Морозы, время портят и зеркала, сделали их молочно-серебристыми. Расставив ноги, глядя на мутное отражение своего морщинистого лица, князь долго скоблил щеки тупой бритвой. Пора, пора бросать настаивать водку лимонными корками! Соли в черных усах все прибавляется, редуют волосы... Намочив и причесав их, князь надел поверх пестренькой косоворотки новую синюю поддевку, надел дворянский картуз и, с ременным кнутом в руке, вышел на крыльцо, возле которого сидел на беговых дрожках и

держал жеребца Николай, на оттопыренных ушах которого осталось после стрижки много мелких волос.

Обедня отошла, на колокольне жидко и празднично звонят; разрозненная, разноцветная толпа течет по выгону в поле. Пять человек без шапок, в новых калошах и поддевках черного блестящего сукна, подпоясанных красными подпоясками, несут хоругви и крест, увитый белым рушником. Две не в меру набеленных девки в ярко-зеленых платьях — икону божьей матери.

Когда толпа была уже за дубовым кустарником, в поле, где дул теплый ветер и пели жаворонки, от церкви отъехала плетеная тележка, запряженная серым мерином в яблоках. Поп, человек чахоточный, ехал в толстой чуйке, в зимней шапке, в глубоких ботиках. На козлах сидело двое: правивший мерином дьячок и сын попа, Вася, спившийся с кругу дурачок, вечно блаженно-радостный. Он в церкви подтягивал дьячку дискантом, службы знал лучше всего причта, но отец часто выгонял его из алтаря за нетрезвость, не хотел нынче брать с собою. Однако Вася, еще с

раннего утра расчистив свои сбитые сапоги, надев продранный под мышкой пиджак, грязно-синий воротничок и розовый атласный галстук, так плакал, узнав, что его оставляют дома, что поп сдался.

Князь обогнал попа и кивнул ему.

— С праздником, ваше сиятельство, с молебствием! — радостно вспыхнув, крикнул Вася, больше всего на свете любивший праздники, дни ангела, поздравления.

С правой стороны тележки, равняясь с ходом лошади, не отставая и не забегая, шла старуха Марфа, добровольная прислужница при церкви, высокая, сухая, с ореховой палкой в одной руке и медным кофейником, из которого торчало кропило, в другой. Дьячок иногда подгонял лошадь и, смеясь, оглядывался на Марфу. Она ускоряла шаг, сердилась, но молчала.

Молились на клину богатого мужика Данилы. Там, возле дороги, на молодых светло-зеленых всходах, приготовили стол под суровой чистой скатертью, красную деревянную миску с зерном и пук свечей в хлопчатой бумаге. На юго-востоке, за серым княжеским

садом и прозрачно-лимонными лозинами села, облака, мягко синяя, порою смазывались в тучку. Поглядывая то на них, то на приближающуюся тележку, выдвинувшись из пахнувшей кумачом толпы, стоял сам Данила, белокурый старик. Раскорячиваясь, далеко относя руку для крестного знамения и кланяясь, он пошел навстречу попу, — и мягкий ветерок, дувший с полей запахом сырой земли, шевелил его волосы. Тележка остановилась, но поп продолжал сидеть в ней, поджидая обогнавшего его и опять отставшего князя.

Князь сдержал лошадь от волнения, охватившего его в поле. Озими, свежо зеленея, шли в одну сторону, дубовый кустарник — в другую. Сухая коричневая листва висела кое-где на нем, но и это говорило о весне. Синели подснежники, пахло залежавшимся в чаще снегом, весенним холодком. Тройка ореховых лошадей, разукрашенных дорогой сбруей, стояла на опушке. Полулежа в новом тарантасе, кудрявый кучер богатой соседки ел с ладони просфору. И князю вспомнилась молодость, другая, далекая весна...

Впереди медленно двигалась телега, в ко-

торой лежал больной мужик, отец Николая. Малорослой лошадью неумело правила мать его, скорбная жилистая старуха в черной по-неве.

— Жив? — окликнул князь.

Из телеги, из соломы торчал острый восковой нос под глубоко надвинутой шапкой. Больной в просторном полушубке лежал на спине. Сияясь улыбнуться, он с трудом потянулся тонкой рукой к шапке. Николай поклонился родителям, как чужой, стыдясь их бедности, убогости. А бесстрастные глаза князя стали как будто еще бесстрастнее.

В толпе его нетерпеливо поджидали.

Марфа давно стояла наготове возле стола. Обогнав тележку, она подошла к молодой беременной бабе Данилы и передала ей свою ореховую палку. Кофейник она поставила на стол, бархатный лиловый требник, лежавший на нем, подвинула на край. Как только поп занес ногу вон из тележки, скинув чуйку, Марфа ловко подхватила ее и, подхватывая, чмокнула его холодную, дряблую и тяжелую руку.

Поп быстро прошел к столу, поклонился

той богатой барышне, полной, косою и застенчивой девушке, чья тройка стояла на опушке дубняка. Он был выше всех, издали была видна его голова, поднятое землистое лицо, сквозная бородка и серая шея. Несколько раз обернулся он, поджидая князя. Князь подъехал. Тогда мельком, но молитвенно глянув вверх, на высокие весенние облака, он вздохнул, вынул из длинного разреза ватной рясы красный платок, вытер большой глянцевиный лоб, — Марфа уж подхватила его шапку, — надел потертую золотую ризу, надел золотые очки — и, став строгим, зажег пучок свечей, веселый, дрожащий блеск которых сотнями точек отразился в стеклах очков. Низко поклонившись князю, стоявшему возле стола и твердо отставившему левую ногу, он выправил жидкие волосы из-за стоячего ворота ризы, откинув голову, наполовину прикрыв тусклые глаза воспаленными раковинами век, и невнятным, теряющимся в теплом полевом воздухе голосом начал молебн... И князю опять стало жаль себя и радостно за эту вечно юную землю, просящую небо снизойти на нее благодатною весенней вла-

гой.

Он переменял ноги, выставил вперед правую, сделал мутные глаза. Чтобы не думать, он стал слушать мирный, успокаивающий и молящий голос, порою сливавшийся в пении с голосами дьячка и Васи.

Толпа кланялась и крестилась, крепко прижимая пальцы ко лбу. Полная косая девушка робко поглядывала на князя. Данилова баба, вся в розовом, то бессмысленно пучила глаза, то начинала быстро, испуганно креститься. В ногах ее, подпирая намасленной расчесанной головой ее круглый живот, стоял мальчик в плисовых штаниках и козловых сапожках, под мышку подпоясанный по голубенькой рубашечке. Когда запели всем при этом, она, поспешно крестясь, надавила ему на голову левой рукой, поставила его на колени. Затем с трудом опустилась и сама, раскинув по молодой зелени ржи нижнюю белую юбку с кружевами и припадая к ней лбом. Мальчик замолился неестественно набожно, косясь на сапоги князя.

Дул ветерок, шевелил волосы, шли легкие облака, шли по зеленым полям тени от

них, — далеко было видно в весеннем прозрачном воздухе. Дрожали, бежали огоньки свечей, беззаботно-радостное пение жаворонков не мешалось с пением причта, но как-то хорошо дополняло его... Даруй, боже, земле радость новую, новые всходы, — говорили слова молитв, пропадающих в теплом воздухе. — Благослови ее новой жизнью, да в забвении истлеет в ней семи старой, из коего и родится она, юная и чистая... Потом запели о воскресении Христа из мертвых. Глаза князя налились слезами — и он уже ничего не видел перед собою до конца молебна.

Когда он, склонив голову, поцеловал холодный, пахнувший медью крест и мертвую руку священника, солнце нашло за серо-золотистое, томное внутри облако, и на юге обозначилась синяя тучка с туманными полосами дождя.

— Поздравляю вас с праздником, ваше сиятельство, с благодатью господней, — сказал священник, кланяясь так низко, что далеко отстала от груди епитрахиль.

Князь поехал назад, разминувшись с тройкой, с мягким громыханьем бубенчиков

плывшей навстречу ему. Солнце зашло за облако — и все краски дальних, ясно видных полей стали гуще, бархатней. Слышнее стало гудение пчел пи лозинах при въезде в село, потянуло свежестью, зеленью распускающихся берез. Синеватая тучка па юге поблескивала небольшими молниями... Потом солнце опять выглянуло, молодо и радостно озаряя все, с неба с сухим шорохом посыпались редкие алмазы.

У церковной ограды князь снял картуз и перекрестился на ветхую часовню над старинным княжеским склоном, вспомнив, как однажды спускался туда в молодости, тоже весною — через полгода после смерти отца... Полгода — велик ли срок! А уже ничего, ничего не осталось к той счастливой весне от старого грешного князя, кроме костей в тяжелом гробу и крупной росы на его поверхности.

Чтобы не запить, князь чем свет ушел на другой день со стариком Панкратом в Задонск. Яровое рассевали без него.

Капри. 2 февраля. 1913

Копье господне*

Красное море встречает нас дурными знаменениями.

Вчера на закате дул хамсин. Слева, в пыльной, красной мгле, садилось болезненно и тускло блестящее солнце. Справа эта мгла была сумрачнее. Там темнели очертания Джеббель-Таира. И оттуда, со стороны Аравии, горячий ветер гнал двух птиц. Они неслись боком, низко над водою. Перья их были измяты и взъерошены. Неожиданно наткнувшись на спасение, на наш грузовик, они взмыли к верхушке фокса, на тугую струну штага, соединяющего фокс с гротом. Уцепившись, они крепко встряхнулись, приводя себя в порядок, и застыли.

Мы с мостика долго разглядывали их. Таиться нечего, — всем стало не по себе: это были два старых аравийских стервятника, два «вестника смерти» и всяческих бед. А ведь мы прямехонько идем на смерть: по всему побережью Аравии, в Суэце, в Порт-Саиде — чума и холера; в Джибутти, где мы стояли сутки и общались с берегом, умирает по сто, по две-

сти человек в день. А нервы у нас никуда, — устали мы ужасно. Переход в Японию был трудный, бурный. Не давши нам и недели отдыха, погнали нас назад, в Китай, оттуда — в Сингапур. Там мы без дела простояли месяц, изнуряемые жарой, лихорадочной влажностью... Индийский океан в марте, конечно, отдых, но ведь впереди было это проклятое Аравийское море и чума. А народ моряки чувствительный. Что же до веры в приметы, в предзнаменования, то плавающие в северных и тропических морях хуже всякого араба...

Вечером без охоты поиграли в шашки. Старший механик вспомнил покойного командира «Японии»: это было тоже во время чумы и тоже в Красном море, командир захворал, — может быть, и впрямь захворал, заразившись в Массиве, где он съезжал на берег, — а захворав, поспешил принять датуры, оставив записку, что у него жар и опухоли под мышками... «Тело его было предано Красному морю...»

От песку, от горячего ветра закрыли люминаторы. Это печь с закрытой заслонкой! Свободные от вахт рано разошлись спать, — один

пьяница Франц старчески ворчал и гремел в буфете, швыряя посуду. Но какой сон при хамсине! Тело ноет, сердце замирает. Поминутно, весь в поту, просыпаешься, куришь, снова задремываешь... Никогда не кажется так мала каюта! Лежа в темноте, слушая ровный плеск воды, бегущей назад, мимо, все думаешь о том древнем, мистическом, чем отравляет нас Восток — тропики, Индия, Китай... а в этом мгlistом море — Аравия. Какая загадочная, доныне неведомая нам, ветхозаветная страна — эти пустыни, до шлака сожженные ветхозаветным богом! Что там, в гористой, вечно мреющей миражами глубине ее?

Окраины мы знаем: жара, грязь и вечная холера в портах; дальше — пески и камни; где-нибудь на голой волнистой равнине их — страшный в своей доисторической неуклюжести верблюд, стоящий всегда одиноко, неприютно, далеко от той чахлой пальмы и грязного колодца, возле которого — большой жаркий шатер из черного войлока, слабо сияющий на солнце дымок костра, свирепая собака, полусонная от зноя старуха, полуголые дети в паршах, котелок, измазанный тестом

дурры, невесть откуда занесенная керосиновая жестянка с теплой водой... А там — опять то бархатные, то усеянные мелким, острым камнем пески. Там начинаются те заповедные, вечно засыпаемые песком пути из Сирии, Персии и Средней Азии к Мекке, Ятрибу, что издревле отмечают своими костями святые хаджи, гибнущие, во имя господа, от жажды, ураганов, зноя и, уж конечно, от холеры и чумы — «Раны от Копья», как называют ее арабы. Вот за такими-то караванами и следуют они, эти стервятники.

Их зловеющая близость чувствовалась всю ночь. Я выходил на палубу: горизонты мгlistы, луна туманно-розова, ночь суха, горяча — точно и не в море. Высоко, возле клотика фока — два темных комка... Где они вывелись, где скитались? Сколько раз отбивались от смерти, от таких же хищников, как и они сами, сколько раз рвали падаль, трупы и погибали от хамсина? «Господь есть бог ревнитель и мститель» — так и доньне верует пламенная страна их. — «Перед лицом его идет язва, а по стопам его — жгучий ветер...» И жгучий ветер с песком дул в каюту всю

НОЧЬ...

К рассвету хамсин пронесло. В шесть утра над каютами начинается топот босых ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнулся сразу. Как всегда, ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до головокружения душно было в каюте — и так отраден этот свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять окунулся в холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта хрустальная вода — истинное наслаждение. Самому приятно чувствовать холодок своей руки, которойжимаешь сухую, горячую руку того, кого сменяешь на мостике. Там уже пекло. Я взял бинокль и навел его на птиц. Великолепны эти аравитяне! Сквозь стекла еще прозрачнее кажется прозрачный, сияющий среди ясного неба воздух. Четко, крупно видны блестящий на солнце бок мачты, витой стеньг-штаг и ястреба, в огромном пространстве висящие на нем: их желтоватое жесткое оперение, круглые совиные головы, покрытые редким

младенческим пухом, прищуренные кошачьи глаза, короткие, крепко загнутые клювы и лимонные лапы. Оба ястреба очень велики и очень худы. И это особенно заметно тогда, когда какой-нибудь из них затрепыхается, взъерошивая перья, и плевком пустит на палубу известковый помет.

Фельдшер вышел перед завтраком на горячую палубу и стал стрелять в них из бульдога. Все окружили его, закинув назад головы. Всякому казалось, что, стреляя он, не было бы этого бесплодного треска. Вдруг один ястреб подпрыгнул и комом полетел с высоты наискось. Мелькнув своей рыжей желтизной, своими изломанными перьями в густо-синей и тяжелой, как масло, волне, он исчез под бортом. Другой испустил жалкий и злобный крик, взмахнул крыльями и опять, еще туже сжавшись, замер. Пули с визгом летели мимо него — он только втягивал в себя голову. Куда ему было деваться? В море, окружавшем его, не было ни единого камня. Ему оставалось одно — ждать, пока выйдут все пули. И наконец они вышли. Мы наводили на него бинокли, он во все глаза глядел на нас. Зол он, должно

быть, невероятно: голоден так, как может быть только стервятник! Вечная брань со всем живущим и вечное выслеживание жертв или подали... Жесток и к нему господь, определивший ему быть вестником черного Копья своего!

И целый день не выходила у меня из головы мысль о крысе, которая, может быть, уже сеет смерть, чумая в темноте наших трюмов.

Этот желтый флаг смерти, под которым мы теперь плывем, — желтый санитарный флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, — твердо напоминает: будь всегда готов к ней, — она и над тобой, и впереди, и вокруг, вот за этой водою, на жарких песчаных берегах, среди той нищеты и грязи, которой живет почти все человечество: Копье господне вечно поднято!

Матросы, те подтягиваются при вести о малейшей опасности. И у нас теперь чистота необыкновенная. Очень рано стали мы готовиться к одесскому порту в этот рейс — чиститься, краситься. Несколько дней не смолкал ладный, дробный стук молотков: с палуб, с мачт, с бортов, с труб обивали старую, по-

трескавшуюся краску, а на ее место клали свежую, блестящую, спиртуозно пахучую. И теперь нельзя было насмотреться на густую синеву за бортами, великолепно подчеркнутую яркой киноварью нашей железной палубы и золотой охрой труб. В небе, знойном и светоносном, весь день нынче не было ни единого облачка, ровно тянул навстречу легкий бриз. На баке иные из подвахтенных спят, иные болтают и курят. На носу разноцветными пятнами сохнет развешанное на веревках белье. На юте сладко щебечут те канарейки и те розовые тупички, которых возьмем мы из тропиков на север... И только там, возле клотика фока, на блестящей в воздухе струне, в упор освещенный опускающимся солнцем, зловеще желтеет враг всяческой жизни...

Франц, больной с похмелья, лениво таскал свои разбитые ноги по палубе, яростно тряся колокольчиком.

— Memento mori![5] — сказал командир, когда мы сошлись на этот призыв в кают-компанию, к обеденному столу, и кивнул на люминатор, в который был виден фок: — Сидит,

будь он проклят!

За обедом много пили. Солнце закатилось, и была уже ночь, разгорался лунный свет вокруг кают-компаний, освещенной электричеством. Шел оживленный разговор — как всегда, толковали об окладах, о начальстве, кляли свою службу, тешили себя мечтами найти береговую. По кают-компаниям веял бриз. Но он был слишком тепел, тело изнемогало от пота. Даже свет электричества казался знойным.

— На два румба справа встреча, — доложил вестовой с порога.

Встречи — наша единственная радость, и все встали, пошли на палубу. Давно ждем «Меркурия» — не он ли? Но нет: слишком низко и далеко друг от друга висели за темной зыбкой равниной, уходящей к востоку, к Аравии, два далеких топовых огня... И, швыряя окурки, красными полосками мелькавшие за бортом, глядя на фок, на гладкий ствол его, прорезавший звездное небо, и на бессонную птицу, висящую на штанге, мы разбрелись по палубе...

Ночь, опять ночь. Идешь — бриз мягко ду-

ет в спину, тело под легкой одеждой наслаждается им. Из трубы клубится темный вал дыма, луна, как зеркало, мелькает в нем, по палубе бежит, волнуется широкая тень его, под ногами хрустит угольная пыль. Обдает теплом, запахом разогретого машинного масла и стали, дальше — опять ласковым ветром и чем-то раздражающим, приторным: это густо,пряно, как все в тропиках, пахнет из трюмов копра, кокосовые очески; этот запах вечно будет томить, напоминать пахучие гавани, теплую зеленоватую воду, первобытные челноки голых шоколадных людей, густые чащи высоких тонких пальм, склоненных с берегов, благовонные кумирни в вечно цветущих лесах... Волна за волной несется мимо борта, обгоняя тебя. Минуешь двери освещенных кают, — фельдшер и повар на порогах и вторят друг другу на звенящих мандолинах, — проходишь на корму и останавливаешься у штурвала, над кипящей водой...

Однообразно шумит она, выбиваемая винтом из-под кормы, вырывается из-под нее тугими клубами, снежным фосфором, и убегает в океан бледно белеющей прямой дорогой.

Равнина моря к востоку тяжела, темно-лилова, в небосклоне над нею — белые звезды широко и низко раскинутой Большой Медведицы, родной с детства. Под луной — бесконечная сияющая гладь, осыпанная несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая, тропическая луна, как легки и светлы горизонты! Драгоценными самоцветами играют над горизонтом юго-западным, особенно легким и светлым, Канопус и Сириус. Ниже, в прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного Южного Креста, каждую ночь выходящего из недр тех неведомых южных вод, которым нет предела до самого полюса...

Вот с бака раздается два коротких удара в колокол — восьмичасовая склянка. В них — поэзия старой морской жизни, безграничных водных пространств, ночи за тысячи миль от земли. Они быстро тонут в великой тишине моря и неба, после них воцаряется еще более глубокое молчание, вода шумит еще однообразнее...

Вот опять среди темной равнины к востоку — медленно идущие огни встречного паро-

хода. Мелькает и гаснет, мелькает, мелькает и гаснет огонек на нем: беззвучно, этими слабыми и бледными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна...

У нас на вахте третий помощник, он и сигнализирует. Человек он недалекий, тропики умеет сравнивать только с баней, всех цветных называет эфиопцами, на стенах его каюты — копеечные японские веера, открытки, подчасник турецкой туфелькой, на столе — карточка жалкой и некрасивой мещаночки... Но да сохранит бог-ревнитель и его счастье!

Капри. 10 февраля. 1913

Иоанн Рыдалец*

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь, однако, и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем,

что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок — все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на

солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желания, с притворным наслаждением крякая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное, ни вечернее — в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко — не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост — голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугу-

ных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся, на одной — имя князя и вельможи, а на другой — раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой конечной примирился с богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод, неряшен миру он казался» — говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и

вопить, как страусы!»

То, что едут в экспрессе на воды, знают о князе — из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал и чуден был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», — сказал князь — и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». — «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» — «А по старому году, сударь, по старому году!» — сказал князь — и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое приказание — дать полсотни розог Ивану, с плачем и

лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послушаться отца. Встал он на ране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, по-

повская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». — «А за образами», говорит попов работник. (По нашей местности всегда так какую записочку, поминовение — все туда кладут, а допреж и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидел на горе храм божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал — глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню везть, думали — бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как Штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать, чей-то пеший след про-

бит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу; вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой — боле трех сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» — и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал — и объявился странным, пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жилистый, ходил в одной длинной рубахе из веретя, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке — железный лом и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со всклооченными волосами, он гонялся за людьми, — и люди, крестясь, бежали от него. Был он по-

ражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, — конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя Штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю преждеостоко пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню.

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое быль скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он когда ему, больному и ис-

сохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твердо сказал — «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре, с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными

могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, — она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», — читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, ввнушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой — голубой, прозрачной, в кольцах — прижимая к глазам ба-тистовый платочек.

Капри. 18 февраля 1913

Худая трава*

Худая трава из поля вон!
Пословица.

I

Аверкий слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздники. Молодые работники ели не в меру и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смирные мужики, много поработавшие, — а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он

был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходявшим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Думы не принимала пища. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается

в праздник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, — в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, — и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечер-

нее время; мелкий дождь стрекотал по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку. Она равнодушно спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет, — в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь тесное, жаркое пространство между печью и потолком, служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, — пошутил он. — Износился, задыхаться стал, — еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку,

тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, однообразно прерывающееся дыхание ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он — «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву, и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы — надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в

Оптину, — подумал Аверкий в дремоте. — Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

— Опять залил глаза! — сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего. — Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? — спросила она, оборачиваясь. — Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед, — караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью, — дед не обратил па стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мысленно ли? — понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками. — Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребяташки уже зачали в завязь вникать, две яб-

лоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу — ну, и черт с ними! Я больной человек!

— Больной, а все хоть выжми! — сказала стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь на нары. — Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

«Не хуже меня, такого-то», — подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

— А она небось мне не чужая, — продолжал тот с искренней горечью. — Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж исделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет? — крикнул он, снова оживляясь. — И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только

ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько — ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» — с обидой и болью в голосе кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый, — в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоска, неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно, — голова ее сзади бы-

ла похожа на кувшин вниз горлом, — и плакала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили, — говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе. Легла отдохнуть в палисаднику — дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвеевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст — и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

— А ты бы его за виски, — сказал он, усмехаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. — Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

— Что тебе? — тупо отозвалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе, — сказал Аверкий. — Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми сменить! — с горечью ответила дурочка. — Схожу, не боюсь... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А может, испугаешься дюже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, — говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий.

— То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи, — сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, — сказал Аверкий.

Вздохнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на село хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при яс-

ной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящийся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом поднимающие, полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он притворно небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, смотрит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, пове-

дет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, армяк, онучи, линючую подпояску, — и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес — и в открытое ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косою крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала — верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям кося радужный дождь.

— Будут беды великие, — говорила соседка, бывшая дворовая. — Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что, авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень

с градом. К вечеру стихало, солнце проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней,

как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он, — Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедленно ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице.

Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли там и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему — и даже высил голос, настаивая, чтобы его отпустили,

а не сажали в холодную. И удивленные, сбитые с толку соседи, в конце концов, покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеде он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею

красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, — зять все старался шутить, — но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью.

стью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поест. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся соляной пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Ди-

вила его ладонь: впалая, она была суха и блестела будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв

глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо, — думал Аверкий, — значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрасивая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно, — подумал Аверкий. — А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не

вмешивается чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха.

— Ишь, где квартиру себе нашел!

— А ты чего ж не спишь? — спросил зять.

— Я, почесть, никогда не сплю, — ответил Аверкий.

— Помираешь, значит, — равнодушно сказал зять, ложась.

— Худая трава из поля вон, — пошутил Аверкий. — А чую — конец. Чую — она. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно. Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его:

— Спишь?

— Нет, — отозвался зять, очнувшись. — А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, — как отражение в затуманенном зеркале, — прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал занимать для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда, — ответил Аверкий. — Мука.

— Да это еще по чулку, — сказал зять. — А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках, — подарок с барского двора, — и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, — только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с

плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, — на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не счастье, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Аня. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и за-

девала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик-плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблочко, с неумеренной настойчивостью совалих под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм! — говорил он. — Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выйдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли понос: зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охвачен-

ному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не: будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к белу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновение ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, господи, — не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья мать от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его били ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все

соляется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! — думал он. — Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже и него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую

встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

— Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным

призраком стояла перед ним, свинцово ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зеленыя. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, — и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем

его истомленное сердце, и не понимал, — сон ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на коленки. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце», — подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на стовор. Белой курой несло над деревней; убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела,

и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, — ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у бабушки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби! — крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. — Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга,

та, на чей стовор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем батюшку перевозить, — торопливо сказала ей дочь Аверкия. — Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу, — близкой смертью, — лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаюсь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его, — ай у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подруги потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь па пороге низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас? — бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В таком страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на стовор). Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в

ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, для кого все это и делалось, — сам бог как будто, — сказал:

— Шапку-то, шапку-то сними! — Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему, — вы это дело хорошо знаете, — есть уж *она* во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» — крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых паль-

цах. Сердце его млело, таяло — он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе думал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня привеча-

ешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные, — вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» — подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22 февраля 1913

Пыль*

Высокие запыленные тополя шумели от знойного ветра возле большого белого вокзала. В тяжелых вагонах длинного почтового поезда, поравнявшегося с навесом, потемнело и стало тесно, все поднялись с мест, разбирая вещи. Ворвались в вагон рослые мужики в белых фартуках. Хрущов отдал одному из них чемодан и приказал взять билет на курьерский поезд, отходящий в двенадцать с половиной.

Все по эту сторону вокзала было знакомое,

московское. Но по ту — совсем другое, забытое: глубокая провинция, край просторный, хлебный, богатый и скучный. Пыльное солнце пекло ухабистую площадь. Несколько запыленных извозчиков стояло вдали. Серый от пыли вагон трамвая ждал чего-то. И Хрущов вспомнил Восток, Турцию...

Мещанин, в рыжей, выгоревшей чуйке, в картузе, надвинутом на уши, в истертых, с пылью в складках, сапогах, грыз на площадке вагона подсолнухи. Грыз и кондуктор, поводя голубыми хмельными глазами. Неожиданно для всех и рассеянно он дернул за темный ремень, и впереди щелкнуло. Вагон покатился вниз, завернул к трактиру в угловом домишке, тоже как будто турецком, — ветхом, деревянном, и навстречу целой туче пыли понесся под изволок — по широкой и бесконечной улице с горбатой шоссейной дорогой посредине и мещанскими хижинами по сторонам.

Тусклое солнце жарко светило сквозь тусклое стекло. Хижины мелькали все нищие, с высокими и гнилыми, почерневшими тесовыми крышами. Навоз сушился перед ними. Над воротами торчали шесты с желто-седыми

пуками ковыля. Хрущов с радостью почувствовал, что всю жизнь будет любить все это. Но далеко впереди виднелись каменные триумфальные ворота. За ними начинался город чиновничий и купеческий, весь белый, каменный. Хрущов вспомнил себя юношей, корректором губернских ведомостей, вспомнил холеру, запах хлористой извести на вокзале, серебристое от пыли и зноя небо за его белым фасадом...

Остановились в центре города. Тут на площади, перед думой, биржей и старыми колониальными магазинами, надо было ждать пересадки: Хрущову хотелось побывать на окраинах, на Пушкарской улице, где он жил когда-то у сапожника Мухина. Хрущов прошел по каменистому тротуару мимо пекарни Чаева, мимо столетнего винного магазина братьев Шафоростовых, мимо подъезда гостиницы «Париж», в красных, помпейских сенях которой круто поднималась лестница, покрытая истоптанным половиком. Запах пекарни был скучен. Запах лимонов, бакалеи из прохладного, полутемного магазина с политыми полами снова пробудил молодые чувства —

еще тех дней, когда Хрущов ездил с отцом на лошадях, и отец покупал у Шафоростовых карты, мелки, стеариновые свечи и херес, — темные бутылки, оплетенные тонкой проволокой. Мимо шли как будто все те же черные салопы со стеклярусом, все те же лоснящиеся на солнце купеческие сюртуки, и заунывно, во-восточному, кричали все те же квасники в красных рубахах, что кричали двадцать пять лет тому назад. Выбритый, рыжеусый, краснолицый городской, стоя среди площади, оправлял нитяные перчатки на толстых руках.

Пришел вагон с Карачевской. Он направлялся как раз на те пустынные улицы, куда двадцать пять лет тому назад Хрущов попал из-под родительского обнищавшего крова, из деревни. Опять неожиданно щелкнул звонком кондуктор. Опять стало припекать спину сквозь тусклые стекла, и понеслась навстречу пыль... Жил Хрущов на Пушкарной улице среди чужой, грязной семьи. Застенчивый барчук, как не шел он к ней! Но как, значит, счастлив он был своей молодостью, если и теперь еще запах сапожного товара, герани и

гнили мещанского угла волнует его, если от его хождения в казенную типографию остались в памяти только ранние солнечные утра и свежесть городского сада, мимо которого проходил он, перейдя по деревянным лавам мелкую речку и поднявшись на гору!

«Пушкарная!» — крикнул кондуктор. Вагон остановился на половине широкой немощеной улицы: здесь путь обрывался, рыжие рельсы упирались в песок, поросший кое-где муравой. Вагоновожатый стал переводить железный лук, соединяющий вагон с проволокой, убегающей от столба к столбу назад, в город... Тишина и жаркий, ослепительный свет. По правому тротуару, по каменистым колчам, Хрущов долго шел мимо всяческих мещанских домишек — и серых, и голубых, и белых, но одинаково нищих. Он внимательно глядел на них, читал надписи на дощечках над калитками... Чуть не вся улица принадлежала женщинам: редко-редко где владелец, а то все владелицы, — странная черта русского захолустья! Он спрашивал встречных старух, далеко ли до дома Мухина, — они не знали и робели, отвечая. Ладный, коротконогий,

чем-то довольный солдат, шедший навстречу, отирал рукавом губы от мокрой шелухи подсолнухов. Хрущов хотел спросить и его, где дом Мухина, — и не мог. Усталость он чувствовал смертельную.

Лицо его горело под тенью соломенной шляпы, в голове мутилось от жары. Он опять остановился. Хижину Мухина трудно было найти, слишком она была похожа на другие. Он стал искать глазами тот дом, что когда-то белел напротив Мухина, далеко выделялся среди этой бедной улицы своей железной крышей и садом за забором. Но и этого дома не было. А улица точно на край света шла. И вдруг вся эта затея — шататься в жару, ломать ноги по песку и камням, вызывать удивленные взгляды встречных своей легкой одеждой и шляпой — показалась глупой и бесцельной. Навстречу медленно ехал извозчик, молодой парень на ободранной пролетке, на кляче с кривыми, опухшими ногами. Хрущов крикнул, замахал шляпой, испугавшись, что он скроется куда-нибудь в переулок.

«На вокзал, да поскорее!» — сказал он, са-

дьясь. И кляча понесла его с такой неожиданной прытью, что он не чаял живым остаться, ныряя по тем пустырям и буеракам, которые избрал извозчик для сокращения пути на вокзал.

Курьерский поезд подходил. Хрущов торопливо соскочил с пролетки. Радость оживила его. Он прошел пахнувший самоваром вокзал и через минуту уже сидел в купе международного вагона. Как легко и плавно тронулся поезд! Какая чистота в этой маленькой каютке, сияющей зеркалами, медью, красным лакированным деревом и темно-зеленым рытым бархатом дивана!

Вагон уже мотало. Приноравливаясь к его качке, Хрущов снял шляпу, поглядел в зеркало на свое бледное лицо, сел... Полуденное солнце, светившее за большим пыльным стеклом, горячей полосой ходило по дивану. Хрущов протер стекло; раскачиваясь от бега ревущего на станционных путях поезда, он долго разглядывал огромную низменность, в тусклом свете которой туманно лежал город. Потом наполовину спустил кожаную занавеску, — и сердце его сжала тоска, тоска как бы

последней разлуки с этим уходящим из глаз городом и с бедными воспоминаниями молодости.

В дверь осторожно постучали: лакей с карточкой завтрака заглянул в купе.

— Прекрасно, оставьте мне место, — сказал Хрущов с той приятной легкостью, с которой, верно, говорит на своем языке иностранец, переехавший границу своей страны после России. Сейчас будет сидеть за столиком с букетом цветов, за бутылкой вина, и что впереди — серо-сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядные люди, зеленые морские волны, длинными складками идущие на гравий, их летний, атласный шум, тяжесть, блеск и кипень... Лакей деликатно притворил дверь. Хрущов лег на диван, — и мысли его опять возвратились к молодости, к началу его бездомной жизни, к этому большому мертвому городу, вечно заносимому пылью, подобно оазисам среднеазиатских пустынь, подобно египетским каналам, засыпаемым песками...

«Пыль, пыль, пыль! — думал он с какой-то едкой и сладкой тоской, глядя на тончайшую сухую мглу, наполнявшую его жаркое купе. —

Азия, Азия!»

Вагон мотало...

Капри. 23 февраля. 1913

Лирник Родион*

Рассказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховеями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон,

под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашенных яиц. В гирлах же было со- всем лето, много стрекоз вилось над очере- том, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя ко- лесами, медленно тянулся он среди необозри- мых камышовых зарослей и полноводных за- тонов. В первом классе «Олега» никого не бы- ло, кроме какой-то девицы, знакомой капита- на, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ пол- тораста хохлушек, плывших куда-то па весен- ние заработки. Днем у них было шумно, тес- но, жарко; дном они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разгово- ры вели мирные, задумчивые, вполголоса пе- ли.

Этот вечер был особенно прекрасен, осо- бенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и

притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот она переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девушка гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его

ветряков и косогооров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе

которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью мать, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавши-

ми маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преобразилось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и

вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподзем-

ных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, скзывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстрії рікі, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной мате-

ри:

— Нещасні сиріткі — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — робота ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом иступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой пішла сирітка темними лугами, —

вмивається сірїтка дрібними сльозами. Не могла сірїтка мачусі вгодити, — ой, пішла сірїтка по світу блукати: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земля от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

— Тай зустрів пі Христос, став її питати: «Куди йдешь, сірїтка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сірїтка, бо далеко зайдешь, вже ж своеп матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матинка на високїї горі, тіло спочивае у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірїтка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу ридна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

— *Хто це гірко плаче
На мойому гробі?*

— Ох, це я, матинко:
Прийми мене к собі!
— Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сирітка,
Ні їсті, ні піти.
Тільки велів господь
В сирій землі гніти!
Пішла б ты, сирітка,
Може б просила:
Може б змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж її просила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми выдохами своих слушатель-

ниц. А насладившись, вдруг громко и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог Янголів от себе, — сказал он торжественно, чистым и звонким голосом. — Візьміть ту сірїтку до ясного небе, посадить сірїтку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и пионом лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

*Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її лучу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!*

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, беи лиры:

— Слушайте ж, люде: хто сіроти має, исхай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни

единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Взошла большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то смя-

кое-что улущая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятакoв. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

Сказка*

Идут с севера тучи и закрывают запад, который еще дает неверный свет деревенской грязной улице. В избе почти темно.

Баба разводит огонь на загнетке: набила в чугуны яиц, хочет делать яичницу. В другом чугуне, щербатом, она принесла из лавки два фунта гречневой крупы. Она поставила его на нары, и ребятишки, один за другим, заголяясь, сошмыгнули с печки, сели вокруг чугуна, горстями, торопливо едят сырую крупу, закидывая назад головы, и от жадности дерутся.

На лавке возле стола, облокотясь на под-

оконник, сидит мелкопоместный барин, в глубоких калошах, в теплой поддевке и каракулевой шапке. Ему двадцать лет, он очень велик, худ и узкогруд. Глаза у него чахоточные, темные; рот большой, белая тонкая шея, со впадинами за ушами, закутана розовым гарусным платком жены. Он недавно женился на дочери винокура, но уже соскучился с женой и ходит по вечерам к соседу, к Никифору: заставляет его рассказывать сказки и были, плохо слушает, но дарит за работу то гривенник, то двугривенный.

Никифор — мужик еще молодой, но сумрачный. Как попал он в сказочники, ему самому непонятно. Началось с шутки: рассказал однажды какой-то пустяк, а барину понравилось, — смеясь, он дал на полбутылки и, зайдя на другой день, потребовал нового рассказа. Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою выдумывать что попало, порою брать на себя всякую небылицу. Притворяться балагуром, сказочником неловко, но неловко и сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить заработок? Все-таки не всегда засыпают голодными ребятишки, закусишь и

сам иной раз, купишь табаку, соли, мучицы, а не то, как вот нынче, крупы, яиц.

Никифор сидит за столом, насупясь. Надо рассказывать, а ничего не придумаешь. Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, глядя в землю, он до зеленой пыли растирает на ладони над кисетом корешки, выгадывая время. Барин ждет спокойно, но ждет. Хворост под чугуном разгорается, но свет держится только возле печки; уже не видно визжащих ребятишек, смутно и лицо барина. Однако Никифор не поднимает глаз, боясь выдать свое раздражение. Рассказывать нечего, но раздражение помогает. Притворяясь думающим, он медленно, невыразительно начинает:

— Старые права были хитрый... Вот так-то поехал один мужик за дровами в лес, дело было, конечно, зимой, самый холод ужасный, и встречается с барином... У мужика, конечно, лошадь плохая, и барин попался злой. Ну, встречается с ним, кричит: «Сворачивай с дороги...» Снег был глубокий, мужик с дороги не сворачивает, говорит: «Куда ж мне сворачивать? вы, говорит, на тройке, а я на одной, да

еще с возом...» Барин вскакивает, сшиб его с ног долой, давай кутузкой гладить... Отгладил раз, мужик отвечает: «За вами, говорит, должок». Барин глядит, что такое он буровит, дурак, мол, опять его кутузкой... И он его четыре раза порол, этот самый барин... Потом бросил его пороть и говорит на кучера: «Ну, он, верно, дурак, ну его к черту, сворачивай...» Поехал, значит, своей дорогой, а мужик своей. Приезжает домой, «ну, говорит, девка, вряд жив буду; избил барин, вся тело синяя...» Мужик этот шесть недель отлежал от сильного удара...

Что дальше, Никифор не знает и, выгадывая время, насыпает трубку. Затем продолжает:

— Выздоровел, конечно, а он был плотник, и сбирается в дорогу. Положил в мешок рубанок, аршин, топор... А барина этого была фамилия Шутов. Шел, шел, приходит, спрашивает, где такой-то барин проживает... Входит на двор. Лакей выходит, говорит: «Вы плотник?» Говорит, плотник. «Вас, говорит, барин требует». Приходит к барину. «Вы, говорит, из рязанцев?» Мужик отвечает: «Так точно».

«Вы, говорит, откуда?» — «Я, говорит, Танбовской губернии, Рязанского уезда». — «Вот мне нужно дом сделать». Ну, конечно, договорились ценой, — за двести рублей. Написали между собой расписку, дал пятьдесят рублей задатку... А у него был лес свой, у барина у этого... «Ну, говорит на барина, как бы ним съездить посмотреть лес этот...» Велели запрячь, сели, поехали. Приезжают. Мужик этот самый и говорит кучеру: «Ты, говорит, ступай на опушку, а мы тут будем стоять». Кучер отправляется, а мужик подходит сейчас к дереву, расколел ее топором, затесал клин и загнал в трещину...

Тут Никифор нагибается к трубке и поспешно закуривает, стараясь не глядеть на барина, растянувшего рот в ласковую, наивную улыбку. Табачная пыль в трубке горит синим огоньком. Никифор тушит его пальцем, пускает дым и кашляет.

— Ну, раздвоил мужик эту дереву и давай нюхать в середке. Барин спрашивает у мужика: «Что это ты, братец, нюхаешь?» — «А вот что нюхаю, узнаю, какой лес, сух ли будет». — «Да твой нос не чувствительный, дай-ка я по-

нюхаю». А мужику того и надо, вытолкнул клин, нос-то баринов и прихватило как следует. А у этого мужика тоже плетка была треххвостовая; он поскорей ему брюки долой и давай этой плеткой полосовать... Он его до того драл, что барин кричал, а то и кричать перестал... «Ну, говорит, еще два раза за тобой». Сел на лошадь — и час добрый. Кучер приходит — лошадей, саней нету, а барин у дереве носом забит, и тело вся изрублена до живого мяса...

— Очень глупо, — говорит барин, улыбаясь, и косится на загнетку, откуда тянет шипящей в сале яичницей...

Теперь пламя под чугуном совсем красно, в избе совсем темно. Дети, доев сырую крупу до зернышка, слушают отца. А он небрежно отвечает барину:

— Старики чего не наплетут... Конечно, сказка.

— Как так? — спрашивает он, поднимая лицо и в упор глядя сквозь темноту на барина. — Вы не дослушали, а говорите, сами не знаете что. Он его не одной плеткой, а еще и аршином железным перекрестил как следу-

ет... Он ему, говорят, все руки, ноги переломал, до того бил. Барыня заявила, а он убитый лежит... «Ну, говорит, теперь похватались...» Выскочил в окно и прямо через сад, — потуда и видели... Там «ах, ах», «лови, лови», а его уж и след простыл. Грубым тоном сказав последние слова, Никифор смолкает. Молчит от неловкости за него и барин. Никифор это чувствует и пытается убожество своей выдумки оправдать нравоучением:

— Да и верно, — говорит он, глядя в сторону, — Не наказывай зря. Вы вот еще молоды, а я этих побасок мальчишкой конца-краю нету сколько наслушался. Значит, в старину-то тоже не мед был...

— Разумеется, не мед, — отвечает барин, поглядывая в окошечко и напевая. — Разумеется, не мед, — вздыхает он. — А дождь-то опять, кажись, пошел... Черт знает что такое! Скажи, на твое настроение очень действует такая погода или тебе все равно?

— Как же так все равно? — говорит Никифор. — Конечно, жалко. Да у меня-то еще милость: и строенья-то всего одна изба... А, конечно, и та преет, протекает... Железная кры-

ша, и та ржавеет, не то что солома...

Барин, легонько усмехнувшись, медленно надевает шапку, медленно застегивается. В избе темь, — следовало бы дать хоть гривенник на керосин. Но нынче давать особенно неловко.

Думая о дурацкой сказке, он бредет в темноте под мелким дождем к своей жалкой усадьбе, мимо ограды старенькой церкви. За оградой, слабо освещая могилы, горит фонарь: церковь недавно обокрали. И говорят, что Никифор пропивал в шинке на большой дороге мелкие складни.

Анакапри. 12 марта. 1913

Хороших кровей*

— Я хороших кровей, — говорит про себя коновал Липат. — А все оттого, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал.

Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда, — Борисом. Он уверяет, что нет такого имени — Борис, а есть Борисоглеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Борисоглеба.

— И меня обязательно надо было так же назвать, — говорит он. — Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам.

Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли, — говорит он. — Оттого у меня и рост и волос сибирный. Одного не пойму, — и тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку. — Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...» Зимой он носит черную баранью шапку, сверх полушубка — длинный тулуп нараспашку, с большим, раскинутым по плечам воротом из белой овчины, и длинные, кожей обшитые валенки.

Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу-старика, убил — «как лярву» слегой, заявил, куда следует — и забыл. Воров ни в грош не ставит — «мышь копны не боится» — говорит он насмешливо но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пастухов и

овец, — только подгони стадо к хутору! — и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый! Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс — это уже с колдовством связано.

По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству, от покойников родителей; они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства.

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться, — невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе.

Он рассказывает:

— Есть разные колдуны. Есть от бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан идти и ружье с собой и образ взять. Собака

не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подыметесь рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и крыто поганое перед тобой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюдает в него, нагадит, а ты — ешь. Потом ружье у тебя из рук возьмет. Зарядит, как надо, забьет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит: хочешь не хочешь, а стреляй...

— Это значит, на гибельные дела силу человек получает, говорит слушатель. — А на хорошие?

— А на хорошие тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойтить и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылизет вместе с пылью. Ну, вот таким-то побитом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него силы, а он велел подать себе на блюде серебра, золота — и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал — «нет, говорит,

видно, с собой не унесешь!» — и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно слово до трех раз: «Все мое — твое, все мое — твое, все мое — твое» Штука-то, кажись, нехитрая, а поди-ка, откажись!

Ездит он на крыс с мешочком «белого камня», мышьяка а то и просто «с голыми руками». Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пискучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то, только его роду ведомые, «отдушины» у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло, он обложит его с наговором теплым пометом. Обьестся корова вёху, он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет, закружится «круговая» овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны — время его усиленных разъездов. Тут он работает не покладая рук. Прибыль животворящих сил, бродящих во всем живом, он

начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движения — силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям «дурной зуб» и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы.

Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебяжьем пуху; налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым столбом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая... Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет.

Липат приехал в усадьбу рано. Дома, на хуторе, он встал чуть свет. Осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул

вон из душной, полной спящими избы: надо погоду взглянуть, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы, на рыхлом снегу, слабо белеющем в сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь: он крепко охватил ее, теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко заглянул ей в прозрачные глаза — и она тотчас же отвела и притушила их...

Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья.

Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная и машистая, легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей, ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы.

Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, сле-

довал за нею.

— Буди батраков! — крикнул ей Липат.

Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили, обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому, и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскоруз от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком — и сколько ржавых железок, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке! В конюшне уже сидели, ждали работники.

Вот и последних, редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Липата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое, ужасное, но разве не на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравнивать буйные силы природы? Работники кричали бестолково, не

в лад. Жеребчики шарахались, они ловили их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. А окрики Липата были кратки и властны: он-то понимал, на что восстал он — зло и грубо, но с целями благи-ми.

Конопатая, в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни — далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и порог, и ящик старой телеги, занесенной снегом у конюшенной стены, и бор-зые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег.

Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никита, толстомордый малый, был непово-ротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза — и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаври-

лу, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон.

Напоследок делали другое дело: ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с «лысиной» на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво — и, подбитая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порток. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки, — задирали ей кверху голову, раскрывал рот, в которой веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голый рукой ее розовый, слюнявый, все выскользывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил:

— Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется, по старому преданию, вредный зуб, он называется — сухой зуб. Тут весна, самые корма, самый

нагул скотине, а лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя — она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет.

Потом он сразу, со всего своего роста, рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлый помет и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело.

Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

— Шабаш. Благодарение богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

— Свят, свят, свят! — сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. — На доброе здоровьице!

Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы о завернутую полу, сурово стал приказывать подтянувшему солдату:

— А вороному меринку надобно лекарству составить. Я составлю. Вели принести шесть горстей муки патентной. Этой мукой ты обязан шесть ден посыпать ему резку. Для порции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и кониный хинин. После шести ден кровя у него зачнут расходиться, внутренность очишшаться, и зачнет он как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. К Егорию не узнаешь — не на радуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить...

Потом он отдыхал — перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью

к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света — и эта весенняя белизна и без солнца слепит.

Анакапри. 15 марта. 1913

При дороге*

I

Устин, отец Парашкин, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село — однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, — говорили, что он

убил жену из ревности, — жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому — и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, — ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Бaeво, гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают — покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой

отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма — степных трав и полыни! А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.

— Здравствуй, красавица, — сказал старик, отделяясь от гурта. — Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под

грудью сердце.

— Отца дома нетути, — ответила Парашка, наглядевшись.

— Так я и знал, так я и знал, — сказал старик. — Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка, — сказал он, глядя в землю, — вечор наша рябая всее ноченьку прокликала, всее, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стремях под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, — знали его манеру разговаривать, — на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арстантском картузе, а верховой — сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

— Я ее отца знаю, — сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. — Богатый плуг... Ступай в печурке либо за образами по-

ищи, — прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, коротко, плотно, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми губами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

— Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин

может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парах за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла — отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» — вспомнила она слова старика — и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер — и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

— Батюшка! — негромко позвала Парашка.

— Аюшки? — отозвался отец вполголоса.

— Это какой босяк бывает?

— А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и

будет босяк.

— Да он не босой. Он в полсапожках.

— Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его?

Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

— Знать, бальмашевский гурт гонят, — сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой. — То-то, я гляжу, костер горит...

— А отчего у него лошадь в крови?

— У кого это?

— У приказчика. Вся грудь в струпах.

— А это оттого, что она киргиц называется, — сказал отец. — Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро небось есть?

Парашка подумала.

— А какая она?

— А вроде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого... Ну, спи, спи, коли поужинала, — прибавил он. — А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину.

В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напомилавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка загнула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой меццанин.

II

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, — она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но

были обе они молчаливы, да и слишком разны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительно-го девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью — вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? — и тогда казалось, что не было на

свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немно-го.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появ-

лялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многие одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многие одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

— А я, мальчишкой, раз было убежал за цыганами, — сказал однажды Устин, усмехаясь.

— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка, — сказал Устин уже без улыбки. — Сгоряча делать не годится...

— Чего делать не годится?

— Да ничего, — ответил он не сразу и поглядел в сторону. — А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Люби-

мым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подаянием. Ровной рысцей, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещичья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желанья. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных,

сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь — это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще любовницу-то?» — сильным таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном — о любви. И она певала их, но мысленно — так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все по-

други готовились только к одному — к заму- жеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Ба- тюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы до- знаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» — глухо крикнула она, по- дойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входив- шего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вож- жах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешь- ся?» А сестра медленно мотала головой, заку- танной в пеньковый платок: «Я на минут- ку...» Была она в промерзлых лаптях, в крас- ной юбке грубой шерсти, в сермяжной курт- ке, туго застегнутой на полной груди, и креп- ко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, из- бяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я си-

жу-то!» — говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

III

Заменяв отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла — ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама

чуяла это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.

— Батюшка, — сказала она вдруг, — ты всегда был такой красивый?

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. — Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю, — ответила она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

— Ты того, дочка, не слухала бы, — сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить, — сказал он еще тише. — Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя. Она подумала.

— Да меня что ж пытатель? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он. — Ты вся в нее. Она

покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

— Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

— У тебя ж есть любовница, — прошептала она.

— Все пустое, все пустое, — ответил он, не повышая голоса. — Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и

еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевитое и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею, — это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождется его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на порою. Пели петухи — она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей — ей казалось, что уже слышно в тумане карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога — и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали — и вдруг начинали тревожиться, кудахтать

сквозь дрему. С веселой притворной яростью играл, взвиваясь на цепи под амбарами жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбежала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей — с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, — отец убил бы его, — но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, — пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговориться с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел сигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб — он был красив. Но вот он открывал рот — и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное,

сколько жалованья берет.

— Хоросую, хоросую залованью получает, — бормотал он косноязычно, и от бормотанья усы его делались слюнявыми.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал обротъ с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут обротъ покрепче, пора тебя обротать, к бычку весть...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, тонко вскрикивала, хватаясь за что попало:

— Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, черт!

Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила великая суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, — от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошастью.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, — во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Из-

редка Парашка взглядывала исподлобья — и сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресниц... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

— Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге — поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее — и она мгновенно признала его.

— Чего кричишь? — ответил Устин веселым криком. — Завтра праздник большой!

— Виноват, Устин Прокофич, — отозвался мещанин. — Ничего не видно....

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:

— Ай ты его знаешь?

— А кто ж его, плута, не знает! — ответил Устин. — Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запихнула лицо шалью, задержала дыханье... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко — и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обя-

зан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, — думала она, — повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями — его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибираться избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро — и зеле-

ная дорога, и зеленые хлеба, за которыми влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «Страшно итить к суду божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло — мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку наварок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

— Здорово! — смело сказал мещанин, появляясь на пороге. — Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, — слышно было, как спросонья

заворковали в темном углу под крышей голуби, — потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

— Отца нету?

— Нету, — ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

— Жалко, — сказал он и похлопал кнутом по голенищам. — Так ты одна и спасаешься?

— Так и спасаюсь, — ответила она, слабо улыбнувшись.

— Ну, да ничего, в другой раз заеду, — сказал он. — Благо придирка есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, — добавил он.

Она помолчала.

— Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

— Я эти побаски слыхала, — с трудом ответила она. — Пусти, — бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слышала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

— Дай бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

— Ну, теперь шабаш мне! — сказал он, садясь в телегу. — Потерял я свой покой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

V

Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что

не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желания увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устиану на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и

серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троеженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно покраснелся, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки; измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонью, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Нако-

нец понял и бешено, отрывисто задержал «кабы курочка бычка родила...». Троеженец подсунул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козьими грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

— Дочка! Поди сюда! — крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. — Поди поцелуй меня!

— Ты пьяный, — ответила Парашка. — Глаза б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужки, заросшие цветами, две горлинки... Как тихо было тут после гама пьяных! Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый... Парашка села на межу и дала полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие — растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь — светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака — небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата — боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетках и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения,

«присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него — его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

— Отец твой совсем готов, на девятом обруче, — с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке, — Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит — «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымчато-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:

— Погоди, за ради бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...» Я памяти

по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, — на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистки будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидала впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, — обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди, Он приподнял и положил ее на солому.

VI

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что приедет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», — ответила она. «Смотри же не обмани», — сказал он неестественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стремянем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то

опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «Смотри же, не обмани», — она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» — подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желания лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спешит, не волнуется своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было

страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, — и некуда было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка

горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, что не застала Устина, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня — не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

— Ты здорова? — спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась это ребенок мог заметить — как же не замечал отец? Но

вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, — и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу — и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась,

и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», — и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться к нему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», — вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрельчатые касатки, мелькая розовыми юными грудками, проносились мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигурка Ннканора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быст-

ро пересек сухие колеи и вошел в избу.

— Здравствуй, — сказал он негромко, оставиваясь у порога. — Никого нету?

— Никого, — ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

— Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

— Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылия опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеда, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет — дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек; ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составитя тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

— А какое? — спросила Парашка.

— Ну, ты по этой части еще тупорыла, — сказал Никанор с усмешкой.

— Лучше бы ночью, — сказала она серьезно.

— Да что ты! — насмешливо сказал Ника-

нор, делая папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

— Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

— А скорей нельзя? — спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

— Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? — подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

— О чем ты? — спросил удивленный Никанор. Она не ответила и заплакала пуще.

— Тебе говорю ай нет? — грубо крикнул Никанор.

— Отстань! — крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

— Ну, будя, будя, — сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения — жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала — тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много — и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

— Дочка! Спишь? — негромко спросил он, останавливаясь у порога.

— Нет... — с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса — и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

— Дочка, что с тобою? — тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, — и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. Ты не таись, — еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! — со слезами хотела крикнуть она — и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. — Батюшка, — хотела она сказать, — он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

— А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярмарку еду сейчас — что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

— Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

— Уйди, — едва слышно выговорила она,

чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге исступления, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хле-

бов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за ней сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый песок с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дута и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал

вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный,

— Что же ты? — быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. — Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, прыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» — На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

— Ключа у меня нету, — сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалил-

ся вместе с петлей — и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой оборотью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскочнула, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула — и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к юроду, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка — в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала — и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.

Капри. Март. 1913

Чаша жизни*

I

Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы, в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето, каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый

мордовский костюм, большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами, она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт, он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли и в золотистой пыли, поднятой стадом, сиделось в конце Долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади, среди подруг Сани, шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Сели-

хов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, вполголоса сказал:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

II

Тридцать лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, многого достигли. Иорданский стал протоиереем и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью. А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице. Не отстал от него и Селихов: назло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга; но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некра-

сивой жены. А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной: в мордовском костюме, с косой, заплетенной по-девичьи, она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчалочной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, — между ними и карточка Иорданского, — пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез. Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело. Но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к о. Киру, самолюбивый, как все маленькие ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.

И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта — о доме.

III

Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился и Селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Ак-

куратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные, прямые карманы панталон, он похаживал по своим чистыми пустым комнатам, среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую, — осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее: всему цену знал он теперь! Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце — в доме было тепло. На дворе палил летний зной — в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло как раз в ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы — они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала

все крыши, все стены и окна на Песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание. Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет, на железный нестораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина: он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро — и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусяного пера... Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?

Она знала одно — что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а по-

том и совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной: со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан даже в карточных спорах. Но гости — два-три человека и все одни и те же: помощник исправника, податной инспектор и нотариус — бывали не больше двух-трех раз в году.

IV

Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам — хибарки, нищета.

Высокий, дородный, он похож был на боярина; долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те, полные, волоокые, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости: не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подря-

нику, сладко пропахнувшему ладаном и табачным дымом. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения.

Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты»: ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их.

— Благослови, пастух, — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю.

— Благословляю, во имя отца, и сына, и святого духа, самую глупую овцу стада моего, — отвечивал пастырь.

С купцами о. Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки. Но о. Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма — от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе: о. Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался о. Киrom, как челове-

ком необычайного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашения о. Кир принимал разборчиво, в свой же дом никого не пускал.

Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленный мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца — разве какая-нибудь кривая яблонька на мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У о. Кира был подъезд (к которому, впрочем, никто не подъезжал).

Вечно заперты были ворота о. Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни о. Кира у плечистой стряпухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу бил снисходителен о. Кир. Он шутил над ним, шутками отвечал ему и водовоз: это был удивительный человек — он ни-

кого не боялся, ни о чем не тужил, доволен был решительно всем.

— Желудь! — громко и строго кричал о. Кир, выходя на крыльцо.

— Аюшки? — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.

— Опять не полную привез?

— Опять.

— Смотри: отколочу!

— И то не плохо! Дураков и в алтаре бьют...

Но однажды, узнав, что Желудь привез бочку воды и Селихову, о. Кир и Желудя лишил своего благоволения, навсегда прогнал его со двора долой.

V

Зимой на Песчаной улице было много снега, было серо и пустынно, весной — солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стояв-

шему за городом, под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов с ковравыми сумками, которые и теперь еще называются сак-де-войяжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах, с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с о. Киром, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка: он однажды, на вокзале, запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:

— Здесь вам не синагога.

Дородный и строгий, проходил он по Песчаной улице, в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперсный крест, — и все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки; там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше — к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки — запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграф-

ных столбов и оставившего на них свой мочальный хвост. Но, завидя о Кира, они рассыпались куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза о. Киру: он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел по середине улицы как будто вольно, заложив руки назад: что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши о. Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке о. Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял — широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее.

— Откуда? — громко спрашивал он.

— Липецкий, — бормотал мещанин.

— Надень картуз. Как у вас нынче сады?

— Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, господь с ним... Всю завязь обил.

— Садоводы, а бестолочь. Не знаете своего дела. Ну, ступай с богом...

Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку, — о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы.

Синее море, белый пароход...

А спутница его, обезьяна, была довольно

велика и страшна, старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины прикрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну и серба, что этот серб — непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали о. Кир. И улица мгновенно опустела: все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до роди-

ны, исправиться и заняться честным трудом.

VI

Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь: что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не о. Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский взгляд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето? О. Кир служил в соборе; но она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь, — Селихов запретил ходить в собор. Не будь о. Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним; но богу предстоял он, тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна: уже больной, мрачный, во хмелю, встретился о. Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:

— Селихов! Помни час, его же не минует ни единое дыхание: это я, — слышишь ли, Селихов? — я, облеченный в траур, в оный день

воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.

— Кто знает, отец Кир, — ответил ему Селихов с усмешкой. — Кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.

Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне — быть между ними, всю жизнь состязавшимися в первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу! Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме.

Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках, и какой угодно, — это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен: чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно.

Все соседки говорили: «мой дом», «у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках

горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее! Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он!

— Не беспокойся, — отвечал ей Селихов. — Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба.

Он становился все страшнее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, испуганно искажив брови; дня по два не притрагивался ни к одному кушанию ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон — и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всенощной раньше времени, не достав, по слабости, службы, и вошла в дом с черного хода, услышала она крикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обомлела: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавшей: «Ай, ай, караул! Батюшки мои, разбой!..»

Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась бо-

левшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома все та же надпись:

«Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову. Свободен от постоя».

VII

Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти тридцать лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем о. Кир и Селихов.

Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое: «Et tonat, et sonat, et fluvidum coelum dat...»[6], он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далекмо мог бы пойти этот человек! Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города: поражал

своей внешностью, своим аппетитом, своим железным достоинством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и — своей философией.

Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костью в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж — и был прозван в Стрелецке Мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланявшись, внушительно-серьезный и спокойный, он стал раздеваться — и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул — не спеша разделся, не спеша окунулся ровно пятнадцать раз... С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть

до Покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речкой над полями, оловянная рябь шла по воде; а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси; но, как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке.

Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал! Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он:

— Суп, борщ, лапшу прошу подать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность — штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, ровно как и пшенную — чугуничками...

— Мандрилла, Мандрилла! — орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не достаивал их взглядом, он шел так же мерно, кок изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой:

— Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля...

А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продолжение жизни, для чего и потребно: полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом — прежде всего в смысле питания его и освежения водою.

— *Nullus enim locus sine genio est!*[7] — насмешливо сказал однажды больной и сумрачный о. Кир, встретясь с ним на улице. — Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне: юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?

Горизонтов, держа над головою зонт и опи-

раясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови.

— Но скажите и вы мне, отец Кир, — ответил он наконец, — зачем вы живете?

— Я тебя не о цели жизни спрашиваю, — сказал о. Кир. — Я тебя спрашиваю о ее образе.

— Но ведь образ соответствует цели?

— Ага! Цели! Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?

— В долголети и наслаждении им.

— Но наслаждаешься ли ты?

— По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.

— Чашу жизни? — строго перебил о. Кир и широко повел рукой по воздуху. — Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой! Ты достоин своей позорной клички!

— В земле не распознаешь костей человека от костей животного, — ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.

VIII

И вот смолкли наконец шаги в пустых комнатах селиховского дома. На тридцать первом году замужества Александры Васильевны, великопостным вечером, вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого, как мел, старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали.

Была пятница, базарный день, началась весна, — мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу! Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора: ее под руки вели дальние родственники Селихова, — лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, вкось от затылка положенную на лысину, и его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой, острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха и от слез. Поставили у дверей парчовую, желтую с белым крестом

крышку гроба, внесли покойника в зимний придел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами... Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новопреставленного! Как смиренно, под рыдания хора, поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камилавках и как тяжело, сотрясая пол своею тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо пьяный и торжественно-мрачный, исполнявший свое предсказание о. Кир! Но, боже, что случилось и с ним за последний год! Уже не страшны были его возгласы, его каж-дение и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекавшее, почерневшее лицо, остекленевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки... Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, — как бы не видя о. Ки-ра, — изнемогавшая от слез Александра Васи-

льевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и въздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание.

Ее понесли на паперть, на въздух. И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился — и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.

IX

В больших ветхих сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинтькать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее: и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом нестгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада: в двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее

удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить наконец в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку, жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни...

На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом — и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было! Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки — что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней — и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви — и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза на-

бегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими воротами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода! С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о царстве небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее?

Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу — хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало — и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги,

на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам! А в роще, еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро, в проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее... И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше — и сама не заметила, как пришла к могиле мужа! Во-все не желала она того, шла за другим, а пришла. И, усталая, опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то — не то к себе, не то к о. Киру, не то к Селихову... Да, да, и к нему!

А когда она возвращалась домой, думая

только одно: дай бог встретить извозчика! — Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые то слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, — ему было уже лет восемьдесят, — в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой набекрень. Усы, бородку он выстригал — они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменял к ней.

— Радуйся, Афродита Розоперстая! — закричал он старчески-детским голосом.

И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, — как бы украдкой и надеясь обрадовать, — четыре щепочки, связанные лычком.

Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала: что это значит — эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны?

Часто в эти апрельские дни она горевала,

что бог лишил ее детей, думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его; не раз переглядывала портреты в венчальной шкапулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме, с детски-милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то, будто бы крестьянскую изгородь, и крепкого, плечистого семинариста, с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ! Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком, в деланно-непринужденных позах расположились на креслах, а он, — тоже молоденький, щеголеватый, — зачем-то сел у их ног на полу.

Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед.

Х

На сороковой день Никольский причт служил панихиду в селиховском доме. Повис в

комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями, Никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком, вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны, — и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами... Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, и в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки...

Однако напрасно качали над ней голова-

ми — удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, — и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, — чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном: вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась — и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала — от стыда, страха и радости... И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к о. Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним — последнее... Нет, не возгласы его, не кажделение, не поклоны усопшему врагу страшны были тогда, в соборе! Страшно было смотреть на них на обоих, страшно было вспо-

минать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо, чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь — и в одно сливается и того, кого любила она, и того, с кем, нелюбимым — а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку! — прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

XI

Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть о. Кира десятого июня: десятого должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна ходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытое окно глухое гроыхание бубна, заунывное пение, потом

шум, крики. И модистка, и Александра Васильевна, в кофте с одним рукавом, выскочили на крыльцо: по улице бежал народ, а возле калитки о. Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке... И Александра Васильевна горько заплакала: боже мой, как, значит, ослабел о. Кир!

А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах, Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городской — мертвую: ее задавили, замяли в толпе.

На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей — большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница, под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь рясофорная монахиня, родственни-

ца Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, — толстая свежая старуха в очках, с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в которые лился радостный свет.

После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетки на тонкие старые стекла — и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф — больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газе-

тами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.

XII

Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили — некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь.

Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой, на скате полей — Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роцца... По мосту поезд пошел тише — мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бледным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции...

Постояв пятнадцать минут, снова трону-

лись. Кондуктор зажег одну об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь — и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланявшись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери.

Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках, человек, как можно было понять из его слов, московский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и на-

конец не вытерпел, спросил:

— А вы далеко изволите ехать?

— А в Москву, — не спеша, ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.

Господин в очках подумал, оглядывая его.

— А жить, вероятно, изволите в том городе, который мы только что проехали?

— Да, я из Стрелецка.

— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно... да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мок-

рым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками. Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.

2 сентября. 1913

Я все молчу*

Молодым Александра Романова все звали Шашей, жил он тогда с отцом, в селе, в доме под железной крышей, а бил его отец, Роман.

Роман мнил себя первым человеком в округе, самим господам дворянам совал руку при встрече. Была у него лавка в селе, мельница за селом, а богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб. Макару, родному брату его, есть было нечего; он, оборванный, плелся по выгону и смиренно говорил, снимая шапку: «Здорово, брат!» А Роман, сытый, похожий на дьякона, отвечал ему с крыльца: «Ты меня, дуралей, не обращай. Брат, брат! Поклонись да иди, куда шел, а в разговоры не лезь». Что же должен был чувствовать единственный наследник такого человека? Он по селу гулял в поддевке тонкого сукна, в сапогах с лакированными голенищами, наигрывал польки на дорогой ливенке. Встречались ему девки и ребята и провожали его теми взглядами, от которых у людей известных мурашки бегут по спине. Но мрачным и даже

свирепым взглядом встречал он эти взгляды: вся молодость его прошла как бы в приуготовлении себя к той роли, в которой достиг он впоследствии такого совершенства.

Роман на вершине благополучия стал слабеть, запутываться в делах. Сивый, бородастый, длиннопузый, в казинетовой поддевке, похожей на подрясник, он только во хмелю бодрился, а трезвый был уныл и нарочито груб. Слава и могущество еще были у него. Он на выгоне возле церкви, против своих окон, выстроил школу, был попечителем ее и в любую минуту мог заставить учителя в ногах у себя валяться. Он еще мог угостить гостя шпротами, кислым омаром в ржавой жестянке, цимлянским и, угощая, покрикивал а кого попроще: «Пей, глупей!» Но пора, пора было сменить его. А кому? Смены-то и не было. Шаша все больше втягивался в свою роль, роль человека, чем-то кровно оскорбленного, — и отношения между ним и Романом сводились только к тому, что Роман таскал его за «виски». Шаша, по его словам, ангела мог вывести из себя, не таскать его нельзя было. И он таскал. А чем больше таскал, тем все нестерпи-

мее становился Шаша.

Ему ли было не гордиться домом, могуществом и повадками отца! Отец при гостях кричал на него: «Да будь ты маленько поразвязней, дуралей!» Но ведь это была повадка тех, кому подражал отец, повадка купцов, а разве не высшая гордость — чувствовать себя купеческим сыном? Отец даже хвастался им порою, самодовольно говорил гостю: «Постой, я тебе сына покажу!» — и горланил на весь дом: «Шаша, подь суда, тобой Миколай Михайлыч антересуется!» Но, ах, как входил Шаша в комнату, где сидел гость с отцом! Он входил, багровея, глядя из-под насупленных и перекосенных бровей, руки держал туго, кренделем, ступал еще туже, внутрь носками и так щеголевато, точно пятую фигуру кадрили танцевал, а шаркнув гостю, тотчас же отскакивал к окну, к притолоке, раздувая ноздри, кусал заусенцы, на вопросы отвечал с нелепейшей краткостью и резкостью. Как же было не бить его? Гость уезжал; Роман, проводив его, молча подходил к Шаше и, размахнувшись, крепко сгребал Шашу за волосы. Шаша молча вырывал голову из его пятерни

и, выскочив в прихожую, бил себя кулаком в грудь:

— Нну, папаша! Я молчу! Я все-е молчу! — шипел он зловеще.

— Да животная ты этакая! — орал Роман. — Ведь за это за самое молчанье да ломанье я и бью-то тебя! Значит, ты сам того доби- ваешься? Зачем? Почему?

— Прах моей могилы все узнает! — отве- чал Шаша яростно и загадочно.

Он ли не в рубашке родился! Деньги у него не переводились, одевался он щеголем, уха- живал на вечеринках за кокетливыми попов- нами, за дочерьюми станового, танцевал с ни- ми под аристон. Но и ухаживал он как-то ед- ко, срыву. Да что! Даже наедине с самим со- бой, глядясь в зеркало и взбивая металличе- ским гребешком свое бурое руно, изверски косился он. Нос у него был раздавленный, го- лос хриплый, вид каторжный, мужики назы- вали его палачом. Кажись, не велика честь! Так нет, он и этим наслаждался. «Подколод- ный дьявол! — говорили мужики. — Все ему не нравится, все не по его, не так!» И он изо всех сил старался оправдать эти клички.

«Хто? Это Шаша-то подколодный? — спрашивал Роман с негодованием — Да такими подколодными хоть мосты мости! Он дурак, ахтер, лодарь прирожденный, и боль ничего. Чего он карежится? Какого ему рожна надобно?» А Шаша глядел с ядовитой усмешкой да помалкивал. «Ну вот, глянь, глянь на него! — говорил Роман, — Глянь, что он строит из себя!» А Шаша все выше косил брови и уже сам верил, что закипает в нем что-то ужасное. «Ох, папаша! — шипел он, как бы не выдержав. — Ох, сказал бы я вам одну штуку!» Роман, унылый, с обвислыми мешками под глазами, страдальчески ухмылялся: «А что же эта за штука такая? У? Ну-ка, скажи?» — «Это я-то?» — спрашивал Шаша, кидая взгляд исподлобья. — «Да. Ты-то». — «Прах моей могилы все узнает!» — «Да что узнает-то? Ты пьян, негодяй?» — «Пьян! — отвечает Шаша. — Пьян! Я молчу! Я все-е молчу!» И, чуть не плача, Роман опять вставал на него, как медведь, опять ловил за голову и таскал с мучительным упоением.

Он женился и чудесно — на дочери управляющего барским именем, смешливой и хо-

рошенькой веснушчатой девице. Женитьбу его праздновали удивительно. Господа жили за границей, поэтому венчаться ездил Шаша в господской карете, и священник, из уважения к ней, поздравлял его с законным браком так изысканно, что казалось Шаше, что над ним издеваются. В господском доме шел и свадебный пир. Вино рекой лилось, Роман, при общих восторженных кликах, плясать пошел, сотрясая паркет, зеркала и люстры. Господский лакей превосходно изобразил поезд: гремуче засвистал в пальцы, затем начал медленно и тяжело отбивать грохот все расходящегося поезда и кончил буйным галопом. Дьячок, опившись на пиру коньяком, по дороге домой помер. Дьякона, на собственном дворе упавшего в навоз, едва не затоптали овцы. Мерзейший осенний рассвет бледно синел из тумана в господские дымные залы, а там все еще горели огни, все еще захлебывался охрипший аристон то «Лезгинкой», то «Вьюшками», все еще кричали мокрые от жары и хлопот шафера, управлявшие танцами, и у барышень мутились глаза от усталости, от пляса. Но Шаша и собственного торжества не

пощадил: притворясь пьяным, убедив себя, что он адски приревновал свою молодую жену к одному молоденькому помещику, он внезапно наступил во время вальса ей на шлейф, с треском оторвал его. А затем кинулся к ножу, пытался зарезаться и, будучи обезоружен, дико рыдал и рвал с себя белый галстук, взывая к памяти покойной матери.

Достигнув вершины, Роман неминуемо должен был, как это всегда водится, показаться опять вниз, в прежнее мужицкое логово. Вскоре после свадьбы оказалось, что он весь, с руками и ногами, запутан в долговых тенетах. Он стал страшен. Сивая борода его побелела. Лицо уподобилось грязно-серому выдоенному вымени. Глаза околели. Брюхо обвисло, издрябло. А Шаша злорадствовал: «Я говорил, говорил!» — и добивал его: бушевал, скандалил, требовал раздела. И Роман, зеленая от злобы, медведем вставал на него, жаждал изувечить — и уже не мог, не мог! Пришибленный мыслью о близком позоре, нищете, он пьянствовал на сломную голову. Потеряв всякий стыд, он в дом перетащил свою любовницу, солдатку-кухарку. Жил с нею, на-

зло ему, и Шаша. А жену он изнурял ревностью и страхами, — пропадал из дому и присылал ей с мужиками записки, где стояло: «Прощай навеки, благословляю детей», а внизу нарисована могила с крестом. Кончилось тем, что Романа разбил удар, что осталась от всего его богатства одна ветрянка за селом, что жена Шаши, забрав детей, бежала к какому-то своему любовнику.

Из села, на мельницу, вышел Роман нищим и еле живым. Нищим и вдовым, скрипя зубами в ярости, вышел за ним и Шаша. Можно было не плохо жить и мельницей. Но до того ли было Шаше! И прежде-то ему, непонятому, неоцененному, осужденному жить среди врагов, недоброжелателей, оставалось только одно: молчать, молчать! А теперь? Вот он тысячи мог бы нажить на одной этой мельнице, к ней ни проходу ни проезду не стало б от телег с зерном, будь у него хоть две, три сотни на новый стояк и новые жернова. Да где их взять? Это ведь только дуракам счастье само в руки прет, а дельного, умного судьба в бараний рог карежит!

Для Романа дело было вовсе не в том, что

вместо шпротов и цимлянского на столе его очутилась краюха черного хлеба и корец с водой — он ел бы с прежним вкусом: дело было в страданиях гордости, самых лютых человеческих страданиях. В большой покосившейся избе с земляным полом и дырами в углах, на холодной печи спал теперь Роман. Утром он вылезал за порог с высокой палкой в руке. Лебедой и бурьяном зарастала снаружи изба, крапива глушила огромный остов раскрытой ветрянки. Все это стояло на голом горбе полей, у проезжей дороги. И Роман выходил под дорогу и клал дрожащие, холодные лапы на палку. Он был без шапки, ветер пугал его седые космы, седую бороду — бороду мужицкого Иова. Он был бос, в затрапезных портках, в длинной рубахе, грязной от золы, от печного сора.

Ноги его были тонки, туловище велико и худо. Ехали те, что знали его в славе и богатстве, те, что прежде трепетали его, те, кого угощал и поучал он когда-то. И Роман, — недаром же породил он Шашу! — даже радовался, что видят его люди в нищете, позоре, и до земли кланялся им. Шаша, тот упивался

своим унижением по шинкам и кабакам, пропивая скудные остатки прежнего и расплачиваясь за свой язык синяками уже от мужицких кулаков. Особенно страшной муки добивался он ежегодно пятнадцатого июля.

Роман к тому времени уж помер, — ах, как злорадно горд был этим Шаша! Воротился со службы муж солдатки. Нужна она ему была, как летошний снег, но все-таки он счел неременным долгом своим мстить за свою поруганную честь, узнав, что она была любовницей Романа и Шаши. И мудро приурочил эту месть ко дню большого многолюдства в селе.

Ежегодно пятнадцатого июля, на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. Льют холодные ливни, о лете напоминают только грачи в полях, густота хлебов и трав да жаворонки, расппевающие над ними под дождем, вкось сдуваемые ветром. А на выгоне села уже растет кочевой городок палаток. Приехали торгаши из города — и с непривычки странно видеть в селе этих городских людей в длиннополых сюртуках, — они, застраивая и делая тесным выгон,

изменили простую сельскую картину своими крепкими телегами с товаром, покрытым кожами и ладно увязанным, привезли вместе с этим товаром базарный запах — дымят самоварами, чадят жаровнями, на которых жарится баранина. С раннего утра пятнадцатого они уже стоят за прилавками, заваленными жамками, рожками и красным товаром, а мужики с бабами и ребятишками едут и едут, отовсюду тянутся под мелким дождем к селу, запруживают возами выгон так густо, что иголке негде упасть, а надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит праздничный звон к обедне.

Под этот звон, на глазах едущих по грязному проселку мимо ветрянки, Шаша стоит возле своего порога, распояской, согнувшись, держит в одной руке корец с водой, а другой, мокрой, трет свое бородатое, корявое, распухшее со сна лицо. Как не похож этот коренастый мужик в разбитых сапогах на прежнего Шашу! С виду он стал спокойнее, но еще мрачнее, чем прежде. Волосы его и теперь страшно гусли, но уже стили по-мужицки лохматы. Умывшись, он раздирает их дере-

вянным овечьим гребнем, расчесывает спутанную круглую бороду, хрипло откашливается и косится взеркальце — на свое широкое, пористое, с раздавленным носом лицо. Он не забыл, что он похож на палача. И точно — похож, теперь особенно: причесавшись, он надевает хранимую для торжественных случаев линючую кумачную рубаху. В будни он тупеет от скуки, от долгого сна, от того, что никто не обращает внимания на него, никто его не слушает: его хвастовство своим прежним богатством, его намеки на то, что будто бы таится у него в душе, и гнусные рассказы про сбывшую жену давно всем надоели; нынче же — праздник, нынче он будет играть перед огромной толпой, нынче он будет страшно, до беспамятства избит на глазах этой толпы — и вот он уже входит в свою роль, он возбужден, челюсти его крепко сжаты, брови искажены... Нарядившись, он надевает рыжий картуз и тугим шагом, решительно и твердо идет в село.

Страннее всего благочестие, с которого он начинает этот день. Он направляется прямо к церкви и, ни на кого не глядя, но всем суще-

ством чувствуя на себе взгляды окружающих, с размаха кланяется и крестится. В церкви он продирается к самому амвону, где стоял когда-то по праву, и в эту минуту до мозга костей презирает мужиков, напоминает им кратко и строго, как власть имеющий, что не мешало бы догадаться посторониться. И мужики торопливо сторонятся. Быком, исподлобья глядя на священнослужителей, на иконы, он до самого конца обедни истово и сурово молится, надменно показывает всем, что только он один знает, когда именно нужно кланяться и креститься. Так же сурово ходит он и по ярмарке, после обедни, гордится тем, что он уже выпил, что он может подойти как равный к торгашу под палатку, поздороваться с ним за руку, облокотиться на прилавок, взять горсть подсолнухов и мешать торгашу разговорами о городе, о торговом деле, а порою прикрикнуть на девок, которые стадами, как овцы, давят друг друга к прилавку, на мужика, который с мешком под мышкой, — в мешке ерзает поросенок, — перепробовал уже все свистульки, все губные гармоньи и никак не может решить, какую взять. Народ, вылив-

шийся из церкви, затопил весь выгон, на колокольне трезвонят, нищие гнусаво горланят, скотина, которою тоже торгуют на Кирики, блеет и гогочет, — и среди густой толпы, плюющей подсолнухами и скользящей по грязи между палатками, уже много пьяных. Шаша успел еще выпить и чувствует: пора! Наговорившись с торгашами, он решительно шагает к каруселям. Там сгрудилось несчетное количество пороку, до головокружения глядящего на мелькающих кольцом деревянных коней и на их всадников. Там чуть не все село и головой выше всех — солдаткин муж. У Шаши холодеют руки, дергаются губы, но он делает вид, что не замечает своего врага. Он подходит к знакомым, громко говорит, хохочет, а сам ждет, начеку. И вот, шатаясь, притворяясь вдребезги пьяным, в новом картузе, на котором еще белеет лавочный билетик с ценой, выбритый, сытый, с сонными синими глазами, солдат идет прямо на него и со всего размаху, как будто ничего не видя, бьет его плечом в грудь. Шаша, стиснув зубы, сторонится и продолжает беседу. Но солдат возвращается, опять проходит мимо и опять — раз его

плечом в грудь! Тогда, как бы не выдержав такой наглости, Шаша с упоением искажает свое и без того искаженное лицо и сквозь зубы говорит:

— О-х, малый! Как бы я не толкнул тебя по-своему!

И вдруг солдат, сразу осадив свое наклонное стремление вперед, отшатывается назад и бешено взрывается:

— Што-о?

Среди ярмарочного гама, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавшейся толпы солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша, норовя, по старой мужицкой манере, запустить ему пальцы в рот, разорвать губы, зверем кидается на него и тотчас же замертво падает в грязь, под кованые каблуки, тяжело бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, в глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется: вот настырный, непонятный человек! Ведь он же знал наперед, чем кончится дело! Зачем же он шел на него? И правда: зачем? И к чему

вообще так настойчиво и неуклонно идет он, изо дня в день опустошая свое разоренное жилье, стремясь дотла искоренить даже следы того, что так случайно было создано диким гением Романа, и непрестанно алкая обиды, позора и побоев?

Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отворачивания к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, — и трагическим и скоморошеским, — Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися щелками незрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах, где замуровали их еще при киевских князьях и откуда вышли они в полуистлевшем рубище, крест-накрест возложили на свои останки нищенские сумы, на веревочных обрывках по-

весили их через плечо и пошли себе странствовать из конца в конец Руси, по ее лесам, степям и степным ветрам. Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холодно загубившие десятки душ: у этих головы твердые, квадратные, лица топором вырублены, и босые ноги налиты сизой кровью и противоестественно коротки, ровно как и руки. Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие. Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных волос. Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы. Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя. Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть... И все это, напоказ выставив свои лохмотья, раны и болячки, на древнецерковный распев, и грубыми басами, и скопческими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который, в жажде нищеты и мученичества, ушел из-под отчего крова «ня знамо куда...».

Все эти люди, двигая бровями над своими темными очами, наитием, инстинктом, ост-

рым, точным, как у каких-нибудь первичных особей, мгновенно чувствуют приближение дающей руки и уже немало нахватали огрызков хлеба, баранок и зеленых от махорки мужицких медяков. После обедни, с пенем уже более бодрым и требовательным, они растекаются по народному морю, по ярмарке. Двинулись за ними и калеки — безногие, ползающие на задах и четвереньках и лежащие на вечном одре, в тележках. Вот одна из этих тележек: в ней — маленький человечек, лет сорока, по ушам повязанный бабьим платком, со спокойными молочно-голубыми глазами, высунувший из ветошек тонкую фиолетовую ручку с шестью пальцами; возит его живоглазый мальчишка с очень острыми ушками и лисьим пухом на голове. Вот мужик с большим белым лицом, весь изломанный, исковерканный, совсем без зада, в одном прелом лапте. Верно, и его, — не хуже Шаши, — били где-то: весь платок его, ухо, шея и плечо в засохшей крови. В длинном мешке — куски сырого мяса, вареные бараньи ребра, корки и пшено. А сиденье подшито куском кожи — и вот весь он искривился, заерзал и пошел че-

сать задом по грязи, выкидывая вперед необутую ногу, до половины голую, в известковых струпах, сочащихся гноем и залепленных кусками лопуха.

— Гляньте, православные, гляньте скорее: йето считается, по старинному заведению, болезнь проказа! — развеселым, быстрым речитативом вскрикивает возле него рябой оборванец, его импрессарио.

И вот к этим-то людям и шел Шаша. Живет он еще три-четыре года на мельнице; встречает еще три-четыре ярмарки; вступает еще три-четыре раза в бой с солдатом; поливают его, бездыханного и безгласного, водой из жбанов добрые люди; он медленно приходит в себя; не раскрывая глаз, возит по земле мокрой головой и сквозь зубы тяжело стонет:

— Нну, добрые люди! Я молчу! Я все-е молчу!

Затем его везут на мельницу, он недели две лежит на печи, понемногу оправляется и вскоре уже опять гуляет по шинкам, хвастается, лжет, все и всех шельмует, бьет себя кулаком в грудь, грозит всем своим врагам и особенно — солдату. Но однажды выпадают

несчастливые Кирики: солдат переламывает ему каблуком руку и раздробляет переносицу, выбивает глаза. Вот Шаша и слепой и калека. Солдатка бросает его; мельницу, землю берут за долги добрые люди. И Шаша — у пристани: теперь он равноправный член, кость от кости, плоть от плоти нищей орды, стоящей на Кирики в церковной ограде. Босой, в лохмотьях, густобородый, с головой, стриженной ежом, в мешках крест-накрест, дико ломает он брови над выбитыми и затянувшимися глазами и сипло орет в лад с прочими за душу хватающие нищенские стихиры. Хор мрачно дерет кто во что горазд — звонко выделяются голоса поводырей, выкрикивающих каждый слог:

*Три сестры жили, три Марии Египетские были,
На три доли свою богатству делили:
Одну долю отделили на незрящее тело,
Другую долю отделили по тюрьмам, темницам,
Третью долю отделили по церквям, соборам:*

*Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
Сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Эта ваша подаяния на первом присутствии будет,
Как свеча перед образом-богом!*

Вступает и выделяется резкий голос Шаши:

*Придет время,
Потрясется земля, небо,
Все камушки распадутся,
Престолы господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнет,
И пропустит господь огненную реку!*

И сливаясь, сходясь, достигая зловещей силы и торжественности, зычно горланит весь хор:

*Михаил Архангял
Тварь земную поморить,
Он вструбить в трубы,
Возглаголит людям:
Вот вы жили-были
Своей вольной волей,
В церкви не бывали,*

*Заутреню просыпали,
Позднюю обедню прожигали;
Вот вам рай готовый —
Огни негасимые,
Муки нестырпимые!*

14 сентября. 1913

Святые*

Дом был полон гостей, — гости бывали часто и гостили подолгу, — светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя — так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, ши-

пел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиную; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень из поварской; а дальше, за белыми лугами — высокие косогоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

— Мить, а Мить, — сказал застенчивый Вада, — вы нынче пойдете к Арсеничу?

— А вы? — спросил Митя, как всегда, очень строго. — Я непременно пойду.

И, оглянувшись пи гостиную, на буфетную, — ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, — дети

медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу — в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей — бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, — в одно время с господами, — укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, наклонявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось — повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в пер-

вой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запушено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть видной богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, взлохмаченный, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него

любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.

— Пил и ее, окаянную...

— Всю?

— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами извольте знать — не первый раз...

— Я ни за что не скажу, — сказал Митя твердо. — А вы? — спросил он Вадю. — Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из

зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

— Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

— Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, — ответил он. — Мне ваша мамаша мещину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не бог весть что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на бога не жалуюсь.

— Вы теперь умрете скоро, — сказал Митя.

— Суцая правда ваша-с. Полагаю, даже нынешней зимой.

— А охотником вы были?

— Нет-с, этого не привел бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

— Вы о дедушке плачете?

— Ну, что ж о них плакать-с! — сказал Арсенич. — Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало — восемьдесят семь лет с лишком. Я нонче плакал по поводу блудницы и

мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать гляцевитые рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

— Ее казнили? — спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

— Это уж как водится, — ответил Арсенич. — Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

— Вам ее жалко?

— Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувственного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, — сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. — Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого роду, отменная красавица и бездушная кокетка...

— А где она жила? — спросили дети, пер-

хая от дыма. — В лесу?

— Нет-с, это ей потом господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в просторной и чудной квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, — попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного и с трезвого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязанности: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

— А вы у ней в гостях были? — спросил Ва-
дя.

— Статочное ли дело-с! — сказал Арсе-
нич. — Я, сударь, холоп простой, дворовой че-
ловек всего-навсего. Меня оттуда господа пал-

ками выгнали бы; да и поделом было бы!

— А дедушка?

— Дедушка — те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рождались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, примять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зрить не могу... Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и

говорит, что, мол, так и так... граф проиграл в штос вес свое состояние и хочет на последние свои средства... — Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... — и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил се своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, — сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на богоматерь. — Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, дева Мария, моя мука — живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

— Все? — тихо спросили дети, дожждав продолжения.

— Нет-с, не все еще, — со вздохом облегче-

ния сказал Арсенич. — Они, докладывая вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудала, стала еще прекраснее прежнего и совсем отворотилась, например, от бездушной светской жизни, стала negliжировать своими обязанностями и уж ни за какие блага в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески мальтретировать, она же безо всякого ответа собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голландское белье в узелочек, да и

удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрыжут да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то — конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у бога вечной-бесконечной жиз-

ни.

— Где тля тлит, — добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

— Нет, сударь, не тля, — сказал Арсенич, — а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на покой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее дозволить списать с нее образ царицы небесной, всех скорбящих радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», — ну, словом, почесть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту — такой обет богу дала... Но только тот старец остается, например, непре-

клонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуеться, наконец, самой матери игуменье... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь несть... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, — воскликнул Арсенич, качая головой, — что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дите в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

— Они ее убить велели? — спросил Митя.

— Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, — сказал Арсенич. — И вот извольте подумать, что она должна была почувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старлица то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.

— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

— Где орлы скрывают, — добавил Вадя.

— Истинно-с, где орлы скрывают и всякий зверь необузданный съесть может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рыси голосят, глядят с

дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, — Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, — летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь — полночь проснулась вся обитель от такого шума, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своей студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит ча-

ща дремучая — и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди — и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец-живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? — воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

— Ее в монастырь принесли? — спросили дети.

— Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладывались... Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, — великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

— А вы будете святой?

Арсенич закачал головой.

— Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

— А вы это все сами выдумали?

— Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках, — у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нонешнего веку... Мне господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, помогают. Этот прелестный дар — слезный дар

называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче декламировал:

*И в последний мой час я завет
вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою!*

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косогорам за лугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой, покачивал в такт головою.

— Ах, но и светская жизнь хороша-с! — сказал он, вздыхая. — И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— А зачем?

— А затем-с, что все бы жил, смотрел, на божий свет дивился... Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной

печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика Вонифатия — и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был... раб крепостной, только и всего-с... И уж совсем иного склада: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем... Пишут его, например, на образах русым... в житии так прямо и сказано: желтоволос был, — значит, весь, небось, в веснушках, ростом не велик и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдалицы. Был он в городе Риме у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал — ну, и пленил ее... В житии, конечно, уж очень бездушно сказано — мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в беззаконном сожителстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется, — вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе... Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним, небось, как за ребенком заботится, — есть такие женщины ласковые,

прелестные, богомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте... Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и вино пьет, — в житии так и сказано: был обуреваем страстями, погрязал в грехах, — а она все дома, шьет, небось, ому что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ому, вроде матери... Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишком... И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни бога, например, не боялась, а живем мы все-таки не венчанные, не признанные — надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя — снаряди корабль, возьми золота, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Таре, там много святых страстотерпцев свои главы за Христа сложили... Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжа-

ет корабль парусный, устиляет его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой дворовой прислугой...

— А дорогой буря поднялась? — спросили дети.

— Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса — и отправляется он в этот город Таре, в гостиный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит, например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно, беспечный, беззаботный, напевает свою арию и вдруг слышит страшный шум... Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посередине площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан, — кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, — а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да

святится имя господне, Христово, пречистое!» И как услышал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь, — в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя господне, — кинулся в самый народ, выскочил наперед всех, да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня — хочу и я пострадать за спасителя!» Тут все, понятно, к нему — ужасаются за него, уговаривают — побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело... А он все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склочить, прельстить — проклинаяю ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою голушушку...

— И принял мечное сечение, — добавил Вадя тихо.

— Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! — воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней

своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. — Ну, да что! — прошептал он потом, отвертываясь и ловя по столу свой платок. — Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожащую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

— Вам Вонифатий больше нравится? — строго спросил Митя.

— Грешный человек, — прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, — уж очень мне его кураж нравится!

Капри. 23 января 1914

Весенний вечер*

На Фоминой неделе, в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда земля только что вышла из-под снега, когда в степных лощинках еще лежит под голыми лубками серый затвердевший снежок, ходил по одной елецкой деревне, от двора к двору, старик-нищий — без шапки, с длинной холщовой кисой через плечо.

Деревня эта большая, но молчаливая, полевая. Да и вечер такой выдался. Пусто было вдоль бесконечно разлившегося глинистого пруда, на ровном выгоне, где, в тени от изб и пунек, шел, держа в руке высокую ореховую палку, этот лысый и еще черный старик, похожий на святителя. Выгон чисто, ярко зеленел, в воздухе свежело, пруд, выпукло-полный, зеркально-телесного тона, очень хорош был, хотя еще плавала на нем одна бутылочно-зеленая льдина. Где-то на том боку, тепло и ласково освещенном в упор низким солнцем, — где-то, как казалось, очень далеко, — плакал ребенок, заблудившийся за какой-нибудь ригой или амбаром, и мило было слу-

шать по заре его жалобный однообразный плач... Но подавали плохо.

Там, при въезде, возле старого богатого двора с вековыми дубами в грачиных гнездах, за красной кирпичной избой в три связи, подала молодая сероглазая бабочка, да и то пустяк. Стояла она у каменного порога среди подсыхающей весенней грязи, на тугой тропинке, держала сидевшую у нее на руках хорошенькую девочку с бессмысленными голубыми глазами, в разнолокутном чепчике, и, прижимая ее к себе, плясала, притоптывала босыми ногами и повертывалась, раздувая ситцевую юбку.

— Вон старик, сейчас в сумку отдам, — заговорила она сквозь зубы, впиваясь губами в щечку девочки.

*Пнайду плясать,
Альни пол хрустит...*

И, перевернувшись, переменила голос на звонкий, кому-то подражающий, кокетливый:

— Старик, старик, не надобно ли вам девочку? Девочка не испугалась, она спокойно

сусолила толстую баранку — и мать, шутя, на все лады, стала уговаривать девочку отдать ее подошедшему и улыбававшемуся нищему:

— Отдай, деточка, отдай, а то мы с тобой во всем дворе одни-одинешеньки, нам и милостинку сотворить не из чего...

И девочка тупо протянула короткую ручку, свой маленький кулачок с зажатой в нем слюнявой котелкой. И нищий, с улыбкой качая головой на чужое счастье, взял и пошел, на ходу закусывая.

Он шел, держа палку на отлет, наготове: то кубарем катится под ноги злая хрипучая шавка — и, докатившись, неожиданно смолкает; то желтый пушистый кобель яростно дерет, кидает землю задними ногами, стоя возле пуньки, и рычит, захлебываясь, с огненными глазами... Подойдя к избе, к маленькому окошечку, нищий смиренно кланялся и легонько стучал батошкой в раму. Но часто никто не отзывался на этот стук: еще досевали, допахивали многие, были в поле. И старая крестьянская душа даже втайне радовалась: в поле народ... это время год кормит... не до нищих... А порой за стеклами, в которые постукивал ни-

ций, склонялась сидевшая на лавке с грудным на руках белолицая баба. В окошечке, маленьком, бедном, она казалась очень большой. Ничуть не стыдясь, что нищий видит ее мягкую пшеничную грудь, она махала крупной рукой в серебряных кольцах, а ребенок, не выпуская сладкого соска изо рта, лежал, смотрел ей в лицо темными ясными глазами, драл голые каряки в розовых точках от блох. — «Бог даст, не прогневайся!» — говорила баба спокойно. Что до старух, то каждая, болезненно морщась, непременно высовывалась наружу и долго жаловалась, все твердила, что рада б радостью подать, да нечего... все в поле... а без спросу боязно, ее, старуху, и так заглодали... Нищий соглашался, говорил: «Ну, прости за ради бога», — и шел дальше.

Он сделал за день верст тридцать и ничуть не утомился: только одеревенели, притупились, стали неладно вилять ноги. Длинный мешок его был до половины набит корками и кое-каким добришком; а под низками, под армяком в больших заплатах, под овчинной курткой и заношенной рубахой, давно висела на кресте ладанка, где зашито было девяносто

два рубля бумажками. И на душе у него было покойно. Конечно, стар, худ, выветрился, — рот стянутый, пересохший дочерна, нос как кость, шея вся в трещинах, клетчатая, точно пробковая, — но бодр еще. Глаза, когда-то бывшие черными, гноились и туманились легкими бельмами; да все-таки видели — и полноводный пруд, и розовый свет на избах на том боку, и даже чистое бледное небо. Воздух свежел, слышнее, но как будто еще дальше замирал детский плач, пахло холодеющей травой... Два голубя дружно пронеслись над крышами, пали па глинистом берегу пруда и, подымая головки, стали пить... Давеча на большой дороге, в одиноком дворе, расщедрились бабы: подали большой кусок коленкора и хорошие, совсем еще хоть куда штаны: справил себе ихний малый, да придавило его в яме, в пищуге, где мужики глину копали. Теперь нищий шел и думал: не то сбывать их, не то самому надеть, а свои, уж очень непарадные, в поле под межу кинуть?

Кончив деревню, он пошел в короткий переулочек, на выезд в степь, И в глаза ему глянуло лучистое, погожее апрельское солнце,

опускавшееся далеко за равниной, за серыми парами и яровыми взметами. На самом выезде, на повороте указанной блестящей дороги в ту дальнюю притынную деревушку, где думал заночевать нищий, стояла небольшая новая изба, плотно крытая вприческу лимонного цвета старновкой. Ото всех отделись, поселились тут с год тому назад, — еще щепка валялась кое-где, — муж с женой, люди хозяйственные и приятные, тайком торговавшие водкой. Нищий и пошел прямо к этой избе: штаны можно было продать хозяину ее; да любил он и просто заходить в нее, любил за то, что живет она какой-то своей особенной жизнью, тихой и прочной, стоит на выезде и глядит чистыми окошечками на закат солнца, при котором допевают в холодеющем воздухе свои вечерние песни жаворонки. Под глухой стеной, выходящей в переулок, была тень. А с лица было весело. Прошлой осенью хозяин посадил под окошечками три куста акации. Теперь они принялись и уже опушились желтоватой зеленью, нежной, как на вербе. Обойдя их, нищий вошел через сени в горницу.

Сперва, после солнца, он ничего не видел, хотя солнце и сюда глядело, освещая голубой прозрачный дым, плававший над столом, под висячей жестяной лампой. Выгадывая время для глаз, он долго кланялся, крестился на новую фольговую икону в углу. Потом сложил мешок и палку возле двери на пол и различил крупного мужика в лаптях и оборванном полушубке, сидевшего спиной к двери, на скамейке за столом, а на лавке — нарядную хозяйку.

— Благодать вам господня, — негромко сказал он ей, еще раз кланяясь. — С прошедшим праздником.

Хотел было спеть «Христос воскресе», да почувствовал, что будет некстати, и подумал:

«А хозяина-то, знать, дома нету... Жалко...»

Хозяйка была хороша собой, с ладным станом, с белыми руками, точно и не баба простая. Одета она была, как всегда, по-праздничному: перловое ожерелье, миткалевая сорочка с тонкими вздернутыми рукавами, красным и синим расшитая занавеска, шерстяная кубовая юбка в кирпичную клетку и грубые, но крепко и по ноге сшитые полусапожки со

стальными подковками. Склонив аккуратную голову, чистое лицо, она вышивала рубаху мужу. Когда нищий поздоровался, она подняла на него твердые, без блеску глаза, пристально посмотрела и приветливо кивнула. Потом, легонько вздохнув, отложила работу, ловко воткнула в нее иголку, прошла, постукивая по деревянному полу полусапожками и виляя задом, к печке, вынула из шкапчика косушку водки и толстую чашку в синих разводах.

— А притомился, однако... — как бы про себя сказал нищий — и в извинение за водку, и слегка смущаясь молчанием не повернувшегося к нему мужика.

Мягко ступая лаптями, скромно обойдя его, он сел на другую лавку, на угол стола, напротив. А хозяйка поставила перед ним косушку, чашку и вернулась к работе. Тогда тяжело поднял голову этот здоровый оборванный степняк, — перед ним зеленел полштоф, — и, прищурившись, уставился на своего скромного собутельника, Может, он и притворялся малость; но все же лицо его воспалено было, глаза пьяны, налиты мутным блеском хмеля,

пересмягшие губы полураскрыты, точно в жару: видно, уж не первый день пил он. И нищий слегка подтянулся и осторожно стал наливать свою чашку. Что ж, мол, всякий свое пьет... тут шинок, и мы друг дружке не мешаем. Он поднял голову, и туманно-черные глаза его цвета спелого терна и весь выветренный и загрубевший в степи лик ничего не выражали.

— Где таскался? — грубо и шало спросил мужик. — Воровать пришел, благо народ в поле?

— Зачем воровать? — ровно и скромно отозвался нищий. — У меня шесть человек детей было, свой дом, хозяйство...

— Слепой, слепой, а небось сколько натаскал перьев, прутьев у свою яругу!

— Зачем? Я в черной работе на шахтах харьцызских десять лет работал...

— Энто не работа. Энто...

— Ты лишнего не говори, — не возвышая голоса, не поднимая ресниц, сказала хозяйка и перекусила нитку. — Я похабного не слушаю. От мужа еще не слыхала.

— Ну, молчи, не буду... барыня! — сказал

мужик. — Низвините... Я тебя испрашиваю, — сказал он, нахмуриваясь, нищему, — какие такие шахты, когда земля не сеяна, не скорожена?

— Да ведь, конечно... у кого она есть, к примеру...

— погоди, я тебе умней! — сказал мужик, хлопнув ладонью по столу. — Отвечай на вопрос: в солдатах служил?

— Ундер-цер десятого гренадерского малороссийского генерал-фитьмаршала графа Румянцева-Задунайского полка... Как же так не служил?

— Молчи, не вякай лишнего! В каком году взяли?

— Семьдесят шестом году, в ноябре месяце.

— Ничем не был провинен?

— Никак нет.

— Начальство ублажал?

— Не мог того не делать. Присягу примал.

— А это что за шрам на шее? Понял ай нет, куда я вижу? Это я его испытываю, — сказал мужик, угрюмо двигая бровями, но меняя властный тон на более простой и обращая к хозяйке свое шальное лицо, золотисто освещенное.

ценное сквозь табачный дым закатом. — Я его насквозь вижу... Не лаптем щи хлебаю!

И опять нахмурился, взглянув на нищего:

— Перед святым крестом-евангелием преклонялся?

— Так точно, — ответил нищий, успевший выпить, вытереться рукавом, сесть опять прямо и придать своему лицу и туманным глазам бесстрастное выражение.

Мужик мутно оглядел его:

— Встань передо мной!

— Не шуми. Тебе сказано ай нет? — спокойно вмешалась хозяйка.

— Постой ты за ради бога, — отмахнулся мужик и повторил: — Встань передо мной!

— Да что-й-то вы, ей-богу... — забормотал было нищий.

— Встань, тебе говорят! — крикнул мужик. — Я тебе вопрос сделаю.

Нищий поднялся и переступил с ноги на ногу.

— Руки по швам! Так. Пачпорт есть?

— Да ай вы урядник, что ли...

— Молчи, не смей так со мной балакать! Я умней тебе! Я сам тянулся. Показывай сию

минуту!

Покорно, поспешно отстегнув крючки армяка, потом овчинной куртки, нищий долго рылся за пазухой. Наконец вытащил завернутую в красный платок бумагу.

— Поддай сюда, — отрывисто сказал мужик.

И, развернув платочек, нищий подал ему истертую серую книжечку с большой сургучной печатью. Мужик неловко раскрыл ее корявыми пальцами и, делая вид, что читает, далеко отставил от себя, откинулся и долго смотрел сквозь дым в краснеющий свет зари.

— Так. Вижу. Все в аккурате. Бери назад, — с трудом сказал он спекшимися губами. — Я беден, беден, я, может, другую весну не пашу, не сею... меня люди зарезали, а у него, у собаки, в ногах валялся... а мне, может, цены нету... А что наворовал, сказывай, а то убью сейчас! — крикнул он свирепо. — Я все знаю, все приизошел... сам в смоле кипел... Жизнь нам господь дает, а отымает ее всякая гадина... Давай сюда мешок, и боле никаких!

Хозяйка только головой качнула и отклонилась от вышивки, разглядывая ее. Нищий пошел к двери, подал мужику и мешок. Му-

жик взял, подложил возле себя на скамейку и, приминая его, сказал:

— Правильно. Теперь садись, давай побалакаем. Я все эти дела разбюру. Я свою ревизию сделаю, не бойся!

И замолчал, уставившись в стол.

— Вясна... — пробормотал он. — Ах, да несчастная субботушка, нельзя в поле работать... Делай! — крикнул он, стараясь щелкнуть пальцами. —

*Пошла барыня плясать,
Голубые пальцы...*

И опять замолчал. Хозяйка заглаживала наперстком вышивку.

— Я корову пойду доить, — сказала она, поднимаясь с места. — Огня без меня не вздувайте, а то еще пожару спьяну наделаете.

Мужик очнулся.

— Господи! — воскликнул он обиженно. — Хозяюшка! Да неужто мы... Об мужу небось скучились?

— Это не твоя печаль, — сказала хозяйка. — Он в городе, по делу. По кабакам не таскается.

— Потаскаешься! — сказал мужик. — Что ж мне, ай под дорогу теперь выходить? Вам, чертям, богатым, хорошо...

Хозяйка, захватив подойник, вышла. В избе темнело, было тихо, и розовый свет разливался в темноте, мягкой, весенней. Мужик, облокотясь на стол, дремал, насасывая потухшую сигарку. Нищий сидел смиренно, неслышно, прислоняясь к темному простенку, и лица его почти не было видно.

— Пиво пьешь? — спросил мужик.

— Пью, — послышался негромкий ответ. Мужик помолчал.

— Бродяги мы с тобой, — сказал он хмуро и задумчиво. — Сволота несчастная... побирушки... Мне с тобой скушно!

— Это правильно...

— А пиво я люблю, — опять помолчав, громко сказал мужик. — Не держит, стерва! А то бы я и пива выпил... и закусил бы... у меня язык намок, есть хочется... Закусил бы и выпил... да... А эта, хозяйка, хороша лицом! Мне бы такую-то на пристяжку, я бы... Ну, ничего, сиди, сиди... Я слепых уважаю. Придет престольный праздник, я их, слепых-то, бывало,

человек двадцать за стол посажу, у нас двор был — поискать такого-то! Они мне и стих споют и поклоняются... Стихи можешь петь? Про Алексея Божьи человеки? Я этот стих долюбую. Бери чашку, — своей угощу...

Взяв из рук нищего чашку, он поднял ее на слабый свет зари и налил до половины. Нищий встал, низко поклонился, вытянул чашку до дна и опять сел. Мужик потащил к себе на колени его мешок и, развязывая, забормотал:

— Я тебя сразу понял... У меня, брат, денег хватит, я тебе не ровня... Я их хладнокровно проживаю... пропиваю... В год по лошади пропиваю, по хорошему барану прокуриваю... Ага! Накололся на мужичка, понял, кто я такой? А мне тебя жалко... Я понимаю! Вас, таких-то, тыщи весеннее время идут... Грязь, чичер, ни пути ни дороги, а ты иди, кланяйся... Да еще не то дадут, не то нет... Брат! Разя я не понимаю? — спросил мужик горько, и глаза его налились слезами.

— Нет, вешнее время ничего, хорошо, — тихо сказал нищий. — Идешь полем, большаком... один, как есть... Опять же солнушко,

тепло... Правда, большие тысячи нас таких-то идут.

— Я две лошади пропил, — сказал мужик, выгребая из мешка корки, вытаскивая жилетку, коленкор, штаны и лапоть. — Я все твои хрупки, лохмотья несчастные разберу... Стой! Брюки! Это я у тебя, с деньгами справлюсь, обязательно куплю... Сколько?

Нищий подумал.

— Да я бы за два отдал...

— Трояк дам! — сказал мужик, поднимаясь, подсовывая под себя штаны и садясь на них. — Мои! А лапоть где другой? Совсем новый, — значит, обязательно украл... Ну, да уж лучше воровать, чем так-то, не хуже меня, сердце себе терзать вешнее время, с голоду околевать, сенцы последние раскрывать, когда последний пастух, и тот при делу... Я лошадь пропил, а она, скотина-то, дороже человека стоит... Ай я не пахарь, не косец? А теперь пой стих, а то убью сейчас! — крикнул он. — Мне с тобой скушно!

Дрожащим, скромным, но привычным голосом нищий запел из темноты:

Жили-были братья родные,

Богом Христом братья сводные...

— Ах, да и своднаи! — высоко и жалостно подхватил мужик, надрываясь.

Нищий ровным церковным напевом продолжал:

*Один беден-скуден,
У гною-проказе...*

— А другой бога-атый! — не в лад, заглушая его, со слезами в голосе подхватил мужик. — Сердитей! — крикнул он, срываясь. — Мне горе съело, у всех людей праздник, у всех людей севы, а я грызу землю, она, родимая, другую весну у меня пустуя... Поддай сюда чашку, а то убью сейчас! Открой мне окошко!

И опять нищий покорно подал чашку. Потом стал отворять окно. Новое, оно забухло и долго не подавалось. Наконец, подалось, распахнулось. Свежо, хорошо запахло полем. Поле было уже совсем темно, розовая заря потухала, чуть реяла над мягкой тьмой его, тихого, счастливого, оплодотворенного. Слышно было, как допевали свои самые последние песни полусонные жаворонки.

— Пой, Лазарь, пой, родный мой братец! —

сказал мужик, протягивая нищему полную чашку. — Оба мы с тобой... Только что ты передо мной? Бродяга! А я рабочий человек, всех страдащих поилец-кормилец...

Он тяжело, срыву сел и опять полез в мешок.

— А это что у тебя такое? — спросил он, разглядывая коленкор, чуть порозовевший от едва уловимого света зари.

— Так... бабы подали, — сказал нищий тихо, чувствуя, что от хмеля все плывет под ним, что пора уходить и что надо как-нибудь вытянуть из-под мужика штаны.

— Как — так? Брешешь! — крикнул мужик, ударяя кулаком по столу. — Это саван! Вижу! Это гробный саван! — со слезами крикнул он, отпихнул от себя мешок и, замотав лохматой головой, заплакал. — Возгордился я на бога! — горько сказал он, плача.

И, натуживаясь, ладно, сильно запел:

*Зародила-сохранила меня мать,
Непростительного!
Усе муки приызашел,
Все печали приызашел,
Нигде счастья не призрел!*

*Говорила мне мать,
Приговаривала:
Кабы знала-ведала,
Такой чады никогда
Не стерпела бы...*

— Душа моя грешница, веретенница! — дико закричал он, плача, и вдруг с жутким хохотом захлопал в ладоши. — Нищий человек, отдай мне свои деньги! Я тебе насквозь знаю, я тебе насквозь чую — отдай! Знаю, что есть! Не может быть, чтобы не было, — отдай за ради самого господа бога!

И, шатаясь, поднялся, и у нищего, тоже поднявшегося, отнялись ноги от страха, заныло в ляжках. Заплаканное лицо мужика, чуть видимое в сумерках, было безумно.

— Отдай! — повторил он сразу охрипшим голосом. — За ради царицы небесной — отдай! Вижу, вижу — за грудь, за пельки ухватился, — значит, есть, — у вас у всех есть! Отдай — тебе все равно ни к чему, ты в гробу одной ногой, а я навек человеком стану! Отдай добром, — брат, родный, не доводи до греха!

— Никак нет, — тихо и бесстрастно сказал нищий.

— Как?

— Никак нет. Двадцать лет собирал. Не решусь.

— Не отдашь? — сипло спросил мужик.

— Нет, — едва слышно, но непоколебимо сказал нищий.

Мужик долго молчал. В темноте было слышно, как у обоих стучали сердца.

— Хорошо, — с безумной покорностью проговорил мужик. — Я тебе убью. Пойду, найду камень и убью.

И, шатаясь, пошел к порогу.

Нищий, прямо стоя в темноте, широко и медленно перекрестился. А мужик, быком склонив голову, уже ходил под окнами.

Потом послышался хруст, — видно, он выдирает камень из фундамента.

И через минуту дверь снова хлопнула — и нищий вытянулся еще более.

— Остатний раз тебе говорю... — пробормотал мужик спаленными губами, подходя к нему с большим белым камнем в руках. — Брат...

Нищий молчал. Лица его не было видно. Размахнувшись левой рукой и поймав нище-

го за шею, мужик крепко ударил его в откачнувшееся лицо холодным камнем. Нищий рванулся назад и, падая, задевая лаптем стол, стукнулся затылком об лавку, потом об пол. И, навалившись на него, мужик стал яростно, сдавив в груди дыхание, перебивать ему камнем горло.

Через десять минут он уже был далеко в темном ровном поле. Было звездно, свежо, металлически пахло землей. Совсем трезвый, он шел так быстро и так легко, что, казалось, можно было еще сто верст пройти. Ладанку, сорванную с креста нищего, он крепко держал в кулаке. Потом вдруг швырнул в темные взметы. Глаза его стояли по-совиному, зубы были стиснуты, как клещи. Раскрытую голову, — шапку он не нашел в темноте, хотя искал долго, — обливало холодом. Она была как каменная.

Капри. 31 января. 1914

Тень Птицы*

Тень Птицы*

I

Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля, с утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики.

Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие, плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки...

*Quocumque adspicias nihil est nisi pontus
et aer...*

Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва

означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее...

Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с одесской горы в этот постоянно волнуемый меня мир порта — в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, волов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедек, проносащих над головами огромные клады, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань — и, с грохотом сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую

связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место — в наступившей тишине, под стеклянное треньканье телеграфа, начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце — и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним, солнечный свет и ветер переменяли по бортам места...

Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись

воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за триста миль от тебя... В пути со мною Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!» И вот, в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:

— «Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги...

— Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...

— И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо — в пятницу в месяце Шеввале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия...

— Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!

— Много странствовал я в дальних краях земли, — читаю я дальше.

— Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.

— Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!

— Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!»

В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце, — тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...

— «Да, да! Да, да!» — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу.

Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у ре-

шетки борта: густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом, делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии... Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном... Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежащую мачту бугшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа, — и вдруг из-под него стрелой вырывается острокрылая туша дельфина, за ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции. Потом на Ниле, близ Сфинкса... И пойду к Баальбеку, к руинам ка-

пища, «воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии»...

II

Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира, против солнца блеснули круглые глаза бинокля; уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты Малоазийских и Балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головою, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бачкосы, с подвернутыми штанами, матросы. Жадно смотрю вперед — и, наконец, различаю, что предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора.

Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы.

Вот поднялись справа и слева белые маяки — и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, — прелестным сладковатым ароматом, похожим на

аромат сухой трухи в дуплистом дереве.

Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Коваки.

Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис...

— Отдай! — ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе.

И с грохотом летит вниз стопудовый якорь...

Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемой на языке старой Турции «Вратами счастья», несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром Полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей — караван верблюдов, нагруженный гробами.

«Возвести народам о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних стран пешком и на быстрых верблюдах», — были начертаны над гробами слова

Корана.

Да, они были когда-то, эти святые города. Бьиги благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имение свое на нищих, калек и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма:

— Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных!

Были шитые золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей... Но давно уже —

*Паук заткал паутиной царские
входы,
И ночная сова кричит на башне
Афразиаба...*

Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извилам Босфора и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких

домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени... Ветхость, запустение — как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору! Ветхость — и чудовищные руины Румели-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатоли-Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение — и роскошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива, эти сплошные сады и селенья, каики из золотой лакированной ясени, устланные бархатными коврами, на которых полулежат щеголи-греки в фесках, турецкие офицеры с меланхолически-прекрасными девичьими глазами или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...

Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз, — и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холми-

стых прибрежьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым — копия минаретов и полусферы на султанских мечетях... При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты... Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов — смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами — огуречной свежестью... Солнце меж тем скрывается за Стамбулом — и багря-

ным глянецом загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэзинов...

В старых святых городах Ислама для этих вечерних славословий еще до сих пор предпочитают глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей ночи! А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза... Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него... Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища... Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги... Вижу, среди запущенного серальского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и

дворца Константина...

— Возвышается София над городом, как корабль на якоре! — говорили когда-то.

Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые... И как чужд он всему — он и София — даже здесь, в старом Стамбуле!

Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать — и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам — вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:

— Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!

Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша — ему уже за сорок —

улучает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.

Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.

Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую коротко стриженную, серебристо-сизую голову... Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстуке в виде летучей мыши...

III

Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари, — в этом старинном хане всех караванов Азии, — на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную грудку верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной ску-

тарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево...

— Селям! — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофеен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. — Селям! — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и

черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.

И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем Бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!

Не то Галата. Недаром Галату называют по-мойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.

Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможни, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэззинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запирааться.

Но какое дело до изана Галате!

По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными бочками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой — сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу

темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней — крупных изумрудов, брильянтов и рубинов — рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной! От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровен, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух зноен и душен. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов, дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено-сильные басы водоносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые чернома-

ые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов: один за другим бегут шумные колесные пакеботы, переполненные народом, с загородных гуляний...

IV

Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты.

Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами.

Окна верхних этажей еще светят, но лавки и склады нижних давно заперты, и в проходах мрак: только бродят кое-где, низко над мостовую, фонарики нищих, выбирающих из уличного сора корки хлеба, окурки, жестянки, бутылки из-под оливкового масла. Поминутно натыкаюсь на спящих собак, на сторожей, звонко бьющих на ходу железными дубинками в мостовую, на огоньки сигар, на разговоры мелькающих мимо матросов и других ночных гуляк. Из освещенных окон тоже слышится говор и смех или прыгающие

звуки шарманок с позвонками... Но дом подворья тих и темен.

Привратник, спящий в прохладных сенях, за тяжелыми полукруглыми дверями, не спеша отворяет — и, вместе с темнотою, меня охватывает запах плесени, сырости.

Тот же запах и в гулких каменных коридорах, по которым, со свечой в руке, бежит впереди меня молодой монах в мужицких сапогах, в черном подряснике и черной вязаной шапке, рябой, с бирюзовыми живыми глазами, с торопливо-услужливыми движениями.

В высоком номере, крашенном масляной краской, очень чисто, кровать покрыта грубым, но свежим бельем. Быстро раздеваюсь, тушу свечу и засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами и нескладной, страстно-радостной и в то же время страстно-скорбной восточной музыки, прыгающей в лад с позвонками.

Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона колокола в верхнем этаже подворья. И, одеваясь, вижу в окно вымпела за домами, а внизу — узкую

улицу, еще влажную, в прохладной тени, но уже полную деревенскими бараньими шапками погонщиков и целыми стадами ослов, на которых качаются корзины дров, овощей и сыра... Слава богу, день солнечный — я опять увижу Ая-Софию в солнечное весеннее утро!

Герасим стоит возле подворья и рассеянно болтает с монахами, поминутно пожимая, по южному обычаю, плечом. Сегодня он в старом картузике с пуговкой, но зонт, который никогда не раскрывается, опять с ним.

Обмениваемся улыбками и пускаемся в путь.

Из окон тянет вонюю оливкового масла, в котором шкварят рыбу, летят на улицу помои и слышится бранчивая скороговорка гречанок. Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шляпах, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза. Сплошная волнующаяся масса черных баранов, мелко перебирающих копытцами, теснится под азартные крики чабана, а среди них, на ху-

денькой лошадке, на деревянном седле, опутанном веревками, пробирается старик-турок, лопоухий, лилово-бурый от загара, в тюрбане и бараньей куртке, с седыми курчавыми волосами на раскрытой груди. За ним бежит и на бегу орет диким голосом босоногий водонос с мокрым сизым бурдюком на спине. Дальше идут длинноухие, задумчивые ослики под корзинами с мусором и кирпичами, тяжело и быстро семенит носильщик-армянин, согнувшийся в три погибели под огромным зеркальным шкапом, от которого по домам мелькают веселые блики солнца. Ковыляют на французских каблучках две толстенных турчанки, с головой закутанные в фередже цвета засушенной розы.

«Лица их, — думаю я словами Корана, — похожи на яйца страуса, сохраненные в песке».

Но приподнялось как будто случайно покрывало — и я убеждаюсь, что прав Саади:

«Не всякая раковина беременна жемчужом».

Зато сколько красивых, умных и энергичных мужских лиц, особенно среди турок из

простонародья, из провинций, с берегов моря! Сколько гордых и приветливых глаз!

Переулки между этими высокими домами возле набережной похожи на переулки в порту Генуи, Марселя. «Сюда, сюда!» — говорит Герасим, в десятый раз поворачивая за угол. И вот опять пахнуло ванилью, рогожами, арбузной свежестью зелено-голубой воды, — и в глаза глянули ослепительное солнце, голубой простор рейда, крылья белых рыбалок, мачты барок, черные с разноцветными полосами трубы, белая башня Леандра у берегов Скутари... Опять хлопают бичами извозчики, опять в быстро текущей толпе кричат газетчики, водоносы с кувшинами розовых напитков, продавцы бубликов и приторно-сладких греческих печений, насквозь пропитанных ореховым маслом... И не успеваю я сесть на крохотный табуретик возле кофейни, жарко нагретый солнцем, как лиловый арабчонок в одной синей женской рубаше уже тянет мой сапог на скамеечку, расцвеченную фольгой, жестью, медными гвоздиками.

— Рух! — говорю я сердито.

Но в это время надо мной раздается оглу-

шительный бас:

— Газо-ос! — орет он, удаляясь.

И мой сосед справа, миловидный турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголки и с блестящим медным полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, черный старик в белом халате и белой чалме, в больших желто-зеленых очках, без носа, с голой верхней губой в лиловых швах, важно поднимает свою мертвую голову, булькая кальяном.

И я покоряюсь арабчонку.

В это жаркое солнечное утро все хорошо: и блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи.

Потом мы покупаем каких-то желтых сладко-пахучих цветов у ласкового турка, сидящего на корточках возле своей корзины, поставленной прямо на мостовую, и по дрожащим от топота копыт бревнам моста Валидэ спешим в густой толпе в Стамбул.

Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на

горе Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста пакеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом... Опять маскарад, но еще более пестрый и праздничный, чем вчера! И дружно мешают этот маскарад венские сюртуки с рыжими верблюжьими куртками, панамы с бараньими папахами, светлоглазого англичанина с сизыми бедуинами, гиганта-черногорца в белом шерстяном наряде, шитом золотом и обремененном оружием, с худосочным польским евреем, коричневую рясу францисканца с негром, сестру-кармелитку с китайцем с неподвижной головой, с черной косой до пят и в лиловой кофте... Все это льется от Султан-Валидэ к самому людному месту Галаты — к углу набережной, к бирже и столикам уличных менял, и от биржи — к Султан-Валидэ, где останавливаются вагоны конки, где вечная теснота фиакров, разносчиков, цветочников, нищих, полуголых прокаженных, сидящих на мостовой, и теснота базаров, заваленных коврами, оружием, медной посудой, сырами, зеленью, шафраном, сбруей, фруктами и туфлями — сотнями связок лиловых, канареечных, черных и оливковых ту-

фель, висящих на стенах подобно сушеной рыбе на шнурках.

Здесь, на маленькой площади, всегда тень и влажная прохлада под стенами мечети, где, у фонтана возле портала, проходящие, сидя на корточках, торопливо и таинственно совершают омовения среди содово-грязных короткошерстных собак. Дальше, возле кофеен и за старыми стенами, ярко зеленеют деревья. Чем дальше мы поднимаемся по улице, идущей слегка в гору, влево, тем все тише и безлюднее становится вокруг. И уже совершенное безлюдье царит у высоких ворот Старого Сераля, при входе в его запущенные сады и широкие дворы, заросшие травой и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит.

Герасим косится и мистически шепчет:

— Смотри, смотри, с крестом!

За внутренними стенами Сераля, охраняющими покои, недоступные для европейца, расцветают под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит, по древнему обычаю, Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет

незримое присутствие этих юных затворниц в садах Серая, где зеленая трава пробивается из древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора и белым и розовым цветом цветут чащи деревьев в оврагах возле Старого Музея, облицованного лазурными фаянсами, пригретого жарким солнцем под бальзамически благоухающими кипарисами. В мире, в котором я существую, нынче весеннее утро, здесь — тишина, узорчатые тени, пение птиц и незримое присутствие девушек за стенами мертвых дворцов. Я заглядываю в их ворота, в аллею платанов за воротами, выходя на горячий солнечный свет, на зеленый Двор Янычар. Древний дуплистый Платан Янычар дремлет на припеке возле тысячелетней св. Ирины, давно обветшавшей и обращенной в склады старого оружия. Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Серая, к обрыву мыса, нас охватывает свежесть моря — и снега: в блеске солнца, в золотисто-голубой дымке тонет зыбкий простор Пропонтиды, миражем означаются силуэты Принцевых островов и заступивших горизонт Малоазийских гор — там смутно рисуется в

небе что-то мертвенное, некое подобие неподвижного облака.

— Олимп! — говорит Герасим.

Я навожу морской бинокль — и различаю блестящие пустыни снежных полей Олимпа, его теснины, полные утренних фиолетовых теней, и мне кажется, что на меня тянет оттуда зимним холодом.

А когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии: громаду неуклюжую, выходящую из циклопических каменных подпорок и пристроек, над которыми, в каменном кольце окон, царит одно из чудес земли — древне-приземистый, первобытно-простой, огромный и единственный на земле по легкости полушар-купол. И четыре стража этой грубой громады, скрывающей в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых минарета исполинскими копиями возносятся по углам ее в синюю глубину неба.

— Где вход? — говорю я.

Я опять не сразу нашел бы его, но Герасим уже идет в какой-то узенький переулок, где

на солнце пахнет сухими нечистотами, потом поворачивает в другой и по отлогому спуску, мощенному камнем, мы подходим к боковому portalу, завешенному тяжелой завесой из буйволовьк кож.

Дико это, первобытно, но как хорошо! Нравится мне и обычай надевать, входя, туфли: так когда-то у входа в святилище оставляли пыльные сандалии...

Сумрак, холод и величавая громадность капища охватывают меня в тройном портале. А когда я вступаю в храм, пигмеями кажутся среди его необъятного простора и необъятной высоты фигурки молящихся — сидящих на огромной площади ухабистого от землетрясений мраморного пола, сплошь покрытого золотистыми скользкими циновками из тростника. Шестьдесят окон пробили купол, и никогда мне не забыть радостного солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! И светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом, тишина, нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе, да певучими, печально-задум-

чивыми возгласами молящихся, гулко и музыкально замирающими среди высоты и простора, среди древних стен, в которых немало скрыто пустых амфор-голосников. Первобытны эти милые голуби, их известковый помет, падающий с высоты на циновки. Первобытно-просты огромные железные люстры, низко висящие над циновками на железных цепях. Величава и сумрачна окраска исполинских стен, шершаво полинявшее золото сводов. Капищем веет от колонн, мутно-красных, мутно-малахитовых и голубовато-желтых. Таинственностью капища исполнены и призраки мертвых византийских мозаик, просвечивающих сквозь белила, которыми покрыли их турки. Жутки чуть видные лики апокалиптических шестикрылых серафимов в углах боковых сводов. Строги фигуры святых в выгибах алтарной стены. И почти страшен возвышающийся среди них образ Спасителя, этот тысячелетний хозяин храма, по преданию, ежегодно проступающий сквозь ежегодную закраску...

Чувствуя и себя пигмеем, тихо брожу я среди этой высоты и простора. Надо мной — све-

тоносный купол, горячее солнце золотистым потоком льется на меня сверху. А налево и направо — два яруса хор. По отлогим каменным всходам туда могли въезжать из пропилеи две колесницы. Две колесницы могли разъехаться и на тяжких хорах, мраморные плиты которых покосились от землетрясения. И как легко держат эту тяжесть два яруса аркад и колонн!

Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся, — входят когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светносном и тихом храме:

*Во имя Бога, милосердного и милостивого!
Хвала ему, властителю вселенной!*

Владыке Дня Суда и Воздаяния!

Но велик и непостижим Владыка — и вот покорно падают руки вдоль тела, а голова на грудь. И еще покорнее отдаются эти руки в узы его, соединясь после падения под грудью, и быстро и бесшумно начинает вслед за этим падать человек на колени и касаться челом праха. И тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному камню в пустыне Измаила и Агари...

Медленно подвигаемся мы в боковых проходах за колоннами, шмыгая туфлями по скользким циновкам. Потом шмыгаем по еще более скользкому мрамору пропилеи, где девять огромных и тяжелых бронзовых дверей — все в один ряд — еще хранят рельефы византийских крестов. Потом поднимаемся по широким отлогим всходам на хоры, и с высоты я еще раз наслаждаюсь головокружительной бездной этого капища и маленькими фигурками сидящих глубоко подо мною, на полу, в широком столпе света, падающего из купола. А из древней амбразуры открытого окна сно-

ва тянет на меня теплом солнечного света и свежестью снега. Я подхожу — и ласковый ветер ударяет мне в лицо, розовая голубка срывается с подоконника в простор весеннего воздуха... И опять разворачивается предомною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа...

V

На мраморной паперти Софии, когда мы покидаем ее, лежит деревенский нищий в лохмотьях овчины, темный, как мумия, с большими оттопыренными ушами и потухшими глазами.

— Бакшиш! — жалобно говорит он старческим отдаленным голосом, и правая рука его несмело касается сердца, губ и лба.

Но в его левой руке деревянная мисочка с вареным рисом — и просьба о милостыне звучит безжизненно: Бог уже послал ему дневное пропитание, в остальном он не нуждается.

Со двора выходим на Атмейдан, славный когда-то по всему миру Ипподром Византии.

Слева Атмейдан замыкается одной из велико-
лепнейших султанских мечетей — колоссаль-
ной белой мечетью Ахмедие, окруженной
платанами и шестью исполинскими минаре-
тами. Но, боже, чем замыкается площадь с
других сторон! Ветхие бревенчатые хибарки
под черепицей, старозаветные кофейни, по-
лузасохшие акации. Ипподром теперь пуст и
пылен, и печально стоят на нем в ямах, обне-
сенных решетками, три памятника великой
древности: обелиск розового гранита, ко-
гда-то стороживший вход в храм Солнца в Ге-
лиополе, грубая каменная колонна Констан-
тина Багрянородного и бронзовая, позеленев-
шая Змеиная колонна — три перевившихся и
вставших на хвосты змеи: «слава Дельфий-
ского капища».

Большая улица Стамбула, по которой мы
возвращаемся в Галату, вид имеет милый,
южный: много солнца, акаций, турецких та-
верн, где всегда так весело от чистоты мраморных столиков, цветов на них и приветли-
вости хозяина в белом фартуке и феске... Ве-
сел даже надгробный павильон султана Ма-
хмута — большой киоск под вековыми дере-

вьями, за высокой решеткой, отделяющей его от тротуара.

— Султану везде хорошо! — улыбается и вздыхает Герасим.

Густая толпа в перепутанных вонючих переулочках, в которые мы вступаем затем, кажется еще пестрее и крикливей от зноя и духоты. Хорошо еще, что на пути Голубиная мечеть Баязета и крытые ряды Чарши, Большого базара!

Двор мечети пленителен своей патриархальностью. Ограждает его сквозная мавританская аркада, посреди его — фонтан, платаны, отдыхающие странники, нищие, тысячи голубей, а кругом — целый базар четок, которыми, сидя на коврах, торгуют старые-престарые обезьяны в тюрбанах. Прохожие покупают тут и пшено, кидают его в воздух — и тогда весь двор превращается на минуту в живой, свистящий, дрожащий несметными крыльями, дети начинают прыгать и на все лады вопить:

— Бакшиш! Бакшиш!

В полутемном крытом лабиринте Чарши тоже вопят — по-турецки, по-армянски, по-

гречески, по-французски — и хватают за руки, завлекая в лавки; но отрадная прохлада спокон веку царит в этих сводчатых коридорах, пряно пахучих и вместивших в себя, кажется, все, что есть на базарах Востока.

Все же шумней и пестрей Галаты нет ничего на свете!

Улица, ведущая в гору, к Пере, полита, но политая и уже согревшаяся пыль только увеличивает духоту. Яркие белые маркизы над окнами магазинов, яркие красные лоскуты — вывески с полумесяцем и арабскими письменами... И ослепительно ярка синяя лента неба над толпой и коридором домов... Во имя Бога милостивого, хоть бы здесь-то, по улице, ведущей в европейскую Перу, не пускали верблюдов! Но нет, араб-полицейский, в коротком синем мундире и в феске, совершенно равнодушно смотрит на эту горбатую грудку, шагающую среди толпы за босоногим проводником.

Зато как прохладно в жерле башни Христа!

Сладок среди вони и плесени базарных улиц, среди чада простонародных таверн и пекарен, свежий запах овощей и лимонов, но

еще слаще после галатской духоты чистый морской воздух. Медленно поднимаемся мы по темным лестницам возле стен башни, достигаем ее круглой вышки — и выходим на каменный покатый балкон, кольцом охватывающий вышку и огражденный железными перилами. Легкое головокружение туманит меня при взгляде в бездну подо мною, раскрывается в ней целая необозримая страна, занятая городами, морями и таинственными хребтами Малоазийских гор — страна, на которую пала «тень Птицы Хумай».

Кто знает, что такое птица Хумай? О ней говорит Саади:

«Нет жаждущих приюта под тенью совы, хотя бы птица Хумай и не существовала на свете!»

И комментаторы Саади поясняют, что это — легендарная птица и что тень ее приносит всему, на что она падает, царственность и бессмертие.

Песнью Песней, чудом чудес, столицей земли называли город Константина греческие летописцы. Молва всего мира объясняла его происхождение Божественным вмеща-

тельством. Одна легенда говорит, что на месте Византии орел Зевса уронил сердце жертвенного быка. Другая — что основателю ее было повелено основать город знамением креста, явившимся в облаках над скутарийскими холмами, «при слиянии водных путей и путей караванных». Но восточный поэт сказал не хуже: «Здесь пала тень Птицы Хумай».

В двух шагах от меня, возле этой башни, еще и доныне совершаются мучительно-сладо-стные мистерии Кружащихся Дервишей.

Их монастырь затерялся теперь среди высоких европейских домов. Несколько лет тому назад, в один из таких же жарких весенних дней, Герасим привел меня к его старой каменной ограде, и мы вошли, вместе с другими «франками», в небольшой каменный двор.

Помню фонтан и старое зеленое дерево посреди его, направо — гробницы шейхов-настоятелей, налево — кельи в ветхом деревянном доме под черепицей, а против входа — деревянную мечеть.

Мы отдали несколько мелких монет, и нас пустили в восьмигранный высокий зал, обведенный с трех сторон хорами и украшен-

ный только сурами Корана.

На хорах, над входом, поместились музыканты с длинными флейтами и барабанами, по бокам — зрители.

Когда наступила тишина, вошел шейх-настоятель, а за ним десятка два дервишей — все босые, в коричневых мантиях, в войлочных черепенниках, с опущенными ресницами, с руками, смиренно сложенными на груди.

Шейх сел у стены против входа, разделившиеся дервиши — по сторонам, друг против друга.

Шейх, медленно повышая жалобный, строгий и печальный голос, начал молитву, флейты внезапно подхватили ее на верхней страстной ноте — и в тот же миг, столь же внезапно и страстно, дервиши ударили ладонями в пол с криком во славу Бога, откинулись назад — и снова ударили.

И вдруг все замерли, встали — и, сложив на груди руки, двинулись гуськом за шейхом вокруг зала, обертываясь и низко кланяясь друг другу возле его места.

Кончив же поклоны, быстро скинули мантии, остались в белых юбках и белых кофтах с

длинными широкими рукавами — и закружились в танце: взвизгнула флейта, бухнул барабан — и дервиши стали подбегать с поклоном к шейху, как мяч, отпрядывать от него и, раскинув руки, волчком пускаться по залу.

И скоро весь зал наполнился белыми вихрями с раскинутыми руками и раздувшимися в колокол юбками.

И по мере того как все выше и выше поднимались голоса флейт, жалобная печаль которых уже перешла в упоение этой печалью, все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри, все бледнее становились лица, склонявшиеся набок, все туже надувались юбки и все крепче топал ногою шейх: приближалось страшное и сладчайшее «исчезновение в Боге и вечности»...

Теперь, на башне Христа, я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый, сильный ветер гудит за мною в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность... Этот вихрь вокруг шейха зародился там, в этой дали: в мистериях индусов, в та-

инствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспоминаются слова Саади, «употребившего жизнь свою на то, чтобы обозреть Красоту Мира»:

«Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомяни поэта добрым словом!

— Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнес по вселенной благоухание цветника его сердца.

— Ибо он всходил на башни Маана, Созерцания, и слышал Симаа, Музыку Мира, влекшую в халет, веселие.

— Целый мир полон этим веселием, танцем — ужели одни мы не чувствуем его вина?

— Хмельной верблюд легче несет свой вьюк. Он, при звуках арабской песни, приходит в восторг. Как же назвать человека, не чувствующего этого восторга?

— Он осел, сухое полено».

1907

Море богов*

I

Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые, французы. И, заглядев-шись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула.

По глянцевитой мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане.

За мысом дорогу перерезал колесный паке-бот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом. Старые стены дворца Константина и цветущие сады Сералья дремали, пригретые солнцем. В оврагах алело искривленное иудино дерево. Бледно-розовые минареты Софии уносились в небо...

Извиваясь, протянулись, вслед за Сералем, стены Феодосия, полчища кипарисов в Полях Мертвых... Стены кончились руиной Семиба-шенного замка... И сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского побережья, цвета пем-зы. А налево, до нежно-туманной сини Прин-

цевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов...

Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьих куртки, ласково-застенчивые улыбки и блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах. Пели, пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непрямой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел, уединенно сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплом из стальной утробы мерно работающей машины, бежали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно.

Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым

бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и высокими мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее.

Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Блился полдень, и в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи.

За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем.

Часа в два слева заголубли каменистые побережья древней Фригии. Ближе прошла

дикая горбина острова Мармори, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белые точки какого-то селенья, рассыпанного в одной из его впадин.

Очень близко прошел перед вечером и Галлиполи, желтевший на пустынных обрывах справа.

В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл.

II

Троя, Скамандр, Холмы Ахиллеса — сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом. Я видел ее смутно... Но это была уже Греция.

Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром, против солнца, прозрачно-красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу.

Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий, влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло. И

впереди и влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты Архипелага. А направо тянулись зелено-сиреневые горы: Эвбея.

И все утро выгибалась мимо нас эта каменная страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи и я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, «пустынные горы» Гимета.

По мертвенно-белым волооким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами, — как будто в древней Греции только и делали, что праздновали, — тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то пошлый элизиум вместо этой каменистой, сухой страны. Каков-то Акрополь? Все бинокли искали его, греки с юта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот нашел, наконец, я нечто смутно-желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за морем крыш в долине, — нечто вроде небольшой дикой крепости. И, взглянув на этот голый холм пелазгов, впервые в жизни всем су-

ществом своим ощутил я древность.

В Пирсе, где в жаркий полдень мы бросили якорь, нас окружили гиды, комиссионеры отелей... Маленький быстрый поезд в полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно-белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и видишь, как прозрачен сухой жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновав площадь, королевский дворец и предместье, на меловое шоссе, — и этот холм пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воедино слитый двадцатипятивековой древностью с голым остовом Акрополя, — останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чуждой и

уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору, — со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя и его желобчатых колонн... Наконец, коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону... И на мгновенье я теряюсь... Боже, как все это просто, старо и прекрасно!. Налево, в сквозной тени маслин, стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина, тоже в сером шлеме, в фильдекосовых перчатках, с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже и эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед нами золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно-легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в темя этого «Алтаря Солнца». Они входят, поднимаются по

лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилеи... Я тоже иду и смотрю... Но я уже все видел!

Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него.

Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно-далекие силуэты каких-то голубых островов, и Саламин, и Эгину. А когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто-обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, пред которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселинах... Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха Архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита

и мрамора, кряжам каменистых гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. «Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени». А Гомер изваял образы богов-людей: ведь Эллада «только устами поэтов и философов» созидала пантеоны и культы. И «уста поэтов» высшей религией признали красоту, высшим загробным блаженством — Элизиум, «от века не знавший тьмы и холода», высшей загробной мукой — лишение света...

«Бог — жизнь, свет и красота», — сказал народ, населивший землю в этом «прелестнейшем из морей». — «Бог — это мое тело», — сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. «Я завоевал высшую мудрость», — сказал он — и отлил свои завоевания в мрамор — воздвиг «Алтарь Возврата», как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертвил

Сократа. Но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: «Мир бесконечен, и Бог тысячеклик. Я поклонялся всем ликам; но истинный — неведом. Иудея говорит, что лик его — мощь и пламя гнева; Египет, что лик его — Солнце в лике Сфинкса и Ястреба. Но Иудея — это горячее Мертвое море, Египет — могила в пустыне: он тоже свершил свой путь — от поклонения вечно возрождающемуся „сыну Солнца“, Гору, до своего Алтаря Возврата — до Великой пирамиды. И храмы Солнца ныне пусты и безмолвны». Тогда Греция снова послала поэтов в философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию — и среди смешавшегося человечества зачалось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество пресытилось кровью, землей и смертью — и возжаждало братства, неба, бессмертия. И когда, наконец, снова взошло Солнце, «Радуйся! — сказал миру ясный го-

дос. — Нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я — египтянин, иудей и элин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее: и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона. Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего — и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе, в росистое солнечное утро, мир, в блеске и голубых туманах лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих...»

III

На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли, трюмы были нагружены и закрыты... Потом заревела, сотрясая все палубы, труба и забурлил винт...

В несказанной пышности и нежности червонной пыли и воздушно-фиолетовых вулка-

нов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало меркнуть — и скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштилевшего моря внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи.

Скоро в ней потонули и море и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет — темно-лиловый полукруг моря, явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом.

— Миль десять идем? — спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход.

— Миль тринадцать идем...

И по тому, как мелькали навстречу мне, когда я пошел на бак, горбы волн, полных дымившегося фосфора, видно было, что правда.

Черный и в темноте особенно упорный бугшприт неуклонно вел в звездный склон неба. На северо-востоке широко раскидывалась Большая Медведица, «любимое созвездие Гомера». На юго-западе низко, но ярче и великолепнее всех сверкала розово-серебристая Венера. Темно-синяя глубь была переполнена повисшими в Млечном Пути алмазами. И отовсюду лились в море нити тонкого, дивного света. Но свет моря был еще прекраснее.

— Эй, не курить на баке! — раздался молодой звучный голос.

И опять наступила глубокая тишина, полная шороха волн и дыханий машины.

Спотыкаясь на цепи и паруса, я добрался до бугшприта. Острая железная грудь резала кипевшую бледно-синим пламенем воду — и все пространство моря, озаренного и полного таинственным светом, быстро бежало навстречу. Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока... Да, «свет и во тьме

светит». Вот закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее. Это оно вращает винт парохода, оно несет навстречу мне море; оно, неиссякаемый родник всех сил, льющихся на землю, правит и непостижимым для моего разума стремлением своего необъятного царства в бесконечность — к Веге, и безумной радостью этого стрелой летящего подо мною дельфина — как бы сплошной массы дымно-синего фосфора. И только к свету стремится все в мире. Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою ночи и глубинами вод, все же светят сами себе — теми атомами его, которыми рождена в них жизнь. И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения Богу, всегда имевшие в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым: дым каждения ему.

1907

Дельта*

Солнце потонуло в бледно-сизой мути. Волны, мелькавшие за бортом, стали кубовыми. Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи.

Внутри, в кают-компаниях и рубках, было ярко, светло, за бортами была тьма, теплый ветер и шорох волн, бежавших качающимися холмами. Маслянисто-золотые полосы падали на них из иллюминаторов и змеевидно извивались. Ветер усиливался, — и вдруг одна из этих полос провалилась в черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбко и плавно опустилась среди закипевшей почти до бортов голубовато-дымной воды. Какая-то женщина, показавшаяся в это время в светлом пространстве входа в рубку, ухватилась было за притолоку, но в ту же минуту оторвалась и со смехом, с протянутыми руками побежала по наклонной палубе. А немного погодя из той же двери вышел мужчина, оглянулся и, увидев меня, неестественно запел и твердыми шагами пошел по опускающейся и поднима-

ющейся палубе следом за ней...

Около полуночи над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте шафранный свет, он наклонно висел над бегущей на нас и качающейся зыбью, и от него несло теплым, теплым ветром...

Утром открылся берег Африки.

Сильно припекало. Небо было знойно и белесо, море тускло, блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая.

Командир, весь в белом, стоял на мостике, не отводя от глаз бинокля. Медленней вздыхала машина: шли уже средним ходом, ждали араба-лоцмана, ибо взморье перед Александрией густо усеяно подводными камнями. Промелькнула первая чайка... Прошел на встречу тупоносый и весь черный пароход, и я увидел на нем белые буквы: «Дельта»... А из мути на горизонте уже выделялась башня, преемница того знаменитого маяка, что был когда-то «символом света александрийской мудрости» и одним из чудес мира, ибо «вел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса до индийских деревьев, вершин которых

не достигают стрелы», был посвящен «богам, спасающим плавающих», блистал зеркалом — «Талисманом Александрии, отражавшим землю, небо и все паруса Средиземного моря», и так возвышался, что «камень, брошенный с него на закате, падал в воду только в полночь...» Потом слабо обозначилась белая полоска города, бесчисленные палочки, — мачты порта, — и крестики — крылья ветряных мельниц, вправо же от них — бледно-желтая линия пустыни, терявшаяся на западе, линия безграничной плоскости, соседней с Дельтой, и там, в этой стекловидной дали — призраки тех единственных по своим очертаниям деревьев, вид которых всегда волнует: финиковые пальмы.

Мы идем медленно, но он все растет и приближается, этот песчаный берег с пальмами, все выше растут эти бесчисленные мачты, видны каменные ленты волнорезов и сияющий белизной маяк. И зной африканского утра все увеличивается по мере того, как мы все тише и глубже входим в тесноту Старого Порта, переполненного судами и разноцветными лодками с разноцветными флагами

отелей и загорелым людом в фесках, обмотанных платками, и в длинных синих рубахах. Все это тянется среди пароходов за нами, а справа надвигаются серопесчаные обрывы, на которых среди однообразных палевых кубиков-домов стоят шероховатые стволы в перистых султанах. Долгий морской путь кончен, — взглянув назад, на белый волнорез, я не вижу больше моря: вижу только мачты да синюю ленту над волнорезом. Кругом пестрота людей и лодок, эти палевые кубики и пальмы, — и все залито сухим, ослепительным светом... Африка!

Въезжая в Александрию, я все клонил голову: солнце стояло как раз над головою. Встретилась медленная вереница соловых дромадеров, навьюченных сахарным тростником и предводительствуемых босоногим погонщиком в красной ермолке и коротком белом кунбазе. Потом проехали английские солдаты в тропической форме, верхом на великолепных гнедых лошадях, лоснившихся на солнце, и, прижимаясь от них к глиняной ограде, мелко перебирая по пыли маленькими ножками, прошла молоденькая феллашка

в голубой полинявшей рубашке, круглолицая, с полными губками и расширенными ноздрями. Она подняла ресницы над темными глазами — и опустила их. На ее пепельно-смуглом лице, татуированном синеватыми полосками по бокам подбородка и звездочками на висках, покрывала не было. Не было и библейского кувшина на ее голове, прикрытой легким платком из черно-синей шерсти: на голове она несла то, что теперь так ходко сменяет на Востоке библейский кувшин, — большую жестянку из-под керосина. А за феллашской показался ослик-иноходец, быстро и тупо семенявший копытцами, под красным бархатным седлом, на котором, почти задевая землю ботинками, сидел большой араб в пиджаке сверх длинного халата-подрячника, в плоской феске, обмотанной золотисто-пестрым платком...

В отеле близ Площади Консулов мне отвели просторную комнату с каменным полом, покрытым тонкими коврами. В ней стояла постель под кисейным балдахинном, было полутемно и прохладно. Ставни балкона были закрыты. За ними стоял оглушительный гам

Востока, говор и стук копыт, гул и рожки трамвая, вопли продавцов воды... А когда я раскрыл ставни, в комнату, вместе со всеми этими звуками, так и хлынул свет, жар африканского полдня...

В каком-то маленьком греческом ресторане я ел какую-то розовую морскую рыбу, щедро облитую лимонным соком, и пил какое-то густое вино. Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины облаков, таявших над ним в бездонном шелковистом небе, на кубики палевых домов, терявшихся вдоль широкого изгиба песчаного побережья... И вихры отдаленных пальм опять сладко напомнили: Африка!

На Площади Консулов, вокруг сквера, в жидкой и легкой тени подсыхающих деревьев, стояли коляски, дремали лошади. Смуглые, в белом, извозчики, вместе с прочей арабской толпой, занимавшей несметные столики сквера, пили воды, курили, болтали... Сидели два негра из Судана. Их черные скуластые лица и черные палки ног в огромных пыльных туфлях казались еще чернее и страшнее от белых кидар; сверх рубашек на

них были короткие халаты цвета полосатых гиен. С раздувающимися ноздрями раздавленных носов, с блестящими глазами, с нагло вывороченными губами негры радостно и удивленно осматривали проходящих женщин. А у женщин, закутанных в черный шелк, только и видно было что глаза, странно разделенные металлическим цилиндром, соединяющим чадры с покрывалами.

Часам к четверем город снова ожил. Поливали мостовые, и косо́й блеск с запада ярко золотил и площадь, снова наполнившуюся народом, и всю улицу Шериф-Паша, по которой я поехал к каналу и которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики, не этот босоногий черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега, на зеркальной воде его мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса барок, и по-африкански желтели среди пальмовых ро́щ глиняные хижины на левом берегу...

По-африкански бедно было и в кварталах,

прилегающих к Старому Порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были дворцы и храмы Птоломеев и где теперь, на месте Серапеума, стоит так называемая колонна Помпея. По-африкански горели против опускавшегося солнца стекла в желтых домах разноплеменной александрийской бедноты. Женщины в туфлях и халатиках, похожие на евреек наших южных городов, с раскрытыми тощими грудями, почерневшими от зноя, лениво сидели у порогов и держали на коленях полуголых детишек, лица которых сплошь облепляли мухи. Тут же шатались шелудивые бездомные собаки. Ни кустика не было среди глиняных рогатых памятников арабского кладбища, уже давно смешавшего свои кости с несметными костями древних кладбищ и с мусором тысячелетних останков стократ погибавшей и вновь возрождавшейся Александрии. И надо всеми этими братскими могилами высилась колонна розового асуанского мрамора. Меланхолично-прекрасен вид от колонны: на западе — вечернее солнце, опускающееся к золотой полосе Средиземного моря, на востоке — рощи пальм, синяя пустынь-

ная равнина Мареотиса и пески, пески...

А на пути в Каир сперва мелькали стены Александрии. Потом вагоны озарились золотистыми песчаными выемками, белыми виллами и яркой синью утреннего неба.

Скоро их сменил Мареотис: водная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях которой розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов и цапель. А за лагунами и поймами начали разворачиваться топи и равнины, возделанные, как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловидные дали с чуть видными оазами селений...

Поезд уносил меня к югу, и все живее чувствовал я, что нигде так быстро не падаешь в глубь времен, как здесь. Как древен этот смуглый люд, орошающий поля, едущий по плотинам на осликах, отдыхающий вместе с буйволами под жидкой тенью смоковниц!

Вагон был переполнен женщинами, до глаз закутанными в черное и белое, фесками, шляпами, халатами, табачным дымом, пылью и светом. Воздух, веющий в окна с нив и каналов, становился все жарче и суше, — и

вот начали хлопать поднимаемые рамы, а за ними — решетчатые ставни. Воцарился полумрак, изрезанный полосами света и дыма, но духота стала уже дурманить. Я вышел на площадку — и ослеп от белого блеска. Обдает пламенем, точно стоишь возле огромного костра, удушает желтой пылью... Вижу сквозь пыль, что под колесами с грохотом мелькает сквозной мост и горячим стеклом блещет внизу река в илистых берегах. Это уже Нил. Мимо поезда начинают мелькать белые яркие стены и высокие пальмы: Танта. С разлета стал поезд, и хлынувшая из вагонов толпа мгновенно смешалась с цветистой толпой на раскаленной платформе. Но едва успел я схватить в буфете апельсин и пачку папирос, как дверцы вагонов уже опять захлопали. И опять — равнины зреющего хлеба, каналы и черные деревушки феллахов — полузверинные хижины из ила, покрытые дурровой соломой... И опять против меня — копт и феллах. Копт — толстый, в черном халате, в черной туго завернутой чалме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися ноздрями. Феллах — в белой чалме и

грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это совершенный бык, по своему нечеловеческому сложению, с бронзовой шеей изумительной мощи. И сидит он так, как и подобает ему, прямому потомку древнего египетского человека: прямо, нечеловечески спокойно, с поднятыми плечами, ровно положивши ладони на колени...

1907

Свет Зодиака*

I

Каир шумен, богат, многолюден. К вечеру улицы политы. Нежно и свежо пахнет цветами, тепло и пряно — влажной пылью и нагретыми за день мостовыми. Оживленнее гудят трамваи, реками текут шарабаны, коляски, кареты и верховые к мосту через Нил, на катанье, гремят в садах оркестры... Но вот по людным широким тротуарам, никого и ничего не замечая, идут бедуины — худые, огнеглазые, высокие, — и на их чугунных лицах — алый отблеск жаркого заката. Их тонкие, сухие, почти черные ноги голы от колен до больших жестких башмаков. Лица

грозны, головы женственны: на головы накинута и висят по плечам кэфии — большие платки из черно-синей шерсти, а сверх платков лежит двойной обруч, два черных шерстяных жгута. На теле рубаха до колен, подпоясанная шалью, на рубахе — теплая безрукавка, а сверх всего — абая, шерстяная пегая хламида, грубая, тяжелая с короткими рукавами, но такая широкоплечая, такая свободная, что рукава, спускаясь, достигают до кистей маленьких лиловых рук. И царственно-гордо выгнуты тонкие шеи, обмотанные шелковыми платками, и небрежно опирается левая рука с серебряным перстнем на мизинце на рукоятку огромного ятагана, засунутого за пояс...

Старый Каир, сарацинский, окружает Каир новый, европейский, со стороны желтого Мокатамского кряжа. Ему уже тысяча триста лет. Он основан «милостью и велением Бога». Фостат — его первое имя — значит палатка. У подошвы Мокатама был Новый Вавилон, основанный еще при фараонах выходцами из Вавилона Халдейского. Настало время, когда над миром восторжествовала грозная и дикая

мощь Ислама. Амру, полководец Омара, пришел к Нилу и взял Вавилон. В его палатке свила гнездо голубка. Уходя, Амру оставил палатку, дабы не трогать гнезда. И на этом месте зачался «Победоносный», Великий Каир.

Его узкие, длинные и кривые улицы переполнены лавками, цирюльнями, кофейнями, столиками, табуретами, людьми, ослами, собаками и верблюдами. Его сказочники и певцы, повествующие о подвигах Али, зятя пророка, известны всему миру. Его шахматисты и курильщики молчаливы и мудры. Его базары равны шумом и богатством базарам Стамбула и Дамаска. В нем полтысячи мечетей, а вокруг него, в пустыне, — сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем. Мечети плечисты, полосаты, как абаи, все в огромных и пестрых куполах-тюрбанах. Минареты высоки, узорны и тонки, как пики. Это ли не старина? Стары и погосты его, стары и голы. Там, среди усыпальниц халифов, среди усыпальниц мамелюков и вокруг полуразрушенной мечети Амру, похожей на громадную палатку, — вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемое жа-

лобною песнью пустынного жаворонка или пестрокрылых чекканок. Но вот проходит и звонко и страстно кричит по узким и шумным коридорам базаров и улиц сожженная нуждою и зноем женщина, со спутанными черными волосами, босая, в одной полинявшей кубовой рубахе. Все достояние ее в козе, которую она ведет за собою, — в старой козе с длинной шелковисто-черной шерстью, с длинными колокольцами-ушами и горбатым носом. Женщина кричит, предлагая подоить эту козу и за грош напоить «сладким молоком» всякого желающего. И вся старина сарацинского Каира тонет в аравийской древности этого крика. А когда смотришь на мечети Каира и на его погосты, то думаешь о том, что мечети его сложены из порфира мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид, что дорога мимо погостов ведет по пустыне к обелиску Гелиополя-Она. И тогда и от европейского Каира и от Каира мусульманского мысль уносится к древнему царству фараонов, видя вдали каменные мощи этого царства — пирамиды Гизе и Саккара...

Солнце склонялось к Ливийской пустыне. Я смотрел со стен цитадели Каира, утвержденной на выступе скал Мокатама, на запад, на восток и на север, — на город, занявший необозримую долину под цитаделью. Подошел и предложил свои услуги какой-то милый и тихий человек в темном балахоне и белой чалме. Он прежде всего показал мне колодец халифа Юсуфа. Но что же это за старина? Колодец глубок, как преисподняя, и только. Камни цитадели постарше — они из малых пирамид Гизе!

Я все глядел в пыль над долиною Нила и за Нил, где, в сухо-туманной пустыне, рисовались фиолетовые конусы самых старых пирамид и среди них — ступенчатая пирамида Аписов: Ко-Комех — «пирамида черного быка». Внутри она уже разрушается, а снаружи полусасыпана песками. Она даже не из камня, а из кирпичей нильского ила. Она на тысячу лет древнее великой пирамиды Хуфу. А близ нее — Серапеум, бесконечные чернотенные катакомбы, высеченные в скалах. И, взглянув в сторону Серапеума, я забыл на минуту все окружающее. Ах, как пышно-пре-

красны были эти «земные воплощения бога Нила», эти мощные траурные быки — черные, с белым ястребом на спине, с белым треугольником на лбу! Как мрачно-торжественны были их погребальные галереи и гигантские саркофаги из гранита!

— Эль-Азхар, Гассан, — бормотал араб, перечисляя каирские мечети и, бесшумно перебирая легкими босыми ногами, привел меня к северной стене, к другому обрыву, и опять стал указывать на море серого огромного города, теряющегося в пыли под нами.

Воздух был тепел и душен. Далеко на западе склонялось к слоистым пескам горячее мутное солнце. Пирамиды Гизе были ближе и левей его: они мягко и четко выделялись среди этих пепельных дюн фиолетовыми конусами. Необъятное пространство между небом, пустыней и долиной Каира было все в пыльно-золотистом блеске. Солнце опускалось все ниже, белый шлем, который я держал в руках, стал алеть. С минаретов понеслись к бледному бездонному небу древне-печальные прославления Бога. Летучие мыши дрожащими зигзагами зареяли вокруг: они любят теп-

лые вечера, катакомбы, пустынные скалы...

В пустыне, сзади цитадели, раскинуты среди песков мечети-гробницы халифов. Они всеми забыты, приходят в ветхость. Там в усыпальнице Каид-Бея окна горят такой цветной мозаикой, равной которой нет на земле. Там есть два камня из Мекки — один сиреневый, другой розовый — и на них следы Магомета. Но что Каид-Бей и Магомет! За могилами халифов, среди песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине холмов Иудейских, есть оаз, где, по слову Осии, «тернии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля», где с землею сровнялись следы города, более славного и древнего, чем самый Мемфис, — следы Она-Гелиополя, Бет-Шемеса, по-еврейски, — «Дома Солнца». Это было средоточие культа Гора и высшей жреческой мудрости. Усиртесен Первый пять тысяч лет тому назад воздвиг перед онийским храмом Солнца, самым чтимым в древнем мире, своиobeliski из розовых гранитов и украсил их золотыми наконечниками. В дни патриархов Иосиф, сын Иакова, женился в Оне на дочери первосвященника Потифера — «посвященного

Солнцу»; Моисей, воспитавшийся там, основал на служении Изиде служение Иегове; Солон слушал первый рассказ о потопе; Геродот — первые главы истории, Пифагор — математику и астрономию; Платон, проведенный в академии Она тринадцать лет, — презрительно-грустные слова: «Вы, эллины, — дети»; в Оне жила сама Богоматерь с младенцем...

Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада быстро меркнет. Мириады веселых огней рассыпаются по темнеющей долине Каира. Со всех сторон обступает Каир африканская душная ночь. Из тьмы неведомых горячих стран пролагает свой путь священная река, источники которой знали лишь жрецы Саиса. Неведомые экваториальные созвездия поднимаются оттуда, — и звездное небо принимает «вид лучистых алмазов на черно-бархатном покрове гроба». Черное! Сколько тут черного! Черны были палатки таинственных азиатских кочевников, «царей-пастухов», несметной ратью охватившие некогда Египет на целых пятьсот лет. Черны были Аписы Мемфиса. Черным гранитом лоснились скаты пирамиды Хуфу. «Сему-

сином» — черно-пламенным ураганом песков — прошел по Египту Камбиз, до основания разрушив и Он и Мемфис, и это в его полчищах семусин пожрал в один день полтораста тысяч жизней на пути к черной Нубии! И вот тогда-то и дохнуло на Египет дыхание смерти, и «помутилось солнце его от пыли сражений и от курений жрецов, и прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых»...

На месте Она, ныне покрытом хлебами, пальмами и хижинами арабской деревушки Матариз, среди оаза, что питается родником Айн-Шемес — «Солнечным источником», — одиноко стоит десятисаженный обелиск, на треть утонувший в земле, изъеденный иероглифами и облепленный гнездами ос. А в Ливийской пустыне сонные змеи песков бегут и бегут во входы пирамид, уже давно пустующих. Мумии из гробниц и пирамид Саккара выкинул еще Камбиз. Пустой саркофаг из базальта, найденный в пирамиде Менкери, потонул вместе с кораблем в океане, на пути в Британию. Пустой огромный саркофаг стоит и в Великой пирамиде. Кто тот, что покоился

в ней? Хуфу? Копты говорят: нет, Саурид, живший за три века до потопа и от потопа сохранившийся в ней и свой труп, и все сокровища египетской мудрости... В те долгие века, когда умерший Египет пребывал в тишине и забвении, пришли в его пустыни новые завоеватели, арабы, пробили, после долгих исканий, уже ободранную Великую пирамиду и в гробовой тьме, по узким проходам, ведущим в сердце пирамиды, проникли, в надежде на клады, в покой человека, умершего в начале мира. Но, озарив факелами заблестевшие, как черный лед, шлифованно-гранитные стены этого покоя, в ужасе отступили: посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями, и с золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул, весь в письменах, непонятных ни единому смертному...

III

Я кончил этот вечер в театре, на площади, сплошь занятой табуретами и столиками, шумной и людной, как ярмарка.

Двери театра были открыты настежь, но в партере, усеянном фесками, стояла одуряющая духота. Что же было в решетчатых лужах, где помещаются гаремы? Подняли под музыку занавес — и в глубине сцены открылся плакат: лиловая ночь и пребольшая луна над лиловым силуэтом города, состоящего из одних пальм и мечетей и четко отраженного в бледно-лиловой реке. На полу среди сцены стояло ярко-зеленое дерево, а под деревом — араб в пышной старинной одежде и громадном тюрбане. Страстно завыл и загудел оркестр, и араб, приложив одну руку к сердцу, а другую, дрожащую, вытянув, разразился такими гнусавыми воплями, что весь партер затрепетал от рукоплесканий. Араб жаловался на несчастную любовь и прозакладывал кому-то душу, лишь бы увидеть свою милую. Затем он смолк, закрыл лицо руками и затрясся от беззвучных рыданий. А наплакавшись, глубоко вздохнул, снял темный широчайший халат, положил его подушкой под деревом и, оставшись в другом, бледно-розовом, лег спать. Музыка под сурдинку запиликала что-то осторожное, хитрое. И тогда из-за кулис

бесшумно выпорхнули черти в красных балахонах, с белыми изображениями черепов на груди. Радостно подвывая и взвизгивая, они закружились над своей добычей. И вдруг ухнул барабан — и, подхватив спящего, черти бросились за кулисы...

Домой я вернулся за полночь. Каир затихал. Съедаемый москитами, я без сна лежал на широкой постели в жарком номере. Перед рассветом вошел месяц, озарил теплым золотистым светом верхушки пальм во дворе отеля и противоположные балконы, и в окна потянуло свежестью. Я стал забываться. Но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе — и, внезапно сорвавшись, разразился страшным, захлебывающимся скрипом. Рыдал в соседнем дворе осел — и рыдал бесконечно долго!

Утро в Каире восхитительно. Чистые широкие проспекты еще в тени и пусты. Снова полита зелень в цветниках, палисадниках и скверах, нежно и свежо пахнущих. Верхушки пальм розовеют, небо легко и жемчужно-бирюзово. Экипаж быстро катится по гладким

мостовым. Едем к пирамидам. Вот мост с бронзовыми львами через Нил. Свет утреннего солнца ослепительно блещет над розово-голубым морем пара, в котором тонут и острова, и вся долина Нила. «Привет тебе, Амон-Ра-Гормахис, сам себя производящий! Привет тебе, священный ястреб со сверкающими крыльями, многоцветный феникс! Привет тебе, дитя, ежедневно рождающееся, старец, проплывающий вечность!»

Нил под мостом дымится, и в дыму медленно идут серые паруса барок. Вереницы ослов и верблюдов, нагруженных овощами, зеленью, молоком, птицей, тянутся на базары и несут в город простоту деревни, здоровье полей. Переезжаем остров, потом рукав Нила, едем мимо зоологического парка, — и впереди открывается низменность, равнина зреющих ячменей и пшеницы: стоит время Шаму, как называли египтяне жатву. И прямая, как стрела, аллея акаций до самой пустыни прорезывает эту равнину. Там, в самом конце аллеи, как деревенские риги, стоят на обрыве скалисто-песчаного плоскогорья три каменных треугольника цвета старой соло-

мы.

Когда мы подъезжаем к этому обрыву, резко желтеет его песок и мягко и четко возносятся над ним в прозрачный воздух зубчатые грани каменной громады ржаво-соломенного цвета: Великая пирамида Хуфу!

От нее — один из самых дивных видов в мире. Целая страна, чуть не вся низменность Дельты, теряется на севере, радуя вечной молодостью природы: молоды кажутся отсюда, из пустыни, с древнейшего на земле кладбища, эти нивы, пальмы, селения! На юге тонет в солнечном тумане долина Нила. Впереди чуть виден мутно-аспидный Каир и призраки Аравийских гор. А сама пирамида, стоящая сзади меня, восходит до ярких небес великой ребристой горой.

Обойдя ее, я вижу, что северный бок ее высоко занесен песком. Вдали, в сторону Ливийской пустыни, — второй треугольник, пирамида Хафри. Ее громада, почти равная первой и тоже утонувшая в слоистых песках, снизу ободрана, доисторически груба и проста, как и Хуфу, но вверху блестит розовым гранитом. В чистом воздухе она кажется необыкновен-

но близкой. Но еще более четки на сини небо-склона грани третьей — «красной» пирамиды Менкери, еще сплошь покрытой сиенитом. Она гораздо меньше и острее двух первых. А к горизонту, там, где пустыня, поднимаясь волнистыми буграми, ярко подчеркивает си-не-лиловое небо, теряется за песками еще несколько маленьких конусов... Вот она, ясность красок, нагота и радость пустыни!

Вход в Великую пирамиду передо мною. Пески засыпали ее скат как раз до того места, где нашли когда-то отверстие в «самое таинственное святилище мира». Я знаю, что это отверстие падает вниз по скользкому склону в триста футов, в удушающий мрак, в тесноту. Там теперь нет ничего, кроме тьмы, летучих мышей и огромной гробницы без крышки... Где же кости того, кто вот уже шесть тысяч лет изумляет землю? Они, говорят, покоились на дне шахты, — под пирамидой, а не в ней. Шахта будто бы соединялась подземным ходом с Нилом... с подземным капищем Изиды, которой посвящена пирамида... с ходом под Сфинкс... Но не все ли равно? Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из

тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого утра родился Моисей. Через сорок — пришел на берег Тивериадского моря Иисус... Но исчезают века, тысячелетия, — и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни...

К Сфинксу иду по указаниям самого Хуфу: «Гор живой, царь Египта Хуфу, нашел храм Изиды, покровительницы пирамиды, рядом с храмом Сфинкса, к северо-западу от храма Озириса, господина гробницы, и построил себе пирамиду рядом с храмом этой богини... Место Сфинкса — к югу от храма Изиды, покровительницы пирамиды, и к северу от храма Озириса...»

По песчаным шелковистым буграм цвета львиной шкуры я спускаюсь от пирамиды в котловину, где лежит каменное стоаршинное чудовище, каменная гряда с тринадцатитаршинной головой. И вступаю в святая святых Египта. Это уже последняя ступень истории!

Вокруг меня мертвое, жаркое море дюн и

долин, полузасыпанных песками скал и могильников. Все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури. Всюду гробовая тишина и бездна пламенного света. Вот страшная извилистая полоса на песке, — здесь протасила свой жгут змея, может быть, сама Фи, знаменитая в священных писаниях Египта, вся желто-бурая, вся в бурых поперечных лентах, с маленькими вертикальными глазками, от всех гадов отличная рожками. Ноги мои вязнут, солнце жжет тело сквозь тонкую белую одежду. Пробковый шлем внутри весь мокрый. Но я иду и не свожу глаз со Сфинкса.

Туловище его высечено из гранита целиком, — приставлены только голова и плечи. Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И весь он, грубый, дикий, сказочно-громадный, носит следы жуткой древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему, как защитнику «Страны Солнца», Страны Жизни, от Сета, бога Смерти. Он весь в трещинах и кажется покосившимся от песков наискось засыпающих его. Но как спокойно, спокойно глядит он куда-то на восток, на далекую солнечно-мглистую долину Нила! Его

женственная голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывают в моем сердце почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданных Хуфу:

«Честь тебе, старец, многоликий владыка, испускающий лучи, разгоняющий мрак!»

И, спустившись к лапам Сфинкса, я заглядываю в полузасыпанную шахту между ними и несмело поднимаю глаза на красноватый исполинский лик его...

Есть «Свет Зодиака». Он встает серебристым пирамидальным сиянием на темном небе жарких стран долго спустя по закате. Он еще не разгадан. Но божественная наука о небе называет его свечением первобытного светоносного вещества, из которого склудилось солнце. Я еще помню отблеск закатившегося Солнца Греции. Теперь, возле Сфинкса, в катакомбах мира, зодиакальный свет первобытной веры встает передо мною во всем своем страшном величии.

IV

От света, от блеска песков и неба я был пьян всю дорогу до Каира. Жаркая сквозная тень бесконечной аллеи кружевом бежала по

лошадям, по спине извозчика, по моим коленям. Разливы спелых хлебов дремали полуденной дремотой. Полуденным сном и солнцем был отягчен зоологический парк. Жутко и пышно было в нем в этот час! Я остановил коляску и вошел.

До земли висели ветви мимоз. Высоко возносились в пламенный воздух, в пыльно-серебристое небо пальмы. Накалялись цветники. На горячих дорожках млели, цепенели огромные, сказочно разноцветные бабочки сказочно богатых рисунков. В загоне под какими-то высокими зонтичными деревьями стоял покатый жираф, древнеегипетские изображения которого считались когда-то баснословной смесью всех животных, и, поводя змеиной шеей, тянулся рогатой головкой к листьям макушек; и нельзя было понять, льются ли это узоры светотени или блестит и переливается его песочно-пантеровая шкура. В других загонах, закрыв ясные девичьи глазки, истомленные душной тенью, лежали палевые газели и антилопы. Дальше снова шли открытые солнцу пруды и поляны. Неподвижно, на одной ноге, как на блестящей тро-

сти, стояли в теплой грязной воде прудов розовые фламинго, надутые пеликаны, хохлатые тонкие цапли. Неподвижно, бронзово-зелеными маслянистыми бревнами, лежали среди плавучих островов допотопные хампсы Египта — свиноглазые крокодилы, до половины высунувшись на горячую илистую отмель. И бессильно, плоско растягивались на песке и пестрых камнях, за частой сеткой клеток, плетевидные гады, большеротые, остроглазые, с самоцветными головками. Иные сверкали всем великолепием палитры в свежих красках, иные — иероглифами точек, решеток, полос. Медленно ползла серая, в черных чешуйках, «кошачья змея» и, как всякий ползучий гад, казалась длинной-длинной. «Ночные» змеи дремали. Они так втирались в песок и так сливались с ним, что лишь случайно наталкивался я на их неподвижно-стеклянные глаза с вертикально-хищными зрачками. Самоцветными камнями сверкали, скользя, ящерицы. Искрились тысячи золотисто-купоросных мух. Пряно пахли нагретые травы. Животной теплой вонью несло из загона, где бродили голенастые страусы,

нося на своих лошадиных ногах кургузые туловища в атласно-белоснежных курчавых перьях и с глупым удивлением вытягивая лысые головки на голых шеях. Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые, горбоносые попугаи, — радужные, рубиново-синие, золотые и зеленые. И тогда сад казался Эдемом, заповедным приютом блаженства и «незнания». Но, снедаемый жаждой знания, жаждой запретного, я ходил от решетки к решетке змеиных клеток. Ужас и отвращение вселяла ленивая, широколобая, пучеглазая «капская гадюка», лежащая толстым ярко-соломенным жгутом в темных подковках. Свившись в палевую спираль, отливавшую голубым пеплом, неподвижно смотрела в пространство круглоглазая, с яйцевидной головкой Гайя, неотразимо-смертоносная покровительница всего древнего Египта, — символ величия и власти, уреус на царских митрах, жгут, обвивающий крылатую эмблему Гора, «ара», стократ изображенная над входами храмов...

А Каир встретил меня закрытыми ставнями, сохнувшими от зноя деревьями, белыми

пустыми улицами. Небо было тускло, дул жгучий пыльный ветер. То был вестник самого бога Сета. И дышал он, пламенный, над странною могил от первородных чад ее с таинственного и грозного Юга, — оттуда, «где бог в своем лучезарном течении покрывает кожу людей мрачным блеском сажи и, иссушая, курчавит их волосы».

1907

Иудея*

И Господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей.

Иезекииль

I

Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой.

На палубе гам, давка. Босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с буро-сизыми, облитыми потом лицами, с выкаченными кровавыми белками, в фесках на затылок орут и мечут в барки все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов люди. Срываюсь и я. Бар-

ка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими.

Пароход, чернея среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди которых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четки и просты. Уступами громоздится этот каменный, цвета банана, городок на обрывистом побережье. От рейда его отделяет длинная гряда рифов. За ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких, тонких мачтах лодок. Их больше всего возле северной отмели, где когда-то был Водоем Луны, финикийская гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина. С юга — желто-серые филистимские пески. На востоке — знойно-голубой мираж Иудеи. Там, за горами, — Иерусалим.

В штиль рифы обнажаются — барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи — таможни. По гладким каменным уступам, в тени звон-

ких переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы — таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудями фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками в крытых полутемных рядах... Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананей с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры!

В садах вокруг Яффы — пальмы, магнолии, олеандры, чащи померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградами, по песчано-каменистым тропинкам, медленно струится меланхолический звон бубенчиков — тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам во-

да — под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует. Но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же — хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чеснока, шафраном, бобами; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!

На другой день покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустынный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпаживать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду мак, мак и мак:

щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

— Но, боже, сколько маку! — говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серо-сизой бородой.

А за Лиддой и Рамлэ, — каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-синим небом среди финиковых пальм и кипарисов, — почва становится еще суше, еще кремнистое и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем, — до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки

его делаются гулки и звонки, путь извилин-
стей; мы глядим на небо уже из какой-то го-
лой, каменистой котловины. И вот котлови-
ны начинают сменяться котловинами, ущелья
ущельями... Иногда они оживляются со-
жженной зноем зеленью деревьев, растущих
на их кремнистых ложах, или пелазгически-
ми останками хананейских укреплений на
куполообразных вершинах; иногда овцами,
рассыпанными по сухим обрывам, среди го-
лышей в лишаях и колючках; или рядами ка-
менных оградок, — следами террас, на кото-
рых спокон веку разводили здесь сады и ви-
ноградники... Только где же те «бездны», ко-
торыми будто бы поражают Иудейские горы?
Где высоты, что будто бы «еще дышат величи-
ем Иеговы и ужасами смерти»?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в
самой сердцевине их. Все поднимаясь и под-
нимаясь, проползаем кремнистые долины,
извивающейся гусеницей огибает поезд се-
ро-желтые каменные ковриги, густо усыпан-
ные круглыми голышами... Это именно здесь,
в одной из этих котловин, «взял посох свой в
руку свою Давид и выбрал пять гладких кам-

ней из ручья и поразил Голиафа...»

Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор — и вдали, среди нагих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер — и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики — евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле... И в то время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спутник мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой.

II

Вчера весь день я бродил по Иерусалиму,

нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате возвратился к Западным воротам.

Как груба и стара громада ворот! Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами почти вся в тени, падающей и от них, и от тяжелой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. Направо — несколько европейских домов, магазинов. Напротив — улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. Из него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины, с головой завернутые в покрывала, постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли... Вечерний свет, падающий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него — высокий, узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера, — на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо мной — громадный «водоем пророка Иезекии», темно-зеленая вода которого стоит

прямо среди домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало — и очень высоко, и очень низко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке...

Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с запада сильный и прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью. Все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы, глубокие долины, куполообразные холмы... За мной, в закате — оливковые рощи и раскиданные по холмам здания: католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте, — четкий известковый конус, гора Самуила. На востоке, за Кедром и горой Елеонской, — Иудейская пустыня, долина Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший полнеба, ровный и высокий хребет от века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мною плоской, голой кровлей желто-розового цвета лежит камен-

ная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубокими долинами и оврагами.

«Иерусалим, устроенный, как одно здание!» — вспоминаю я восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца, — только одна старая высокая пальма на южной стороне, — он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он, воспетый Давидом и Соломоном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный садами Песни Песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящий к кремнистой ложбине Кедрона, к переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, окруженный пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретисцем, одевшим славный прах былого.

Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-си-

ний купол приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов, над водоемом, лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжелых, вросших в землю храмов над Гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до купола Гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей верезжат и носятся над этой каменной стариною. Солнце опускается, в темных норах и переходах, скрытых кровлею города, в грязных базарных рядах замирает шум и говор торга... Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его Гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды!

Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его последний звук, издали раздастся грустный сильный альт, призывающий к смиренному прославлению Аллы за мирно

угасший день. Ветер с запада, холодный. Солнце скрылось. На город и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы — как южное море в тумане. Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним...

Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи. Внизу стучат, поспешно закрывая лавки. Жизнь замирает, прячется в свои норы. Сумрачны стали купола Мечети и Гроба. Темным ветхозаветным Богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет, — даже и ветхозаветного Бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. Место могилы Иисуса задушено чернокупольными храмами. Мечеть

Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов...

«Се оставляется вам дом сей пуст...»

III

На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея — как эта могила.

Я был в Вифлееме и Хевроне. Путь до Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби. И вспоминались сады и виноградники Соломона:

— Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышится в стране нашей... Встань, возлюбленная моя! Выйдем в поле, побудем в селлах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы...

Как голос Жениха-Христа, обращенный к Невесте-Церкви, понимала древняя церковь этот сладкий весенний зов: «Встань, возлюбленная моя!» Но не ко всей ли земле был обращен этот зов?

По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где «деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию...»

Вифлеем — жизнь, воздух, солнце, плодородие; его тесно насыпанные по холмам палевые кубы смотрят на восток, на солнечно-мглистые дали Моавитских гор, от которых некогда пришла кроткая праматерь Давида Руфь.

Но за Вифлеемом — пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные круглыми гольшами, да кремнистые долины. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со щебнем, ведь это и есть Страна Обетованная, страна, что родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолетово-красные озера стоят в долинах среди гор, усыпанных гольшами. Точно сперва кровавый, а потом каменный

ливень прошел по этой стране...

Водоемы Соломона! Я ждал их с волнением — и вот увидел наконец. Влево от дороги стоят руины зубчатой сарацинской крепости. За ней вход в новую глухую, мертвую долину. И уступами лежат в этой долине три гигантских цистерны. Первая суха, пуста. Во второй половина покатога дна чуть прикрыта бирюзовой водой. В третьей покрыто все дно. Густые зеленые кудри дикого плюща виснут со стен. Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко поглядывая на черных коз, рассыпанных среди голышей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем. Маленькая вьющаяся бородка, огненные глаза. Грубые бедуинские башмаки. На худое тело надета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная хламида, белая в черных полосах. За плечами — кремневое ружье... Совсем не о Соломоне напоминает этот

потомок Измаила и Агари! Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте...

Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал мне на пещеру у подошвы холма — на «пещеру Иеремии». Я свернул к ней. Вечер был мирный, с нежно синеющими далами, — летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст дикого шиповника. Стрелой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, сел и наострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченной дымом, валялись пестренькие крылышки съеденной совки...

Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну ветхозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно выгнув свои тонкие шеи,

откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шло сзади...

А Хеврон — это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой Долине Возлюбленного. Базарная улочка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимешься на взгорье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почивают Авраам и Сарра — прах равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками...

В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок. «И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником — твердыни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом». Но мешало ли это возникновению среди развалин новых царств?

Не то было в Иудее.

В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом Завете Иудея все же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля. Ее необозримые развалины ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом! Навуходоносор «пахал Сион». Тит «выше стен» загромоздил его трупами. Приближение его было приближением воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом молчании, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. «Мы уходим!» — сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и «волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима». То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, в ветхозаветной

ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды... И чудовищно было это возмездие!

Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее «голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты». Да не останется камня на камне от великого, сто-крат погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать «терном и волчцами».

Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почует она в тысяче-летнем забвении, возвратится ко дням патри-архов...

И она возвратилась.

1908

Камень*

I

Открыв глаза, почему-то с особенной радостью увидел я нынче открытое окно своей холодной каменной комнаты. На аршин от окна — высокая желтоватая стена соседнего дома. Ранний солнечный свет золотит ее, заглядывает и ко мне. Где-то внизу по-деревенски блеет коза, где-то вверху раздаются звонкие голоса детей, собирающихся в школу. Вдали, на базарах, восторженно рыдает осел.

Холодно и на крыше, но ослепительное солнце, только что поднявшееся из-за Моавитских гор, над долинами, затопленными светлым паром, уже пригревает одежду, руки. Пряный утренний запах тлеющего на очагах кизяка, его горячего дыма, выходящего из труб прозрачным, дрожащим. В тишине слышен плеск бурдюков, опускаемых из окон в зеленую воду водоема, еще полного густой тени; слышен зычный крик водоносов, бегущих по покрытым улочкам базаров, говор и дробный стук копыт на площади возле цитадели. Весело верезжат и носятся несметные стрижи над

розово-желтой кровлей города, над ее опрокинутыми каменными и глиняными чашами, и вокруг черного купола Гроба. Жарко блещет полумесяц на великолепной мечети Омара, такой одинокий среди окрестной старины и бедности.

Стук копыт — это приводят лошадей для туристов и паломников европейцев. Европейцы живут по отелям, католическим и протестантским миссиям, осматривают святыни почтительно и спокойно. А говор — это говор русских мужиков и польских евреев, идущих плакать. Одни будут лить слезы у Гроба, другие — у Стены Плача, уцелевшей от храма Иеговы. Русские живут в скучных казенных корпусах Православного Общества за Западными воротами. А евреи ютятся в трущобах южного квартала и плачут у останков древнего Сиона, нарядившись в бархатные халаты и польские шапки из остистого меха, под которыми видны на затылках ермолки, а на висках огромные завитки.

Все те, что спешат к мечети Омара, Стене Плача или просто на базары, неминуемо должны пройти по улице Давида. В этом

длинном каменном коридоре, уступами спускающемся под уклон, в этих тесных и пахучих рядах старого Востока течет непрерывная река — ослов, патеров, имамов, верблюдов, женщин, турецких солдат, бедуинов и паломников всех исповеданий. Своды, холсты и циновки делают его тенистым, но кое-где между ними видно яркое небо, пыльно-золотистыми столпами прорезывается солнце, и даже в тени чувствуешь, как быстро приближается жаркое палестинское утро. Вот серебром блеснули в этой живой солнечной полосе две белые женские фигуры, вот, напомнив Яффу, промелькнул в ней старик, курчаво-седой, черно-сизый, с толстыми губами, тонкими борцами и раскрытой грудью, под черным платком и в пастушеской пегой хламиде; вот ярко озаренный угол какого-то вросшего в землю дома, сложенного из обломков дикого камня и древнееврейского мрамора, с травой на карнизе — над входом в мясную лавку... Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса...

Один из переулков налево весь состоит из

лавок с крестиками и образками. Дальше ка-литка в каменной ограде, а за ней каменный двор, полный жаркого солнца, стиснутый стенами греческих и латинских подворий и самого храма. Мраморная паперть его занята торговцами, разложившими на ней все те же кипарисные и перламутровые крестики, четки и раковинки. И этот двор, храм — это-то и есть «Юдоль Мертвых». Некогда она лежала вне городских стен, была пустошью, служила для свалки нечистот и крестной казни. Потом стала величайшей святыней мира. И владели ею то Рим, поставивший над могилой распятого храм Венеры, то Византия, то Хозрой, то Омар, то Готфрид, то султаны Стамбула...

Фасад храма сер и тяжел. Входы его в больших глубоких сводах, украшенных обветшалыми барельефами.

Один грубо заложен камнями. Другой широко зияет темнотой, усеянной цветными огоньками лампад. Два старинных решетчатых окна во втором ярусе слишком малы, незаметны по сравнению с фасадом. И фасад кажется частью слепой крепостной стены. Толпой выходят русские мужики и бабы, обо-

рачиваются, кланяются до земли и, встряхнув волосами, вздыхая и вытирая полами заплаканные глаза, идут бродить по базарам... Злобно верезжат и черными стрелами носятся вокруг горячо нагретых стен стрижи... Снисходительно-ласково, притворно-сердито воркуют голуби на выступе карниза...

В портале, на широких нарах, курят, пристально глядя на шахматы, турецкие солдаты. Дальше — сумрак первого притвора, и среди исполинских погребальных свечей, на низком помосте, под балдахинном, увешанным дорогими разноцветными лампадами, — желто-розовая плита: Камень Помазания. Налево — ротонда под колоссальным несведенным куполом, детски расписанным облаками, лазурью, ангелами. Посреди — часовня песочного мрамора, вся в блестящих окладах и горящих лампадах. У входа ее горят разноцветные свечи, перевитые сусальным золотом, выше роста человеческого... Вот он, этот жуткий погребальный Вертеп, такой тесный, что в нем трудно повернуться, и настолько залитый светом, что в нем слепнешь и не сразу разглядишь у стены направо низкую лежа-

ночку из мрамора! А к ней-то и текут со всего мира, ее-то и кропят ежечасно розовой водой, над ней-то и пылают пятьдесят лампад и целые костры восковых свечей...

После жара и блеска Вертепа, сумрачно кажется в Ротонде. Тут с утра до вечера — сплошной крестный ход, давка, слезы, рыдания, служба на всех языках. Служат и в греческом соборе, рядом, и в католических приделах, и на Голгофе — маленьком темном алтаре, куда поднимаются из преддверия Ротонды по мраморной лестнице. Служат и в дальних подземных храмах, где стоит вечная ночь, мрак, озаренный лампадами, и холод могилы... И всюду золото, иконостасы, драгоценные камни, образа всех времен и всяческого письма, ладан, распятия, статуи Мадонны...

«На горе сей пьют радость, пьют вино!»

II

Но еще более горькая радость — у Стены Плача, у останков святилища Иеговы.

Если не свернешь с улицы Давида к Гробу и пройдешь немного ниже, то необходимо свернешь вправо, в узенькие и жаркие труппобные ходы, что уступами приводят в глу-

хой длинный закоулок. С трех сторон замыкают его стены каменных домишек. С четвертой, — если стать лицом к востоку, — громадная крепостная стена: Стена Плача, остаток укреплений вокруг храма Соломона, а теперь часть стен вокруг мечети Омара.

По утрам здесь тень. Зелень нескольких акаций радует глаза, отвыкшие в Иерусалиме от зелени. Радостными синими глазами глядит сверху небо. Но под стеной, под ее золотистыми камнями, отшлифованными мириадами уст, стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный ропот и говор. Он то замирает, то возрастает; то сливается в нестройный хор, то делится на выкрики. Женщины, накрытые шелковыми шальями, прислоняют к стене головы и бормочут ей свои жалобы покорно и несмело. Мужчины, прижавшись к ней левым плечом, держат в левой руке старинные молитвенники, а правую простирают к верхним камням. Они быстро-быстро читают, выкрикивают какие-то заклинания и страстно молят, ищут кого-то в ясном небе. Они в отчаянии опускают веки, поднимают брови и, стеная, раскачиваются...

И вдруг опять оживают, раскрывают заблестевшие глаза... И в то время, как одни хватаются за головы, топают ногами и рыдают, другие жадно покрывают поцелуями стену, с восторженными воплями подсакивают и бьют в ладоши...

Сколько здесь круглоликих, огнеглазых юношей с черно-синими пейсами, в одеждах испанских евреев, и тонконогих, худосочных старцев, точно сбежавших из Долины Иосафата! Лица их бледны как смерть, головы закинута, большие выпуклые веки сомкнуты, крутые серые пейсы и белые длинные бороды трясутся. Страшно то, что эти библейские покойники наряжены — в новые меховые шапки сверх ермолок и в алые бархатные халаты, которые открывают жидкие ноги в белых чулках и погребальных туфлях. Но еще страшнее, когда они, на вечерних литаниях в пятницу, соединяют свои дрожащие голоса в один мучительный вопль, отвечая предстоящему.

— Ради чертогов покинутых! — скорбным тенором восклицает предстоящий.

— Одинокие, сидим мы и плачем! — жа-

лобно, фальцетами вскрикивают старцы.

— Ради чертогов разрушенных...

— Одинокие, сидим мы и плачем!

— Ради стен ниспровергнутых...

— Одинокие, сидим мы и плачем!

— Молим тебя, умилосердись над Сионом, — запекает предстоящий.

— Собери чад Иерусалима! — подхватывают старцы.

— Поспеши, поспеши, искупитель!

— Да воцарится на Сионе мир и радость!

— И опять расцветает жезл Иесея!

Но уже никогда, никогда не расцвести ему снова ветхозаветными цветами! Разве может забыть земля о том незабвенном утре две тысячи лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу?

«Ему подали книгу пророка Исаии; и он, раскрыв ее, нашел место, где было написано: Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...»

Мечеть Омара цветет над нищей и нагой Иудеей во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов.

Даже из-за Мертвого моря, с первых уступов Моава, видна она. В знойном неоглядном просторе открываются оттуда огнем горящие на юге и теряющиеся в блеске неба и солнца воды, поглотившие Содом и Гоморру; за ними — таинственная светоносная Аравия. На севере, в глубине бесконечных извилистых долин, — Иерихон. Маленьким оазисом темнеет он в пустыне, у слоистого подножья Иудейских гор. Выше, среди их голых желто-серых перевалов и впадин, как модель аравийской крепости, лежит Иерусалим — и тускло блестят над ним купола мечети и Гроба. И от Аравии, из-за Иордана, с морских побережий — отовсюду стекаются к стенам и святыням этой крепости пути поклонников всех стран и народов. Мечеть — первая Кебла Ислама. Сам пророк заповедал молиться, обратясь лицом к Камню Мориа, ныне покрытому ею: Мекка стала Кеблой позднее, уже по-

сле его смерти. И «пилигрим, вступивший за священную ограду мечети и поклонившийся Камню, один получает награду, равную награде тысячи мучеников, ибо здесь молитвы его так близки к Богу, как если бы он молился на небе».

Черномазый араб-часовой, в феске и синей турецкой форме, с карабином на плече, медленно бродил возле старых крепостных ворот, когда мы, спустясь по улице Давида, несмело остановились возле них. Еще очень недавно великих трудов стоило не только войти, но даже заглянуть во двор Святилица, а сто лет тому назад за это платили жизнью. Теперь часовой только покосил своими голубоватыми белками, только блеснул огненно-черным зрачком.

Близился полдень, странным металлическим светом блистали (в пролеты длинной отдельно стоящей прямо против ворот колоннады) грани этой огромной мечети, вознесенной на мраморный помост среди ослепительно-белого простора каменного двора. Древние кипарисы стражами стояли возле нее. Несколько ветхозаветных олив раскидыва-

лись там и сям своими серебристо-пыльными пущами над плитами двора, проросшего тонкою бледно-зеленой травой. Под одной из олив, прямо, по-женски, вытянув ноги, сидели две благочестивые мусульманки, закутанные в легкие бледно-розовые покрывала. Голуби, трепеща и свистя крыльями, падали порою на горячие ступени помоста. Но казалось, что уже давно-давно не ступала в этом светлом дворе нога человеческая, — что в каком-то заповедном царстве растут эти черные картинные деревья и блистают чистотой эти каменные плиты. Мертвенно-холодно сияли вечно-свежие краски мечети, возвышавшейся в своем азиатском великолепии среди света и зноя, под слегка аспидным аравийским небом.

Она царит надо всем, что вокруг нее, и вся на фоне этого неба. Ее длинный восьмиугольник, весь из золотистых мраморов, и нежно-лазурный барабан, поддерживающий купол, все это немного приземисто по сравнению с величиной темно-синего свинцового полушария, рубчатого сарацинского купола, увенчанного необычно большим золотым

серпом луны с соединяющимися острыми концами. По-аравийски сумрачная вверху, по-дамасски блистающая инкрустациями снизу, мечеть резко глядит в пролеты колоннады.

Мы поднялись на помост. И тогда мечеть еще ослепительнее предстала перед нами своей громадой. Почти правильная полусфера купола чуть-чуть заострена на вершине, чуть-чуть вогнута у основания — и кажется легкой. Верхний карниз барабана и пространство между его окнами — все в лазурных и белых майоликах, испещренных золотою вязью куфических надписей. Широкая, блистающая полировкой лента белых и лазурных изразцов, тоже вся в золотой вязи, идет и над большими полукруглыми окнами по стене самого восьмиугольника.

Худой, живоглазый мулла быстро распахнул дверь, и, разутые, скользя по желтым камышовым циновкам, вступили мы в прохладу и сумрак, слабо озаренный голубым и розовым светом драгоценных разноцветных стекол. «Что это кажется странным в этой мечети?» — думал я, пока глаза мои привыкли к ее

полусвету. И, наконец, понял: ах, то, что нет в ней обычного простора!

Простора нет потому, что стоит в ней восьмиугольная колоннада: восемь широких столпов и шестнадцать колонн, соединенных архитравом. Пролеты между ними — арками. Как старинная парча, покрывает эти столпы и архитрав блеклая зелень, матовое серебро и золото мозаики, переносящей мысль к Византии. Византийскими капителями увенчаны и колонны.

Но мало того: за этой аркадой высится вторая — круг из четырех столпов и двенадцати колонн, поддерживающий барабан с куполом, круг колонн яшмовых и порфировых — наследие Соломона и Адриана. И уже совсем необычно то, что с великим изумлением видишь в этом круге, за этими колоннами, за соединяющей их невысокой бронзовой решеткой: под зеленым шелковым балдахинном, нарушая всякое представление о всяческой человеческой постройке, тяжело и грубо чернеет дикая морщинистая глыба гигантского камня! Купол выстлан внутри той же матовой зелено-золотой парчой мозаики. Сказочно-раз-

ноцветное сияние льют рубиновые, сапфировые, топазовые стекла. Неясно блистает весь храм мраморами и загорающимися гранями хрусталя на несметных люстрах. Тонким ароматом кипариса и розовой воды напоен прохладный сумрак... Зачем же так первобытно вторглась в этот божественный молитвенный чертог сама природа?

Талмуд говорит:

«Камень Мориа, скала, на которой первый человек принес первую жертву Богу, есть средоточие мира. Скалу Мориа, что была покрыта некогда храмом Соломона, а ныне хранима мечетью Омара, положил в основание вселенной сам Бог».

Древние книги и легенды Иудеи и Аравии говорят:

«В Иерусалиме Бог сказал Скале: ты — основание, от коего начал я создание мира... От тебя воскреснут сыны человеческие из мертвых».

«Сойдя в пещеру под Скалой, Медшир-ед-Дан видел чудо чудес: колеблющаяся глыба Скалы, ничем и никем не поддерживаемая, висела в высоте, подобно парящему ор-

лу».

Магомет — в ночь своего путешествия из Медины в Иерусалим на верблюдице Молнии — «стал своей священной стопой на Скалу Мориа, раскачивающуюся между небом и землею». Был взмах, почти достигший врат рая, — и Скала издала крик радости. Но пророк повелел ей молчать — и вошел во врата рая. А Скала вновь пала к земле — и вновь вознеслась — и в движении своем пребывает и донныне: «не мешаясь с прахом и не смея преступить неба».

Кабалистические книги говорят:

«Адонаи-Господь воздвиг в Бездне Камень и начертал на Камне имя святое. Когда поднимаются воды Бездны до Камня, они отбегают вспять в ужасе. Когда произносится ложное слово, Камень погружается в воды — и смываются буквы святого имени. Но ангел Азариэла, имеющий 17 ключей к таинству святого имени, снова пишет его на Камне, и оно снова гонит прочь воды».

«В дни пророков Камень был внутри святилища храма Соломона, и первосвященник ставил на нем курящуюся кадильницу. На

нем же стоял и Ковчег Завета, урна с манной и лежал вечно цветущий жезл Аарона. Ныне Ковчег Завета скрыт в тайниках под Камнем, где сохранял его от врагов сам Соломон, которому Камень давал неземную силу: с него видел царь весь мир от края и до края — и понимал язык птиц и зверей».

Но вот в день падения храма, в девятое число месяца Аба, Камень Жизни останавливается. Сила его иссякает. Тайну Тайн, неизреченные письма, означающие святое имя, прочел Иисус. И к нему же перешла и сила Камня. «Иисус, воспринявший силу его, творил чудеса этой силой». Где же теперь силы Камня?

После Иисуса, говорит Ислам, сила Камня перешла к пророку. И прав Ислам: пророк дал «движение» Камню. «Но недолго сияло солнце Ислама во всей славе своей». Что же готовит миру будущее?

1908

Шеол*

В сумерки, проходя по базару в Яффе, я нечаянно поднял глаза и увидел тонкий серп луны. Закрывались в полумраке рядов лавочки, проносили от фонтана последние кувшины. Собаки, горбясь и сливаясь с темнотой внизу, подбирали остатки торго. Неожиданно дошла откуда-то нежная сладость цветущего дерева. Я поднял глаза и увидел в легком и прозрачном небе вихор пальмы, а над ним — острый, чистый, тонкий «лук Астарты».

На берегу, под городской стеной, тянуло теплым ветром с неоглядной мелкой зыби взморья. Чуть видные, мягко и красиво намазанные сизой мутью облака терялись на закате... «Сумерки, море, угол ханаанско-аравийских берегов...» — подумал я. Над стеной, в старом каменном домишке, зияет черная оконная дыра без стекол. Слышно, как там, в камерке без огня, укладываются спать и, плача, ссорятся дети. На западе, над лиловатой тьмой моря, склоняется покрасневший, меркнущий и теряющийся в небе полумесяц. И так пустынно сумерки над гаванью бесслед-

но исчезнувшего с лица земли Ханаана, так все просто и бедно вокруг, точно я один в мире, у его безлюдного начала...

На другой день я покинул Яффу. Убирали трапы, вечерело. Жаркое солнце склонялось к золотому морю. Рейд стоял как зеркало, рифы обнажились, отдыхали, белые чайки, плававшие над кормой, казались огромными. В упор освещенная Яффа, громоздясь на холме перед нами, переливалась зеркальным отражением воды и вся была цвета банана. Задрожала, поворачиваясь, корма, забурлил винт — и Яффа тронулась. Но я не спускал с нее глаз до тех пор, пока она, все отдаляясь, не слилась, наконец, с песками на юге, фиолетовыми от голубой дымки воздуха и опускающегося солнца.

А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой мы шли на север. Все смутней и печальней становилась долина. Солнце погасло, и вода у берегов стала тяжелой, кубовой. Одиноким, затерянным казалось какое-то селенье, далеко-далеко белевшее в сини равнины. Я смотрел и дивился безлюдности этого побережья. Вон где-то там, в устьях мелких рек, бегущих от Кармила, ле-

жала Кесария. Некогда это был славный порт и город Ирода; теперь только пески, камни и колючий кустарник... И так — по всему побережью.

С вечера было тепло и ясно. Палуба, испещренная легкими тенями снастей, блестела. В вышине, сквозь снасти, тепло сиял полумесяц. Но близился Ливан. На ночь я открыл в каюте иллюминатор — и после полуночи проснулся: стало прохладно, по темной каюте ходил сильный влажный ветер. Я заглянул в иллюминатор: и там была серая темь. Пахло морем. Ливан дышал мглою. Во мгле, как на краю земли, висели два мутных маячных огня. Дальний был красноватый. Я подумал: это Тир или Сидон. И мне стало жутко.

За Кесарией — следы Египта и Финикии. Во времена служения Астарте на месте Кесарии был какой-то большой ханаанский город, упоминаемый в надгробном заклятии царя Эзмунацара. Ранее, во времена поклонения «богу всепожирающего времени», крокодилу, был египетский Крокодилопос. И в песках, затянувших останки этих городов, и теперь еще находят разбитые сиениты, погребальные ко-

лодцы крокодилов...

В полночь мы прошли Кармил, горный мыс Ваала Громовержца. С Кармила иудейские пророки метали самые ярые проклятия язычеству. На Кармиле, в одной из пещер троглодитов, жил Илия, лютейший враг Ваала. Но жизнь на Кармиле, бывшем ипостасью Ваала, не прошла для Илии даром. Тысячи преданий слили его образ с образом солнечного бога: Илия был питаем вранами, повелевал громами и бурями, низводил огонь и дождь с неба, превращал в камни растения, заживо, как истый сын Солнца, вознесся к нему на пламенной колеснице. И все это сделал Кармил, на котором не было даже капищ, — только каменные жертвенники, — Кармил, у подошвы которого Лемех убил одичавшего Каина, приняв его за зверя. Необозримое море, с трех сторон лежащее под Кармилом, бушует круглый год. И богослужения в монастыре кармелитов, стоящем теперь на Кармиле, принимают порой жуткое величие древних языческих богослужений. «Море заглушало голоса поющих и орган, — говорит один паломник. — Над горою стоял непрерываю-

щийся гул — глас Божий, потрясающий пустыню и приводящий в содрогание горы...»

Качало у Кармила и нынче. Засыпая, я чувствовал, как темная каюта опускается и поднимается, слышал скрип переборок. Теперь было тихо. Кармил был уже далеко. Ровно, с однообразным плеском бежала вода вдоль борта погруженного в сон и тьму парохода. Мы шли уже мимо «блудилищных гротов Астарты» и погребальных спэосов, мимо каменисто-песчаной полосы под волнистыми отрогами и скатами Ливана, — мимо самого Шеола, этого сплошного некрополя между Тиром и Сидоном. Когда-то от Тира до Сидона «можно было пройти под землю — по гробовым пещерам и колодцам». И как дерзко мешались когда-то с ними «гроты» Астарты! Ее поклонники и поклонницы чертили мистический знак треугольника даже на стенах спэосов. А Тир? Разве думал он о смерти, — он, «Сын Солнца и Моря, рожденный в веках баснословных, превзошедший все народы жаждой жизни, алкавший земель всего мира»?

И все же победила — смерть. «Тир, умолк-

ший среди моря! Кую мзду приобрел ты от него? Сия глаголет Адонай-Господь: се аз на тя, Сур, и приведу на тя языки многи, яко же восходит море волнами своими...» Ужасные слова! Но есть еще ужаснее: «Вот я приведу на тебя. Тир, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей... Сделаю тебя городом опустелым, подобно городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину... Низведу тебя с отходящими в могилу, к народу, давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли... Ибо вознеслось сердце твое и сказало: аз есмь Бог!»

«Аз есмь Бог...» Библейские пророки до потрясающей высоты вознесли проклятия слишком «вознесшейся» жизни. И по слову их и вышло: тиро-сидонский берег, столь щедро оплодотворяемый Богиней Жизни, дал начало образу Шеола — преисподней. Его погребальные камеры и колодцы, перемешанные с гротами страсти, получили страшные названия «сетей смерти», «колодцев гибели». И «простерся страх смертный над радостной страной Ваала-Солнца». Это ведь он, этот страх, внушил царю Эзмунацару мольбу его

скорби и незащитности:

«В месяц дождей, в год четырнадцатый царствования... Поражен, пленен я, наследник дней героев, сошел в ад, сын бога смерти... Заклятие мое перед всем царством и всем человечеством: да не вскрывает никто входа моего, не сдвигает гробницы моей, не оскорбляет меня внесением другого гроба!»

Бог ли человек? Или «сын бога смерти»?

На это ответил сын Божий.

1909

Пустыня дьявола*

I

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему...»

Глядя с крыш Иерусалима на каменистые окрестности — чаще всего на восток, на пустыню Иудейскую, — каждый раз вспоминаю я эти слова, — пролог величайшей из земных трагедий.

Дьявол, Азazel, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пустыни. Это он обитал в ее знойном серо-ка-

менном море, некогда взбудораженном подземными силами и навсегда застывшем. Это ему каждый год — в десятый день седьмого месяца — посылали левиты и первосвященники Козла Отпущения — от лица всего Израиля, за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы предтечи!

После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала «секира при корне дерева». Жуткими пророчествами возвестил предтеча о грядущем за ним.

Не было тогда города, равного богатством и красой Иерусалиму. Из Яффы были видны его здания, блиставшие золотом и мрамором: «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих».

В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится — и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но — «Дух

ведет его в пустыню», в царство Азазела, тех ветхозаветных, Богом проклятых мест, где «скрылся Каин, жаждущий крови брата своего». «И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями».

Пустыня видна с крыш Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном, эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и голышами, волны и впадины былых землетрясений. Но разве власть Азазела не простирается и на тропически-знойный дол Иордана, — эту глубочайшую в мире низменность, с ее смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое?

Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошной кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеют куполы

Гроба Господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим верезжанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется в мгlistой суши...

Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава.

II

После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце — все становится ярче, яснее.

За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается — мимо погребальной пещеры Богоматери, Гефсиманского сада и гробниц Авесалома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами.

Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?

Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почилла она, простая женщина из Наза-

рета, венчанная высшею славой — земной и небесной.

А русло Кедрона? Это дол Иосафата, место грядущего Страшного суда, великая житница Смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее Господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоиля: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову».

Солнце уже клонится к западу, за Иерусалим. От его восточной стены пала тень. Но ослепительно-золотисты скаты Элеона, дорога, извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы. Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в черных ободках крыльями: любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон.

За Элеоном — Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают

дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патриархальных скитаньях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чист и силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посе­вы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево, — несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками; в крутых, кривых и узких проходах между ними всюду сор и тряпки, полуголые черные дети, слепцы и убогие. Но как все-таки должны были радоваться после пустыни их сады и люди!

И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне! Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускаются узкой холодной шахтой, со свечой в руке. Подлинней же всего древность того пути, что ведет от Вифании в страну Азазела глубокой, извилистой и страшной в своей мертвенно-

сти ложиной Эль-Хот. Этот путь неизменен от века. Иных сносных путей в пустыне Иудейской нет, не было, да и не могло быть, ибо только на этом пути есть источник, — источник Апостолов, — без которого немислимы переходы по ней.

От Вифании начинается спуск, неуклонное падение. И страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой, волнует радостью, обманывает, как искуситель.

На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные. Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня, каменным волнистым морем падающая к Иордану, кажется так мала! Как серебристо-голубой туман — далекая и неоглядная долина Иордана. Южное устье ее налито сейчас таким густым и ярким аквамаринном, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности, воздушности. Но минута — и это видение исчезает надолго, надолго...

Мы теперь в стране, лишенной всякого

очарования, — если не считать редких пятен
огненного мака, кое-где оживляющего ее. Рез-
кими, крутыми изломами въезжает и падает до-
рога с возвышенности на возвышенность.
Быстро замыкается горизонт скалистыми и
глинистыми ковригами, разделенными таки-
ми же логами... Мы уже давно в глубоком, из-
вилистом ложе потока, иссохшего в незапа-
мятное время, и известковая дорога, пробитая
здесь тоже с незапамятного времени, поми-
нутно переходит с одного бока на другой. Ни
единого живого существа, кроме ящериц, не
замечает глаз и не слышит ухо, гробовая ти-
шина стоит над этой страной, столь бесплод-
ной, что даже древнейших кочевников ужа-
сала она, навеки связанная с образом незри-
мо Обитающего в ней. Недаром бедуины еще
и до сих пор складывают вдоль Вади-эль-Хот
пирамидки из щебня — в знак заклятия тем-
ных сил пустыни. Нет никакого сомнения в
правоте тех, что называют этот путь именно
тем, по которому, до самой таинственной «се-
редины» его, провожали левиты жертву Аза-
зелу. Какой же ужас должен был охватывать
проходящих здесь при виде Иоанна, решив-

шегося разделить его обитель, когда внезапно, во весь свой рост, с громовыми глаголами, появлялся он перед ними из-за камней, в одежде из верблюжьего волоса! И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей — с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!

III

В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан, — нечто вроде каменного сарая, — и жарко блестит при низком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это «источник Апостолов», или, по-древнему, источник Солнца, ибо не могли не посвятить древние эту «жизнь пустыни» богу жизни. Три бедуина, без плащей, с черными палками в серебряных обручах, стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами, с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих изма-

ильтян?

Те, что у источника, — народ оборванный и невзрачный. Сидящие на пороге — дело иное. И особенно один из них. Он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом, ни на йоту не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри его. И поднимается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутые в стоптанные сапоги, очень длинные и слегка кривы, голова мала, откинута назад. Он на редкость худ, одежды на нем без числа. По плечам висят концы белого шерстяного платка, накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая, цвета мумии, шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле — белая рубаха до колен, поверх рубахи бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках, поверх халата — кубовая кофта на вате; и все это под широкой и длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправ-

для одной рукой заткнутые за широкий пояс из шали кремневые пистолеты и кинжалы, а другой — карабин за плечами.

— Откуда?

— Из Газы.

— А куда?

— В Иерусалим.

Но почему же, севши на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью, — он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные взгляды... И вдруг, поравнявшись со мной, сует мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это — золото, и просит за него всего десять франков. Соглашается, впрочем, и на два. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени.

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами, из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров, дует ветер, — порывистый, как дыхание горячего. И только топот копыт раздается в

гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая, — говорит один старинный паломник. — Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших...» И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце. Вот она, эта «середина» пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Азазелу, — известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу! На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает в провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав, — стали ко-

нусообразными, похожими на потухшие вулканы, однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому, вдоль узкой реки, вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи, и синее устье Мертвого моря ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой середины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скалистыми стенами. Тень и вокруг нас, — на всех буграх и во всех котловинах.

Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические. Вот опять идут верблюды и за ними — идумейцы, в уголь сожженные ветрами и голодом, в одних кубовых линючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки и с отрочества состарившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древнеаравийские предания, глазами. Вот черный и губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит

на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат, с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги... Все спешат в Иерихон — единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге.

IV

Ночи здесь сказочно-прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими содомскую прелесть ее давно минувшей жизни.

В сумерки, на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги, внезапно открылась глубокая каменистая трещина — ущелье Кельта — и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним: там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А когда мы спустились в долину и по-

вернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокадневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против искушителя.

Вся иорданская низменность, страна, что некогда «орошалась, как сад Господень» и на весь мир славилась легендарным плодородием, красотой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражает теперь тем запустением, «где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвия». Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. «Пальмы и мимозы, сахарный тростник и рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана». Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая, даже имя того селенья, что наследовало Иерихону: Риха — благовоние. Но оазис

этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокадневной, близ источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селенье все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров.

В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за Рихой, на одном из жестких аспидных холмов, что волнами идут к горе, — на могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекие Моавитские горы, — край таинственной могилы Моисея, — были предо мною, а запад заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место Искушения. Оттуда тянуло теплым сладостным ветром. В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако. И того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором. И туманной бирюзой мерцало на юге устье Моря, что терялось среди смыкавшихся там гор...

Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумер-

ки зачался таинственно-звонящий, горячечный шепот насекомых, незримыми мириадами наполняющих душную чашу оазиса, и приторно-сладко запахла его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящихся мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно-смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, с сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор — все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами повисших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха — звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звонящем полусне, который наводит на меня дьявол Содома и Гоморры.

Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь

обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы. Понимаю, что уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становятся все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой?

Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево, трепещет и переливается искрами сикомор во дворе. Сверху донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник...

Много раз я пытался заснуть, входил в дом, в свою темную, горячую комнату, ложился под душный кисейный балдахин, но и здесь эти ароматы, эти скользящие искры, этот дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, по минутно палимое жалами москитов, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди Двора, и так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в

этом каменном доме с раскрытыми окнами и настежь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его — и с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца...

Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги-араба стала еще чернее. Раздвоившийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ним и землею. Кажется, близок рассвет! Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг. Сперва по камням, а потом по теплomu песку я спешу за селение — взглянуть на долину, на Моав, на восток. Но на востоке все еще только поздние крупные звезды. Бледный серебристый свет их стоит над далеким мертвенно-бледным Морем. Бледные пески долины мерцают как бы манной. Бледные полосы тумана тянутся по извидам Иордана, — и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе. И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной...

«Отойди от меня, Сатана».

1909

Страна содомская*

Только на рассвете тянет в окна легкая прохлада вместе с ароматом эвкалипта.

Ночью, при звездах, старые деревья во дворе отеля казались сказочно-высоки и ветвисты. Теперь они принимают обычные очертания. Смолкли жабы, замер звон насекомых в кустарниках, погасли огненные мухи. Мы выходим за ворота, садимся на лошадей; все молчит и в тех немногих хижинах, что зовутся Иерихоном или Рихой; всюду сон, один сверчок трюкает в каменной верее, от которой еще дышит тепло ночи. Но за мечетью уже слышен говор.

Ее белый невысокий минарет стоит при дороге, на самой окраине Рихи. Под ним часто ночуют бедуины. Ночевал небольшой караван и нынче. Мы проезжаем мимо него; попукаемые жожаками, глухо урчат верблюды, поднимаясь с теплого песка. Над мечетью, в светлеющей вышине крупной слезой висит Венера. На востоке, над синеватым Моавит-

ским кряжем, небо шафранное. Но еще по-ночному тлеет костер табора, летучие мыши реют вокруг мечети.

За садами Рихи, на западе, — обрывы Иудеи. Отчетливо слоятся серо-фиолетовые уступы горы Искушения. Но внизу еще тень, и, верно, мыши принимают ее за сумерки, когда и создал их Христос. Он сорок дней и ночей провел в пещере над Иерихоном, на обрыве, закрывающем запад, — он не знал, когда садится солнце и когда надлежит совершать молитву. И вот однажды поднялся он на вершину и, как только скрылось солнце, начертал на пыли то легкое, таинственное создание, что так любит сумрак. Он вдохнул в него жизнь и сказал: «Каждый вечер на закате солнца вылетай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, дабы знал я час молитвы...» Я поднимаю голову, вспомнив эту дамасскую легенду, и не узнаю окрестности: мы проехали версту, не больше, а уже день, совсем день.

Глухой котловиной, бесплодным и безлюдным долом тянется с севера на юг, от самого моря Тивериадского, известково-песчаная пу-

стыня, которую почти напрямик пересекает путь от Рихи к Иордану. Те, что пытались исследовать ее, видели по реке всего два-три селения, — даже каменистый Моав, дочерна спаленный солнцем, люднее иорданских берегов. То же и здесь: на всем огромном пространстве, окружающем нас, лишь одно живое место — оазис Рихи. Оглядываясь, видишь белые пятна хижин среди темной зелени, приютившейся под горным обрывом. Там, в садах, еще растет деревцо небд, приносящее акриды, растет бальзамический цаккум, сильный терн, из которого сплели венец Иисусу, а весной цветет много диких индийских цветов. Но как поверить, что это там был и неприступный Иерихон ханаанский, и «божественный город садов» Ирода, что вот этой долиной искушал Иисуса дьявол?

Впереди все то же: пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает восходящий из-за гор Моава, охвативший полвселенной сухой, золотисто-шафранный свет. Одно Мертвое море пря-

чется от света. Вот оно — у самого подножия ее, за тем голым побережьем, что белеет вдаль, вправо. Ясно виден и обманчиво близок кажется северный залив. Но синее он тускло, керосинно...

«Символ страшной страны сей — море Асфальтическое», говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доньне, трижды проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз человекоподобными очертаниями и так смолисты, что могут быть зажжены, как факелы, — море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена, море, жгуче-соленые, горькие волны которого тяжки, как чугун, и в бурю, «покрытые кипящим рассолом», потрясают берега своим гулом,

между тем как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песку и соли... Длится и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро. Толкут и толкут копыта наших лошадей твердую, расстрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над долиной. И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пустыни цвета пемзы, — лента прииорданской зелени, чащи ив, тамарисков, камышей...

Так богата и прекрасна была некогда эта долина, что дьявол издревле избрал ее местом греха, искушений. Это он опьянил сладостью страсти и порока Пятиградие, переполнившее чашу терпения Предвечного. Это он внушил дочерям Лота жажду кровосмешения, дабы от родного отца зачала старшая из них Моава: «И дождем пролил Господь огонь и серу, ниспроверг города сии, и всю окрестность их, и всех жителей, и все произрастания земли...» Но легендой патриархов стали дни гнева, и снова зацвел «сад Предвечного»,

снова возродился столь прекрасным, что заповедан был любимейшему из чад божиих. — Солнце встало над Моавом, затопило его блеском и уже палит долину. Какие-то большие металлически-серые мухи липнут к жарким гривам лошадей, скорпион шуршит, бежит укрыться в легкой голубой тени под застывшей песчаной волной. Вольно смотреть изпод шлема на дорогу, но тянет взглянуть в блеск Моава, тянет найти ту вершину, с которой показал Господь Моисею всю радость земли обетованной: «Взойди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложишься к народу твоему...»

Библия подчеркивает, что *блудница* дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон. И страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страной и дотла уничтожив красу Иерихона: «Проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон!» Но разве не следы Навина — те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской, те огромные диски из камня, первобытные

кровавые жертвенники Ваала-Солнца, что благоговейно полагал в круги сам народ израильский?

На тропические шлемы мы накидываем бедуинские платки. Лошади пошли шагом, неустанно мотая головами, отбиваясь от мух. Они машут кистями и разноцветными бусами, которыми украшают здесь уздечки. Шеи их стали мокры, темны и тонки. В легкой и все же душной тени платка дышишь как бы жаром раскаленного костра. Близок Иордан, — уже тянет запахом речной воды, запахом горячего ила... Теперь и от великой реки остался только узкий и мутный поток, от первобытно-густых зарослей на берегах ее — кайма ив, камышей и кустарников, опутанных лианами.

Масара, то место Иордана, где отдыхают пилигримы, предания называют местом крещения Иисуса. «В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского...» В те дни долина переживала третий и последний расцвет. Тщетно было заклятие Навина, — еще раз вырос новый Иерихон. И вот дьявол искушает прелестью его самого крестившегося Сына Божия.

«Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, *ибо она предана мне*». Серо-песчаный берег обрывист и крут. Густая желтоватая вода, крутясь, бежит под ветвями ив, под корнями, покрытыми на-носною травой, илом. Лошади тянутся к воде, вязнут по колена и долго, жадно пьют. Мертвая тишина кругом и сквозная горячая тень над головою. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному — связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, — жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: «И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей... И умер там, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня...» Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах

Ирода — и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола... И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров... Великими крестовыми битвами во имя и славу того, кто отверг здесь славу всего земного, обрывается летопись этой страны. За ними века молчания, никому не ведомых и несчетных подвигов отшельничества, погребения себя заживо в могильниках навеки забвенной Иудеи. В молчании, вдали от жизни всего мира, множатся, как соты ос, крипты в каменистых обрывах Иудейских и Аравийских гор; в прибрежных скалах страшного Асфальтического моря, в огненных ущельях созидаются дикие обитатели. Но ураганами проносятся набеги от Дамаска, от Багдада, от Геджаса, и вот — пустеют и крипты, переполненные костями избиенных иноков, гложут разоренные обитатели... И опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!

Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно-белом побережье это слово — полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песча-

но-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменевшие ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге. Там — дни Авраама, Агари, Измаила. Там, в капище Эль-Лат, племя Тарик еще донныне поклоняется гилгалу Солнца — полубога, полудьявола.

1909

Храм Солнца*

*Так говорит Господь: сокрушу затворы
Дамаска и истреблю жителей долины
Авен.*

Кн. прор. Амоса

I

Рано утром покинули мы Бейрут. Поезд через час был уже под Хадеттом. За Хадеттом он переменял темп на торопливый, горный: стуча, раскачиваясь, он стал извиваться все выше и выше по красноватым предгорьям.

Из-за цветущих садов, покрывающих их, из-за гранатов, шелковиц, кипарисов, роз и глициний несколько раз мелькнуло туманно-синее море. Слушая разноязычный говор, гул колес и грохот энергично работающего паровика, я выглянул в окно,дохнул посвежевшим воздухом: в необъятное пространство за нами все ниже и ниже падала далекая бейрутская долина, ставшая маленькой, плоской, кучки белых и оранжевых точек — крыш, темно-зеленые пятна садов, кирпичные отмели бухты — и необозримая синь моря. Скоро все это скрылось — и снова развернулось еще шире... Все мельче, тесней становились точки, все игрушечной — бухта и все величавей — море. Море росло, поднималось синей туманностью к светлому небу. А небо было несказанно огромно.

Под Джамхуром паровик стал на подъеме к котловине, повернувшись к Бейруту, — и за горами направо я вдруг близко увидел серебряную с чернью громаду Саннина. Пахло снегом, но серая каменная стена маленькой станции вся была в цветущей, ярко-пунцовой герани. Потом паровик звонко, по-горному

крикнул — и опять застучал коротким дыханием в кручу. И опять открылась головокружительная панорама с далеким Бейрутом на дне. Зыбко зияли глубокие ущелья с одной стороны, торжественно возрастал Саннин с другой... А за Арайей подъем пошел еще круче. Стало просторно и голо, прохладно и облачно. Дымом сползали облака по скатам. Миновавши Алэй, мы опять повернули к востоку. Был туннель. Налево открылась долина Хамана, за ней — горы в сплошных темно-зеленых борах... За Софаром мы опять окунулись в тьму, дым и грохот, а когда выскочили, о, как дико и вольно стало кругом! Из-за голых вершин глянул Джебель-Кенэзэ весь в ярких серебряных лентах, четко, одиноко засиял в этой ясной, прохладной пустыне. Приближался перевал, паровик выбивался из сил, одолевая последний подъем. Из окон вагонов высывались фески, дым падал и стлался по придорожным скалам... К полудню мы пришли на Бейдар, к перевалу.

Было тихо, свежо. Пять тысяч футов не бог весть какая высота, но волновала мысль, что ты на Ливане. А впереди — долина Солнца,

долина Авен, Келесирия. Тронувшись, мы пошли с головокружительной быстротой. С грохотом нырнули опять в длинный-длинный туннель. А когда этот грохот оборвался, ослепли от света и не сразу поняли, что это, как море, сияет впереди. Впереди же была — Келесирия.

В глубокой дали раскрылась она, ровная, пустая, котловиной среди гор, смутно видных в солнечном тумане. Против левого окна, над скатами, сияла все та же голая громада в белых лентах. На скатах возле нас лежал тающий снег. А дорога все падала, и все ближе становилась огромная изумрудная долина в фиолетовых пятнах пашен. И еще огромнее был далекий вал гор за нею. Вот сосед трогает меня сизой рукой за рукав и, блеснув зубами, говорит:

— Джебель Шейх!

И, взглянув, я вдруг вижу за долиной, в солнечном тумане, величаво выделяющуюся из-за валов Антиливана куполообразную гору. Она вся в полосах снега, идущих сверху вниз, — как талес. Гермон, Великий Шейх! Над ним, почти на нем — купы светлых лег-

ких облаков...

На Мерейате стало совсем тепло. Летний ветер, белые акации в цвету... Но по горе налево все еще был снег — на изумительно-ярком поле неба. За Мерейатом, после очень крутого спуска, открылась Штора, большая и дикая на вид арабская деревня с плоскими глиняными кровлями. За Шторой, после полудня, мы были уже в долине.

Пошли сады, в них — тополя, шелковицы. Сквозь сады мелькали синие и красные одежды сирийцев, пахавших на волах ржавую глину в виноградниках... Близился Райяк, где нужно было покинуть дамасский путь и свернуть на север.

Близились места Эдема, Баальбек.

II

Край баснословных племен, родина Адама, святилище Солнца! Эта неизменность, — в ней около полутора ста верст, — с незапамятных времен называется Бека, то есть страна, долина. Баальбек есть таким образом «долина Вала-Солнца». Слово Сирия — санскритское — значит опять-таки — солнце. Но мало того: эта долина, средоточие солнечных служений,

связана еще с именем Рая, близость которого к Баальбеку была неоспорима в древности.

Я глядел в окна вагона. Прохладный, сероватый день. Дорога от Райяка ровно и почти незаметно для глаз идет на подъем, все к северу. Кругом — слегка волнистая пустыня, тонкие посевы, сквозит красноватая почва, — именно та, из которой и был создан Адам! — и кое-где — дико цветущие кустарники. В открытое окно слева дует свежий степной ветер, за долиной видны холмы предгорий и без конца тянется горбатый вал Ливана — диких тонов, весь в продольных белых лентах. И такая же гряда идет и справа — Антиливан. Я глядел — и вдруг опять вспомнил талес, плат, который накидывают на голову во время молитвы евреи, — подобие древнейшей кочевой одежды. Вот откуда все эти пегие хламиды, раскиданные по Востоку, и даже полосатая чересполосица мраморов в мечетях! Все отсюда, из исполинского развала этих ни на что не похожих гор.

Они не кажутся высоки, — сама долина на четыре тысячи футов выше моря. Издалека не поражают они и очертаниями. Но что срав-

нится с этими синеватыми валами и пегими горбами, точно перенесенными с другой, более старой планеты? С другой планеты и все памятники их. Вон чуть сереет на Ливане местечко Керак с высеченной в скалах стофутовой гробницей Ноя. Вон там, на Антиливане, есть селенье Неби-Шит, где чтут могилу Сифа. А впереди — Баальбек, руины храма, «превышающего размерами все сделанное рукою человека». Камни его возили на мастодонтах; в святилищах его сливались в служение единому Солнцу служения Арамеи и Египта, Ассирии и Финикии, Греции и Рима. Баальбеку уступали не только все финикийские, но даже египетские храмы. Там лик Солнца дробился: там были боги, нисходившие до людских распрей, воплощавшиеся в царях и вождях; здесь был единый Бог... А за Баальбеком, к северу, долина еще пустынее. На ней смешались и слились со скалами предгорий камни несметных городов и храмов, самое имя которых исчезло бесследно, навеки. Земля там — одна из самых плодороднейших в мире — запущена, одичала. И высится на ней Гермиль, «памятник Рая» — каменный куб на

помосте черного базальта, украшенный барельефными луками, стрелами и фигурами тигра, кабана и слона, — охоты тех дней, когда Ливан, утопавший в исполинских кедровых лесах и великом обилии вод, был еще подлинным раем...

В открытое окно дул сильный ветер. С севера, из-за гор, шла неохватная градовая туча, уже покрывшая и замутившая вершины туманом. Я подумал: там Кедров... Следует ли, говорят некоторые, искать на Ливане отдельных мест, связанных преданием с Эдемом? Не Эдем ли весь Ливан? Ведь, кроме Гермия, есть и было еще несколько селений, носящих это имя: например, древнесирийское селение на Антиливане — Гедим; потом Эдем близ Дамаска... Более же всего соперничает с Эдемом Гермия Эдем близ Кедров, на северо-западе. Взбираются к этому Эдему по ужасающим кручам Ливана, чтобы достигнуть подошвы вечноснежных вершин. И видны оттуда целые страны — кряжи, долины, воды, леса и селения, необозримая пустыня Келесирии, реки и царственные руины Баальбека на ней, мутная синева Антиливана на востоке, бездна

Средиземного моря, сливающаяся с горизонтом, на западе... И вот одно из этих-то селений и есть Эдем, а несколько хвойных рощ суть остатки кедров ливанских, тех, которые Библия называла заоблачными, тень их — тенью, покрывшей все земные царства, бальзам — божественным, на тысячи лет сохраняющим трупы от тления, древесину — не боящейся вечности... Одна из пяти рощ, уцелевших близ Эдема, еще и донныне почитается священной.

Я смотрел в окна... Что такое теперь Баальбек? Даже происхождение его никому не известно. Известно только, что упоминается он в египетских и ассирийских надписях; что был он колонией Рима, которому и принадлежит построение — в честь богов солнечных — двух всемирно-славных баальбекских храмов: Великого и Малого. Брала и разрушала его и арабы и монголы, а их разрушениям помогло несколько страшных землетрясений, и вот, на месте огромного города, остался бедный городок с пятью тысячами разноплеменного сирийского люда и развалинами акрополя, в котором от Великого храма уцелело все-

го шесть колонн... Вдруг вагон ярко озарился солнцем. И внезапно увидел я вдали нечто поражающее: густой зеленый оазис садов и тополей, тянувшихся среди долины и окружавших желто-белые руины какой-то крепости, такой огромной, что сады казались под ней кустарниками, а над ними — шесть как бы повисших в воздухе мраморных колоссов.

Солнце из грозových туч озаряло сады и руины сильно и резко. Темно-сизый фон неба еще более усиливал яркость зелени и допотопных стволов колоннады. И в пролеты ее ветхозаветно глядел пегий горный талес. Белым огнем горели широкие снежные полосы этого талеса. И загорелись еще более, когда мы приблизились к Баальбеку. Но вдруг померкли, воздух потемнел — и буря, докатившись с Ливана, смерчем закрутила пыль над городком, белевшим за руинами, тучей помчала ее над садами и сквозь колонны... Едва успели мы вскочить в холодный и пустой отель на каменистом холме вблизи их, как все смешалось в лютom ливне с градом. Град с треском сек помутившиеся окна, летел и прыгал по земле. Ваал из-за облачной высоты ве-

лично кидал в мрачно откликавшиеся горы гул и грохот, от которых в страхе метались фиолетовые молнии...

Но когда, через час, вышел я на балкон, золотым блеском ослепила меня дождевая вода на балконе. Буря пронеслась, и на земле воцарились безмятежный мир и ясность, один из тех вечеров, что так любят ласточки. Воздух был чист и тепел, талесы далеких куполообразных вершин четки и близки, мокрые сады против балкона райски свежи, густы и зелены. А над садами и над крепостными руинами, тонувшими в них, стройно и державно возносились шесть желтоватых колоссов Великого храма. С балкона я глядел на предвечернее солнце, на Ливан, на северо-запад. На запад тянулись по долине руины. Тополя и фруктовые деревья шли вдоль южной стены их, подымавшейся над зеленью каменными зубьями, грубыми брешами. И мне виден был весь акрополь, заключающий в себе на восточном краю вход, Пропилеи, на западном — Великий храм, а посередине — Гексагон и Жертвенный двор. Малый храм построен отдельно, вне этой стены. Его циклопический

периптер сохранился на диво. Но здесь он терялся: все подавляли колонны Великого храма. Верх одной из них — крайней справа — был уже почти свободен от архитрава. Скоро она рухнет, подумал я, и рухнет ужасно! Ведь в одном фундаменте акрополя пятнадцать аршин высоты, но колонны стоят не на нем: для Великого храма был воздвигнут еще другой фундамент, высотой почти равный первому. А в самих колоннах росту аршин сорок! некогда перистиль храма — окружавшая его колоннада — состоял из пятидесяти четырех таких колонн. Теперь их только шесть, — третья часть южной части перистиля, удержавшаяся на единственной сохранившейся стене второго фундамента. И как одиноки они! Воздух долины становился голубым, вал Ливана синим. Далеко на северо-западе начинали желтеть ленты одного из высочайших горбов, все яснее выделявшихся на небе. Между небом и землей был несказанный простор. Но величие этих колонн, одиноких «наследников дней героев», было ни с чем не сравнимо.



Солнце склонялось; в мокрых зеленых са-

дах, казавшихся еще свежее от шума горной мутно-зеленой речки, в садовой глуши вокруг акрополя, была тень. Маленькими казались тополя, стоявшие вдоль фундамента... Привратник пропустил нас за железную решетку к Пропилеям.

Некогда к ним вела мраморная лестница; сарацины до последней плиты разрушили ее, превращая акрополь в крепость. Некогда Пропилеи были стройным, величавым зданием. Двенадцать сиенитовых колонн, за ними — портал в три пролета, по бокам — павильоны — экзедры, воздвигнутые из огромных камней со всей роскошью и силой древнего зодчества и ваяния, с двумя ярусами ниш для статуй богов. Теперь от колонн остались только пьедесталы, портал являет вид проломов в крепостной стене, проход к нему завален каменными глыбами и разбитыми капителями, полуразрушенные экзедры зияют. Тень была в этих раскрытых развалинах. Глубоко и густо синело над ними вечернее небо. Зеленая верхушка тополя тянулась снизу, заглядывая в брешь. И мертвая тишина стояла вокруг...

За стеной Пропилеи — Гексагон, первый

двор. Огромный шестиугольник его замкнут шестиугольником стен и сплошных экзедр, опять-таки разрушенных. Мраморный скользкий шестиугольник в три ступени идет вокруг площади двора, на расстоянии шагов двадцати от экзедр. На нем возвышалась шестиугольная колоннада, связанная с экзедрами сводом. В тени этой галереи толпились ожидавшие входа во двор Жертвенный. От колонн не осталось теперь ни единой. Пустой двор окружают громады руин. Сарацины пробили в них бойницы, понаделали много грубых амбразур. Землетрясение и осады почти ничего не оставили и от этой работы. Чувствуешь лишь дикость древней цитадели, следы свирепых древних битв и — тяжесть, величие Рима.

А за Гексагоном — двор Жертвенный, двор, повторяющий первый, но лишь в иной, квадратной форме и чуть не втрое превосходящий его по размерам. Мало оставило время и от второго тройного портала, — проходов из Гексагона на площадь Всесожжения: вместо портала зияет теперь пустота среди остовов крайних экзедр, что похожи на остовы ка-

ких-то допотопных жилищ, на сквозные пещеры. И когда я, оглянув Гексагон, кинул взгляд далее, необозримый каменный хаос, хаос целого города, ниспровергнутого землетрясением, открылся предо мною. Не на Гексагон и Пропилеи, а ведь именно сюда, где последовательно возрастали и размеры и святость храма Солнца, направлены были силы подземные, ужасы осад и варварство византийских императоров. Но великое осталось великим. Чуть не на полверсты тянулся среди этого хаоса отшлифованный мириадами ног, местами зияющий провалами, местами заросший колючками проход. Шесть колоссов, стоящих почти на самом конце его, на остатках фундамента, глядели на юг и сливались в один, занимая полнеба. Их стволы, обожженные зноем и ветром, были вблизи красноваты. Горизонт за ними замыкался зубцами и проломами Стены Циклопов. Небо бледнело, низко опустившееся солнце все слегка золотило... Я сел среди двора на камень.

Было тихо-тихо. Без конца лежали и стояли вокруг меня обломки сиенитовых туловищ, точно какие-то каменные страшные су-

щества. Позади и вправо широко раскрывали свои каменные утробы искаженные и разрушенные экзедры; только две-три из них напоминали о прежнем великолепии раковинобразных ниш, пилястров и горельефов. А налево громоздились камни, шли какие-то рвы и провалы — и тяжело и вместе с тем легко, стройно и громадно высился храм Малый, чудом сохранивший весь свой, как бы литой из желтоватого мрамора, корпус и целых девять колонн как раз на том фланге, который был виден мне. Я глядел на них и долго не мог понять, что это так резко отличает их от тех шести колонн. Малый храм, этот редкий образец эллинской красоты и несокрушимой римской мощи, был немного менее Великого. Нет при нем ни Пропилеи, ни Гексагона, ни двора Всеожжения, но фундамент его почти равен тому, исчезнувшему фундаменту, на котором стояло святилище Солнца. Почти равны и перистили их... В чем же тогда дело? Только в том, что колонны храма Солнца вверху не суживаются. Но как далеко уносит это в глубину веков!

Можно представить себе красоту Малого

храма. Пропилеи, Гексагона, двора Жертвенного — в те дни, когда только что отлилось в совершенные формы и сочеталось в Баальбеке «самое прекрасное на земле с самым величественным». Этот хаотический простор, ныне подобный страшным картинам Исаии, лоснился тогда мозаичными настилами. Стены и экзедры, где помещалось более трехсот ниш для всех богов Олимпа, стройно замыкали его с трех сторон, на четвертой, западной, шла лестница к высоко вознесенному порталу Великого храма. Квадрат из огромных сиенитовых колонн — темно-розовых, гладко шлифованных египетских монолитов — охватывал середину двора, и галереи между ними и экзедрами всегда были полны света, тени, белых хитонов. Нельзя было найти места, не блиставшего мрамором статуй, пилястрами, фронтонами и причудливой лепкой карнизов, капителей — этих окаменевших листьев, узоров, цветов. Яркое млело синь неба над квадратом двора. Дым непрерывных сожжений и языки пламени поднимались с гигантского жертвенника, с раскаленной медной плиты его — с алтаря возле мраморных ступе-

ней, тремя переходами поднимавшихся к чудовищному периптеру Великого святилища... Но легко сказать: чудовищному! Как представить себе его?

Та часть основного фундамента, на которой стоял фундамент святилища, равна только половине двора Жертвенного. Но древние недаром называли святилище «первобытным»: дело было не в ширине и длине, а в высоте и размерах строительного камня. И уже одно то, что периптер святилища был вознесен еще и на другой громадный фундамент с подземельями внутри, свидетельствует о том, что Рим здесь кончается. Кем был сложен основной фундамент? Какими-то древнеарамейскими племенами — из самых больших монолитов, «какие когда-либо поднимал человек», и в те дни, когда легенды о титанах еще дышали жизнью. Неизвестно, кем построено и самое святилище Солнца: Рим только реставрировал его. Но и реставрировал под несомненным влиянием преданий о великих капищах, о столпотворениях, об уступчатых зиккуратах, этих «башнях до небес», и посвятил его Солнцу-Ваалу, сочетавшему здесь свое

имя с именем Юпитера. И святилищем Ваала, прежде всего Ваала, и было и осталось святилище Великого храма, уступами вознесенное к небу и охваченное колоссами, имевшими и внизу и вверху одну толщину — первобытно. А сказочным монолитам, из которых сложен основной фундамент, его подземелья и Стены Циклопов, Рим мог только дивиться: тайна передвижения и кладки этих монолитов, из которых иные имеют по тридцати аршин в длину, даже для него была непостижима.

Солнце село, и, как всегда на Востоке, стало на минуту особенно светло. И в этом странном свете без солнца, в пространстве, как бы лишенном воздуха, резко обожженные красноватым загаром колонны вдруг приобрели ужасающую выпуклость, тяжесть и высоту. Я пробрался к ним по глыбам камня, по оврагам и возвышенностям, по остаткам мраморных ступеней и тысячелетнему мусору, зашел под фундамент, на котором стоят колонны, и, закинув голову, глянул вверх... Дивно было сочетание бездонного бледно-голубого неба и красноватого тона этих поднебесных стволов! Но они уже меркли. Быстро падал сумрак.

Спотыкаясь, я сбежал в ров, в угол, образованный Циклопическими стенами. Их теперь две: западная и северная. Обе искажены проломами. Но искажения только усугубляют их допотопный вид. Из темного оврага выбрался я по каменисто-мусорным холмам, поднимающимся к пролому в углу стен, на свет заката и стал в проломе. Подо мной был обрыв, вдаль — темное море долины, а за ним — валы Ливана и далекие, чуть краснеющие в сумраке ленты его горбов. Подо мной была стена, сложенная сынами Солнца, — стена, камни которой останутся здесь недвижимыми до конца мира.

1909

Геннисарет*

В Вифлееме, в подземном приделе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее — крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись:

Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

В приделе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездой неугасимые лампы. Там, наверху — жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь — холод, сумрак, благоговейное молчание:

Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами, — хартии, письма которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы, на месте их, можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, *первое*, что сохранилось на его свя-

ценном палимпсесте. В царские одеяния облекли рожденного здесь, царям, путеводимым звездою, повелели принести ему, лежащему в яслях, венцы свои, золото, ливан, смирену, и легендами, прекраснее которых нет на земле, расцветили сладчайшую из земных поэм — поэму его рождения. Но, когда благоговейно склоняешься над нею в Вифлееме, проступает простое, *первое*.

Назарет — детство его. Там протекло оно в тишине, в неизвестности. Там огорчали и радовали его игры со сверстниками, там ласковая рука матери чинила его детскую рубашечку... Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письма, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым улочкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила она, помню ее жилище, маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно зане-

сенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал Божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком.

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был он в мире, — она совсем не сохранила зримых следов его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется он!

В ясный вечер, при заходящем солнце, подходим мы к Геннисарету по Иорданской долине. Все дико, голо, просто вокруг: и в долине, и по каменистым предгориям, обступившим ее, — серо-коричневым, в золотисто-рыжих пятнах по склонам, где от солнца выгорели травы. Тропинка ведет нас среди желтого, уже созревшего и подсохшего ячменя. За ним — прибрежная деревушка, глиняная, без единого деревца, кажущаяся необитаемой.

Пройдя по серым пескам, на которых стоит она, увидели мы водную равнину чудесного зеленого тона, теряющуюся в горной дали, замкнутой неясной громадой пегого Гермона.

Солнце было за горами. Свет его гаснет здесь быстро, а как только он гаснет, с гор срывается недолгий, но сильный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной зыби. Четыре гребца наших поспешили кинуть весла, вздернуть парус и привалиться к бортам, затянув что-то тоскливо-беззаботное. Ветер ударил в парус, крепко накренил его, — и мы понеслись в сумрак, на дальние огоньки Тивериады, рассыпанные под черной горою, стучая днищем по волнам, черпая воду. Я крикнул, чтобы ослабили парус: эти полуголые, худые, загорелые галилеяне, в своих войлочных круглых колпачках, прикрывающих только макушку, крикнули что-то в ответ. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось...» Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром! — Через час мы были уже в Тивериаде, маленькой, тесной и грязной, где лишь один снос-

ный приют — старый латинский монастырь на самом берегу.

От Тивериады кесарей ничего не осталось. Француз-настоятель, пригласивший нас ночевать в монастыре, а перед сном выйти на кровлю, с которой далеко видно было успокоенное в лунном свете озеро, жаловался: они изнемогают от скуки и тропического зноя в этом навозном местечке; вокруг них — пустыня; от Магдалы сохранилось только название; от Капернаума — груды камней, где итальянцы-монахи ведут раскопки; в Табхе всего пять человек братии... «Это близ Капернаума, на северном берегу?» — Да, да, — сказал настоятель, глядя на туманные предгория Гадаринские, за озеро. Луна сияла — высоко-высоко. Все озеро было в светлом, тончайшем пару. Знойно звенели внизу ночные цикады — на пыльных кустарниках, на столетних придорожных кактусах. Тивериада спала...

Мне долго не давал уснуть козленок, жалобно плакавший где-то по соседству. В маленькое окошечко, пробитое в каменной стене почти под потолком, белело сквозь железную решетку лунное небо. В полутемной жар-

кой келье беззвучно плакали москиты. Блохи же Тивериады упоминаются даже в путеводителях... Но я поминутно говорил себе: я в Тивериаде! Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни.

Ранним утром мы поплыли в Капернаум. Озеро недолго дышало утренней свежестью. Вот уже растянули белый парусиновый навес над лодкой, — и он озаряет лица. Солнце все ослепительней и жарче. Озеро штилеет. Желто-рыжие верхи предгорий Гадаринских делают водные зеркала у берегов золотыми. Вода же под лодкой — зеленая, прозрачная, кажется бездонной. Гребцы дружно работают, и от поворачивающихся в воде весел извиваются, уходят в глубину как бы толстые змеи медянки с серебряными брюхами. Пот уже градом льет с красных лиц гребцов. Они — рыбаки, в лодке лежат их сети... «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море...» Разве не мог призвать он и этих? Они еще несколько раз налегают на весла — и поднимают их: лодка, чуть журча, добегаёт до берега. Мы выходим

и оглядываемся. На берегу, среди колючих кустарников и розовых цветов олеандра, — груды белых камней, колонн: это и есть развалины знаменитой синагоги Капернаумской, куда столько раз, в такие же знойные дни, входил он, теснимый народом, искавшим коснуться его. Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот он, с раскрытой головой, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы... Симон и Петр, «оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за ним»...

Табха между Капернаумом и Магдалой. Мы опять поплыли мимо невысоких холмов в тех же бурых, выгоревших травах. Возле Табхи единственное живое место этой пустыни: в озеро впадает источник, дающий о себе знать несколькими эвкалиптами и посевами в долинке меж холмами. Под эвкалиптами черный мальчик пасет десяток черных вислоухих коз с колокольчиками на шее. Это стадо братии. А приют ее — на холме, рядом: нечто вроде маленькой крепости, два-три здания из дикого камня за высокими стенами. Настоятель здесь старик-немец, чистота и порядок у

него немецкие. Встретил он нас, сожженных зноем, сдержанно, но приветливо, комнаты дал в нижнем этаже, самые прохладные, выходящие на большую каменную террасу, в садик по скату холма, усыпанный гравием, испещренный легкой тенью светлой, сквозной зелени перечных деревьев, нежнейших мимоз и нежнейших хвойных пород — серебристо-голубых, легких, как пух. Среди них поднимались две-три пальмы, чернели молоденькие кипарисы, цвели розы, ворковали дикие горлинки, наслаждаясь солнечным затишьем... И, оставшись один на террасе, я взял с каменного стола лежавшее на нем Евангелие, развернутое как раз на тех страницах, что говорят о море Галилейском. Теперь оно было предо мною. Воздушно-зеленое, во всей тропической мягкости своей, оно тонуло, млело в серебристом полуденном свете, теряясь на юге.

Как сладок, как ласков здесь изредка набегающий, теплый от дыхания затуманенных зноем гор, сильный южный ветер! Как широко, все сгущаясь и темнея, бежит перед ним лиловая зыбь по зеркалам у берегов, где све-

тит золото предгорий! Как долго, как дремотно кланяются после него кипарисы и шелестят вайи пальм, напоминая о Египте, сохранившем его драгоценную жизнь в младенчестве!

1911

Произведения, не включавшиеся в собрания сочинений

В стране пращуров*

В Коломбо выехал рано утром и занял место в вагоне по левой стороне: так советовал путеводитель; кроме того, справа шел за окнами вагона слишком ослепительный блеск солнца, несмотря на то, что над окнами, как во всех тропических поездах, был навес.

Поезд шел сначала по обработанным равнинам, среди кокосовых пальм и прочих растений, свойственных низменностям острова, среди рисовых нив, минуя иногда маленькие селения. Потом железная дорога стала постепенно подниматься, потом снова спустилась и пошла по долине, страшной своими лихорадками, именуемой Долиной Теней Смерти. Вдали уже виднелись двойные вершины Алагаллы.

Когда переменяли обыкновенный паровоз на горный, пересел к окну направо. Дорога

пошла среди гор, по их скатам, изгибаясь по обрыву громадной горы, прошла десять туннелей. Видел под ними глубокую долину, за долиной тонущие в солнечном тумане вершины Верблюжьей Горы и Горы Библии. Дальше дорога стала только уступом на гранитной скале Алагаллы, над головокружительной бездной.

Возле Перадении поезд пересек по мосту реку Маха-вели.

Сад Перадении был в десяти минутах ходьбы от станции.

Там поместился в правительственной гостинице против входа в сад. Это было большое одноэтажное строение с просторной верандой. Белую крышу ее поддерживали грубые деревянные колонны; между колоннами висели горшки с цветами; на деревянном полу веранды всюду были разбросаны большие кресла с далеко выступающими вперед подлокотниками, куда клали ноги все лежащие в этих креслах, на веранду выходили двери четырех комнат.

В гостинице не оказалось ни одного жильца. Свободно выбрал себе одну из этих ком-

нат, очень обширную и высокую, без потолка, — деревянная крутая крыша падала своими откосами не прямо на стены, а на столбики, стоящие вдоль стен, так что воздух всегда мог ходить по комнате. В ней все было просто, прочно, а у стены стояла прочная железная кровать, возле другой — умывальник, между двумя окнами, выходящими на веранду, стоял большой деревянный стол; в одном углу ровно жужжал под крышей электрический вентилятор. С другой стороны к комнате примыкал широкий и грубый бревенчатый коридор: в конце его была большая и все-таки всегда горячая от зноя, душная уборная, где стояло ведро с песком, которым нужно было засыпать жерло отхожего места, — тут же стояла цинковая ванна, в которую слуга должен был натаскивать воду ведрами.

В седьмом часу утра ходил купаться в этой ванне, — она была уже налита, и слуга стоял возле нее, выжидательно и подобострастно улыбаясь, с босыми смуглыми ногами, в белом халате, женственно полный, с волосами по-женски длинными и зачесанными назад, схваченными на темени круглым черепахо-

вым гребнем, блестящим, как вороново крыло. Искупавшись, пил у себя чай, — все тот же и все так же улыбавшийся слуга приносил поднос с чайником, горячим тостом и вареньем-желе. Затем шел в сад. В саду было жарко, роскошно и парно, пахло теплой водой реки, окружавшей его с трех сторон; сад особенно был богат видами лиан, пальм, бамбуков, орхидей и теми особыми растениями, которые питаются пожиранием насекомых. В полдень возвращался к завтраку, ел вареную и безвкусную местную рыбу, жесткое вареное мясо, огненные керри и фрукты.

После завтрака сидел на веранде и читал, положив ноги на подлокотники, в четыре часа пил чай, потом снова шел в сад, к семи возвращался домой, брал ванну и обедал: снова жесткая говядина или австралийская баранина, какая-нибудь дичь, опять-таки вареная, безвкусная, плоды и сыр. После обеда опять сидел на веранде, пил сода-виски и думал, думал.

Веранда была широка и длинна. Перед ней расстилался зеленый луг, дальше стояла великолепная гуща сада. Быстро темнело, по-

том на минуту странно, сказочно светлело — и все тонуло в черной теплой темноте. Иногда с громким жужжанием ударялся в грудь громадный жук и гудел, запутавшись в складках легкой белой одежды; плавными точками, потухая и загораясь, плыли в разные стороны зеленые огоньки светящихся мух; бесшумно, с ласковым, чуть слышным гортанным говором проходили сингалезы, низко светя огоньками фонарей возле ног — от змей. А ночью из темноты непрерывно раздавалось короткое чиканье: зажигал спичку и видел скользящего по стене огромного, плоского серо-чешуйчатого хамелеона — на мгновенье мелькал отблеск спички в его глазах с узким кошачьим зрачком. Потушив же спичку, чувствовал, как все существо таяло, растворяясь в этой черной, теплой тьме.

Часто ходил в непролазные леса, окружавшие Перадению. Там, в этих влажных зарослях, так все кишело громадными черными пиявками, что выше колен нужно было обвивать ноги бинтами; по целым часам наблюдал там работу термитов, в непрерывном движении которых сверху донизу чернели их

высокие конусообразные домики; наблюдал жизнь «стыдливой» мимозы: как только протягивал руку к ней, она тотчас же быстро складывала свои светло-зеленые перистые листочки, быстро опускала их вниз и прятала между широкими стеблями своими; иногда плавал в пироге по Махавели, быстро крутившейся желтыми клубами.

Город Кенди был в древности столицей синегалезского царства. Он лежит в горной котловине, среди лесистых холмов. Искусственное озеро его имеет две мили в окружности. Кенди брали португальцы и голландцы, столет тому назад его осадили и взяли англичане — и сингалезский царь сжег весь город, так что уцелел лишь священный Храм Зуба.

Храм Зуба — это древние, черные зубцы крепостных стен и низкая осьмиугольная башня с острой крышей. Богослужение совершается в нем утром и вечером, каждый раз в шесть часов. Храм — узкий колонный зал, на задней стене его страшное изображение мучений в аду. Дверь в орнаментах ведет в четвероугольный двор, окруженный колоннами, посреди которого стоит часовня с Зубом Буд-

ды. При входе в нее стоят на жертвеннике бронзовые тарелки с густо и сладко благоухающими цветами Храмового Дерева. Здесь же стоят и музыкальные инструменты для богослужения.

Наглядевшись на священные черепки в канале, окружавшем Храм Зуба, входил в Храм. Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них, и жрец, стоя среди лежащих, мерно бормотал, — читал тоненькие пальмовые дощечки, исписанные правилами доброго поведения. Выйдя из Храма, смотрел, как неподвижное озеро становилось зеркально-розовым от заката, как оно потом покрывалось золотым блеском, и слушал древесных лягушек, тысячами звеневших вокруг, подобно бесчисленным жестяным колокольчикам. Потом, полулежа, мчался в глубокой темноте <на> рикше по бесконечной сводчатой аллее, ведущей в Парадению, и глядел, как мелькали кругом крохотные лампочки внутри сингалезских лесных

ХИЖИН.

<1911>

Проза Бунина 1907–1914 ГОДОВ

В настоящий том вошли прозаические произведения Бунина, созданные в 1907–1914 годы — в период расцвета бунинского дарования. «Он так стал писать прозу, что, если скажут о нем: лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения» (М. Горький).

В эти годы Бунин обрел удивительную широту и глубину кругозора. Его уму и сердцу становились близки все времена и страны, общечеловеческие искания добра, красоты и справедливости. Не было, пожалуй, другого писателя, который бы столь родственно, столь остро воспринимал и вмещал в свое сознание далекую, чуть ли не доисторическую древность, Россию, Запад и Восток.

Бунин живет напряженной жизнью. Его беспокоит состояние русской культуры, понижение ее гуманистических начал после разгрома революции 1905 года. На юбилее газеты «Русские ведомости» (в 1913 году) высказал он копившуюся годами боль: «Немногое исчезло:

совесть, чувство, такт, мера, ум... растет словесный блуд... Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон...» (Бунин, т. 9, с. 529). Причины тому Бунин видел в общей атмосфере русской жизни: «расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения», «бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества» (там же, с. 529, 530). В это же время писатель размышлял о русской и всемирной истории, о судьбах России и народа, с надеждой вглядывался в здоровые силы нации и человечества. Своим словом и поведением укреплял он подлинные духовные ценности. Бунин печатался в горьковских сборниках «Знание», принимал участие в издании сборников «Слово», где объединились прогрессивные писатели. Горький, живший тогда на Капри и внимательно следивший за литературной жизнью страны, ценил твердость бунинской позиции: «Только Бунин верен себе».

Бунин не раз бывал на Капри у Горького, делился своими замыслами, читал новые рассказы. Поддержка Горького была тогда крайне необходима, ибо бунинские произведения, начиная с «Деревни», зачастую односторонне и недоброжелательно толковались критикой. В чем только не обвиняли Бунина! В барском высокомерии, в сгущении мрачных красок, в пессимизме, в дворянском происхождении, чуть ли не в клевете на народ. Бунин вынужден был не раз отстаивать и защищать свою позицию, непредвзятое исследование народной жизни. Он утверждал, что «русская интеллигенция поразительно мало знает свой народ», и настаивал на необходимости «подлинно серьезного изучения народа», считал особенно плодотворными традиции Г. Успенского и Чехова.

Расцвету бунинского дарования, «всеохватного» мировосприятия в немалой степени способствовали его постоянные путешествия-странствия по миру. В 1907 году, готовясь к поездке по Ближнему Востоку, совершая своеобразное паломничество в «святые земли», Бунин изучал Библию и Коран, исследовал

дования, посвященные древнему Востоку — Египту, Иерусалиму, Иудее. Во время путешествия не расставался со стихами любимого поэта Саади, жизнь которого вызывала восхищение: «Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество» (Бунин, т. 3, с. 315). Словами поэта определял он и смысл своих странствий: «Я, как сказал Саади, „стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей“» (там же, т. 9, с. 268).

Бунин «не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константинополе, Тунисе и на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию... был в некоторых городах Румынии, Сербии» (там же, с. 263). «Что касается вообще странствий, то у меня сложилась... даже некоторая философия, — замечал Бунин в 1912 году. — Я не знаю ничего лучше путешествий». «Путешествия играли в моей жизни огромную роль». «Меня занимали вопросы психо-

логические, религиозные, философские» (там же, с. 541, 268).

Поиски ответов на вечные и всечеловеческие вопросы о смысле бытия, о назначении человека, о взаимосвязи и взаимозависимости всего сущего, о смысле истории, о причинах расцвета и гибели цивилизаций, размышления о верованиях и устремлениях народов к правде, добру и красоте и одновременно неистощимая жажда увидеть самому бесконечное разнообразие мира — все это питало воображение художника, его мысль и слово.

Особенно влекли Бунина те страны и века, где сходились начала и концы, где коренились «истоки дней», где сталкивались созидательная мощь духа и варварство, творчество и деспотизм.

Он видел развалины Парфенона и Карфагена, грандиозные египетские пирамиды, древнейшие могилы фараонов, руины Иерихона в Палестине с мощными стенами и гробницами сорока-вековой давности. Но больше всего поразил его Баальбек, руины Храма Солнца, «превышающего размерами все сде-

ланное рукою человека» (Бунин, т. 3, с. 400). Бунина потрясли сказочные каменные монолиты, созданные в доисторические, отдаленные времена, «когда легенды о титанах еще дышали жизнью». Там думал он об истоках человеческой истории, о блаженно-легендарном Эдеме, о кедрах ливанских, кои упоминает Библия. Там ощутил он «колыбель младенческого века», исток познаний человечества, «наш первый след и первый иероглиф».

Путевые поэмы создавались одновременно с «Деревней» и «Суходолом» в 1907–1911 годах. Сам Бунин ставил их рядом, выделял как наиболее значимое. Казалось бы, они совершенно различны по содержанию. В одних — Россия, повседневность, быт. В других — Восток, экзотическая природа, древность. Но объединяет их авторский взгляд — стремление повсюду уловить смысл и взаимозависимость вечного и временного, запечатлеть и разгадать историческую и духовную преемственность поколений, культур, верований.

Поэтическое восприятие природы, древних памятников и современной жизни народов Ближнего Востока переплетается в цикле

путевых поэм «Тень Птицы» с развернутыми размышлениями — философскими, историческими, религиозными, этическими и эстетическими. Путешествие в пространстве становится путешествием и во времени. Сменяются страны, города, моря, горы, реки, пустыни — и сменяются эпохи, цивилизации, культуры, верования. В плавном повествовании сливаются в единое многоголосие слово автора и слово историков, древних мудрецов и поэтов, предания, мифы, легенды, свидетельства Корана и Библии, мироощущение людей разных стран, веков и верований. Бунин разрушает границы времени и пространства, делает нас соучастниками социальных, религиозных, философских, эстетических исканий народов с доисторических времен Авраама до наших дней. Прошлое, настоящее и будущее влечет художника.

В природе, в сооружениях, в поведении и облике людей выявляет Бунин приметы далекого прошлого, никогда бесследно не исчезающего. Прошедшее, даже разрушенное, сохраняется в преданиях, легендах, развалинах. Видоизменяясь, оно обогащает будущее.

В Египте, у Великой пирамиды Хуфу, касаюсь «камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди» (Бунин, т. 3, с. 355), Бунин ощутил чувство братского единения с тем безвестным аравийским пленником, кто воздвигал камни. Эта сопричастность прошлому, размышления о ходе истории и о будущем одухотворяют очерки-поэмы, неволь-но заставляя думать о причинах гибели цивилизаций и о путях развития человечества.

Бунина влекли стремления древней Александрии «стать центром всех религий и всех знаний древности». Он удивлялся древним народом Египта, который «не знал себе равных ни в труде, ни в создании памятников, ни в знаниях, ни в морали, ни в отваге, уживавшейся рядом с изумительной для его времени кротостью». Его восхищал гуманизм народа, который «не знал судр и париев», «не знал рабства женщин», «чтил жизнь во всех ее проявлениях», возвеличивал добро, ставшее «краеугольным камнем и веры его, и всех житейских установлений». В современном Стамбуле писателя радовала свобода и миролюбивое сосуществование трудового люда

разных национальностей. Он заметил там зарождение новых гуманистических тенденций, беспримерную «терпимость ко всем языкам, ко всем обычаям, ко всем верам» (там же, с. 441, 442, 443, 431).

Знаменательным обобщением завершал Бунин в первых редакциях рассказ «Тень Птицы», открывающий цикл: «Царства древние, созидавшиеся на костях и рабстве, земля уже много раз пожирала со всеми их богатствами, как легендарного Каруна. Великую свободную семью, которая в будущем займет место свирепого византийского и султанского деспотизма, земля пощадит». В этой же поэме писатель выражал суть своего жизнеотношения: «Будем служить людям земли и богу вселенной, — богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает все сущее». Будущее человечества Бунин связывал с уничтожением деспотизма и тирании, с торжеством свободы, разума и красоты, любви к земле и людям.

По социально-философскому, гуманистическому пафосу путевые поэмы противостояли упадническим настроениям после разгро-

ма революции 1905 года. А в перспективе они предвосхищали грядущие стремления народов к единению и взаимопониманию.

Лирико-философский, спокойно-умудренный тон путевых поэм сменился в книгах о России тревожным, рожденным раскаленной мыслью художника, неутихающей болью, страданием и гневом. Судьбы России, беды и трагедии народные переживались лично, как свои собственные: «Если бы я... эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я... страдал так беспрерывно, так люто?»

Только чувствуя великую боль и даже вину, ответственность за все происходящее в стране, мучительное желание помочь народу, можно было написать такие книги, как «Деревня» и «Суходол», книги-потрясения, книги, зовущие к пробуждению гражданского и человеческого самосознания, книги гневные и скорбные одновременно, книги пророческие и предостерегающие.

«Деревня» — пожалуй, единственное произведение, которое Бунин писал торопливо, нервозно, чуть ли не исступленно. Писал даже по ночам, доходя до обмороков. События

революции и реакции, загадки русской истории и национального характера будоражили мысль и чувства. «Ах, эта самая Русь и ее история! Как это не поговорили мы с Вами вплотную обо всем этом! Горько жалею», — писал Бунин Горькому в 1909 году. Вопросы, резко, по-чаадаевски, поставленные в книге, были обращены не только к читателям, но и к самому себе. Их будет обдумывать и распутывать Бунин долгие годы, до конца дней своих.

Опубликованная в 1910 году, «Деревня» принесла автору сразу шумный, но нерадостный успех. Книгу хвалили, ругали, но глубинной сути не понимали. С грустью замечал писатель в письме к Горькому: «И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь...»

Бунин пытался как можно шире, «всеохватнее» обозреть русскую жизнь. Мы узнаем, что свершается на Руси — столичной, деревенской, уездной. Злободневная современность (русско-японская война, 1905 год, конституция, земельная реформа, реакция) соотносится с прошлым — близким и далеким —

временами крепостного права, Киевской Русью Владимира и Ярослава и даже временами первобытно-языческими. А судьба братьев Красовых, Тихона и Кузьмы, других жителей Дурновки (Серого, Дениса, Молодой, Иванушки) как бы подтверждается, выверяется настроением и поведением многочисленных эпизодических лиц (их в книге более ста). Обилие персонажей являло собой ту разноликую многомиллионную Русь, о судьбе которой шла речь в книге. При этом события, факты, лица были отобраны и освещены писателем так, что затронутыми оказались чуть ли не все сферы человеческого существования: будни и история, философия и политика, экономика и нравственность, религия и культура, быт и психология, семья и хозяйство, образование и право. Органичная соотнесенность значительных событий времени, всего уклада русской жизни и вековых проблем с историей, с поведением и умонастроением народа делало «Деревню» эпохальным произведением.

Пролог повести — своеобразная родословная братьев Красовых, прадеда которых «за-

правил борзыми барин Дурново», — вводит нас в стремительный бег времени. Потомки недавних крепостных выходят на арену истории. Тихон Красов становится хозяином дурновского имения, а Кузьма — правдоискателем и даже «сочинителем». Коренные сдвиги в судьбе России зависят ныне от поведения и самосознания всего народа. Но подготовлен ли народ к исторической самодеятельности? «Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? — думает Кузьма. — Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!»

Мысль о неизбежном наследии рабства и об ответственности каждого человека за свою судьбу, неизбывные думы о беде и вине народной, о трагически кризисном состоянии русской жизни пронизывают всю книгу. Криком боли прорываются они в споре Балашкина и Кузьмы. Перечисляя злодеяния власть предержащих, по-своему повторяя мартиролог русской литературы, когда-то составленный Герценом: «Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с

ума свели... А Шевченко? А Полежаев?», Балашкин яростно вопрошает: «Скажешь, — правительство виновато? Да по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?» — «Величайший народ, а не „такой“... — возражает Кузьма. — Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа». Спор ничем не кончается. Бунин далек от поспешных и односторонних выводов.

Тихон и Кузьма — в центре повествования. Незаурядные, сильные, во многом разные натуры. Различны их пути — хозяина-торгаша и самоучки-правдоискателя. Но судьбы их родственны и даже типичны. Оба с великими тяготами пробивались в люди, не получив ни наследства, ни образования, ни навыков, ни семейных традиций. Но оба и надорвались. Итоги прожитой жизни плачевны у обоих. Осмысление их печального опыта становится ведущим мотивом книги. Недаром Бунин подробно изображает Красовых в переломный момент, когда пробудилось их самосознание, когда они стали способны к самоанализу, к воспоминаниям, к безжалостному подведе-

нию итогов: «Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет...» «Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе». «Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!» — так временами озлобленно думает Тихон Ильич.

Еще резче, острее мыслит и чувствует Кузьма. «Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и оправдывал. Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. «У, анафемы, до чего затоптали, забили народ!» «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на Вас нету! Вот это будет почище — „депутат хотел реку отравить“... Да, но

с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..»

Однако, издерганные, недовольные, Тихон и Кузьма часто впадают в крайности, запутываются в обвинениях и самооправданиях. Их думы, их споры, их суждения о себе, о народе, о России нельзя целиком отождествлять с авторским взглядом на мир. Но в их ожесточенных наблюдениях есть, несомненно, достоверная, тревожащая часть правды. Авторское сознание вбирает боль и тоску героев, но и возвышается над ними. Аналитическое, исследовательское начало всегда господствует в искусстве Бунина над проповеднически-завершенным. Он ищет истоки, причины народных бед и трагедий. Зависимость человека от быта, от окружения и от собственной души, от своих верований, устремлений — не в ней ли таится разгадка?

Быт, уклад и «основы души» — центральные, неразрывные проблемы повести. Они взаимозависимы, взаимопроникаемы, быт неотделим от психологии, душа — от быта... Социально-исторические события тоже соотносятся с повседневностью, с психологией и

мышлением народа. Не случайно рядом со словами о конституции, депутатах, парламенте, свободе, России соседствуют избы с крохотными окошечками и грязью вокруг, криво проложенный мостик, кондуктор в шинели с оторванным хлястиком, в галошах, забрызганных грязью при ясном солнечном дне, городской охотник в болотных сапогах, хотя никаких болот поблизости не было, заплеванный пол в трактире Авдеича, изъеденный молью салоп, которым дорожит Сухоносый, недостроенная кирпичная изба Серого, мальчишка, кричащий о всеобщей забастовке и торгующий старыми газетами, так как новые городской отобрал... Еще сотни таких деталей и эпизодов, каждый из которых мог бы разрастись в рассказ или повесть. Для Бунина это все явления одного ряда. За ними встают вековое рабство, долготерпение народа.

Сам писатель придавал огромное значение образу Серого — самого нищего мужика Дурновки. В его отношении к жизни, хозяйству, людям, в трагически-анекдотическом поведении открывались Бунину какие-то роковые черты русских людей, общенациональ-

ные противоречия. Не случайно братья Крассовы постоянно возвращаются к судьбе Серого, а Кузьма даже сравнивает себя с ним: «Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слаб волен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы». Нерасчетливость, непрестанное ожидание чего-то лучшего в жизни, детская сказочная мечта о молочных реках и кисельных берегах отмечены в поведении других героев и даже в массовых сценах. «Гуляет народ... — Надеется... — На что? — Известно на что... На домового!» Позднее Бунин скажет о Сером: «Сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то „настоящая“ работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!» В невоспитанности, в невыработанности русского характера и в неустроенности, страшной отсталости быта видел Бунин самую большую беду России.

Высоко ценя А. И. Эртеля как писателя и

человека, много добившегося путем самовоспитания и приобщения к вершинам культуры, Бунин разделял его суждения о России: «Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления „царства божия“, предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт» (Бунин, т. 9, с. 421).

«Деревня» сильна прежде всего предостерегающим словом писателя. Жизнь народа в России предстает в состоянии глубокого кризиса и всеобщего недовольства. Страна нуждается в радикальных изменениях. Но многомиллионный народ еще мало подготовлен к гражданской активности, к разумному устройению своей судьбы. С беспощадной откровенностью свидетельствовал Бунин, какую бездну преград еще предстоит одолеть русским людям, не только экономических, бытовых, социальных и политических, но и нравственных, психологических — в характере мышления и чувств, в нравах, привычках, стремлениях и верованиях.

Сразу же принял и высоко оценил «Дерев-

ню» Горький: «...так глубоко, так исторически деревню никто не брал... Дорог мне этот скромно скрытый, заглушённый стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. Так еще не писали (...) И Вы — дворянин Бунин, Иван Алексеевич. Не улыбайтесь, тут ни иронии, ни зависти, тут просто — факт: не дворянин не напишет так, вот и все. На днях я прочитал в рукописи одного эмигранта-революционера: „Нет предостерегающего голоса трехсотлетней дворянской крови, и оттого он провокатор“. Я, разумеется, знаю — не совсем и всегда „оттого“, но „предостерегающий голос“ — великолепно сказано! Это голос культуры, в наши дни он слышен все слабее». Непреходящее значение бунинской книги Горький видел в том, что она заставила «разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России?», заставила «мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически».

После обжигающе современной «Деревни» Бунин почти сразу стал писать «Суходол»

(1911) — книгу об ушедших временах крепостного права, о жизни, оскудении и вырождении мелкопоместных дворян.

В новой книге нет «густоты», перенасыщенности, нервозности «Деревни». Повествование в «Суходоле» более спокойно, уравновешенно, поэтично. Обнаженная правда не лишила ее открытого лиризма, поэзии. Прообразом Суходола послужило родовое имение Каменка, а в нравах и судьбах Хрущевых угадываются факты из истории предков Бунина.

Вглядываясь в прошлое, писатель стремился понять, почему так быстро исчезло, разорилось и выродилось целое сословие мелкопоместных дворян. Дело было не только в экономике, в отмене крепостного права. Бунин ищет корни более сокровенные, его все больше и больше занимает национальная психология, «русская душа».

Размышления о суходольской душе, «над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта... древней семейственности», возникают в первой главе и, варьируясь, проходят через всю книгу, образуя философскую основу повество-

вания.

Мотив удивления, тайны, странностей, которые предстоит разгадать, главенствует в повести. С первых же строк («В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу») автор вводит в сферу необычного, запутанного, странного. Странной кажется привязанность Натальи, тети Тони и даже Аркадия Петровича, отца молодых Хрущевых, к Суходолу, к родовой разоренной усадьбе, где столько горя видели они. Странными были и взаимоотношения людей в Суходоле: дед был убит незаконным сыном своим, от несчастной любви сошла с ума тетя Тоня, нелепо погиб Петр Петрович: «Странными, непонятными были характеры людей, совмещающие в себе и доброту, беззаботность, мечтательность, и жестокость, своеволие, капризность, и смирение, долготерпение, покорность».

Русский характер, основы души и поведения человека, до конца не изведенные тайны человеческой психики затронул Бунин в «Суходоле». Потому, видимо, и продолжает волновать повесть, что не только о суходольцах, а об истоках и основах национального харак-

тера, о человеческих страстях вообще заставляет размышлять писатель.

Тонем повествования, богатством интонаций и даже сменой голосов (рассказ ведется то от автора-рассказчика, то от Натальи, то от молодых господ) настраивал писатель на многосложное восприятие суходольской жизни. В «Суходоле» легко, непринужденно подхватываются и развиваются самые разные темы, а глубина постижения их во многом зависит от соразмысления и соучастия читателя, к которому обращены и недоуменные риторические вопросы, и развернутые лирические отступления, и сложный ряд ассоциаций, деталей-лейтмотивов, образов-обобщений. Каждая из десяти глав имеет свой сюжет, свои ведущие и побочные мотивы, свою тональность, ритм, образный строй, даже лексику.

Дыханием вековой старины пронизаны первые три главы, образующие эмоционально-философское вступление к суходольской летописи. Сказочно-древняя Русь с ее преданиями, поверьями, песнями. В них — история и душа народа, ибо все другое, содеянное им,

исчезало бесследно: выращиваемый хлеб съедлся, выкопанные пруды высохали, жилища не раз сгорали дотла. А где царят легенды, песни, сказки, непознанные силы природы — там нередко возникают романтические, экзальтированные чувства.

Суходол, как символ русского бытия, и дворовая Наталья, возвращенная поэзией и дикостью суходольской, — два вершинных образа, в которых сказалось своеобычное представление Бунина о России и русском характере. Суходольская жизнь полна ужасов и дикости. Но есть в ней и другое — поэзия, красота, беззаботность, старина, очарование степных просторов, их запахов, красок, звуков. Хранительница старинных преданий и талантливая сказительница, Наталья дополняет характеры женщин, воспетых русской литературой. Однако Бунин и здесь остается верен себе, изображая Наталью «во всей ее прекрасной и жалкой душе». Воспринимая мир и любовь по сказочно-романтическим и религиозно-первобытным канонам, Наталья все силы своей богатой природы растрчивает впустую, наполняет жизнь призрачными, выдуманной-

ми чувствами, добровольно принимает роль великомученицы.

Дворянин по происхождению, влюбленный в поэзию дворянской старины, Бунин безжалостно разрушал поэтические легенды о дворянских усадьбах, о старой, патриархальной, будто бы домовитой Руси. «Мы знаем дворян Тургенева, Толстого, — говорил писатель. — По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры» (Бунин, т. 9, с. 536–537). Суходольские дворяне — совсем иные. Семейная хроника Хрущевых свидетельствовала, что ни порядка, ни домовитости, ни подлинного хозяина не было в Суходоле. «У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться». Изнутри рушились крепостнические устои. «По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели» (там же, т. 3, с. 160, 182).

Исследование русской жизни не было исчерпано «Деревней» и «Суходолом». Бунин вновь обращается к жанру рассказа. За три года — тридцать рассказов. Их объединяет по-

прежнему мысль о России, о народе, о русском характере. Направленность их писатель подчеркивал выбранными эпитафиями к двум сборникам; «Веси, грады выхожу, Русь обдумаю, выгляжу», «Не прошла еще древняя Русь».

Хорошо знавший реальную жизнь, Бунин приходил в ярость от надуманного, недостоварного изображения народа, от головного, книжного сочинительства. Негодование писателя прорывалось в письмах, газетных интервью, публичных выступлениях. «А ведь теперь, — писал он в 1915 году, — дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный... изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются...» (Бунин, т. 9, с. 266). Кстати сказать, сам Бунин широко вводил и любовно воспроизводил в рассказах подлинно народную речь.

Восставая против всякой идеализации и фальши, Бунин отвергал как старонароднические, так и неонароднические умозрительные пророчества: «Все эти разговоры о каком-то самобытном пути, по которому Россия пойдет в отличие от европейского Запада, все эти разговоры об исконных мужицких началах и о том, что мужичок скажет какое-то свое последнее мудрое слово — в то время, когда мир тяжело нести вперед по пути развития техники, — все это чепуха, которая тормозит дело».

Рассказы Бунина, как и его повести, отличались острой полемичностью, беспощадной правдивостью, стремлением запечатлеть и разгадать «русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы» (Бунин, т. 9, с. 268).

«Захар Воробьев», «Ночной разговор», «Сверчок», «Будни», «Сказка», «Древний человек», «Забота», «Веселый двор», «Худая трава»... Обыкновенные крестьяне, типичные жизненные ситуации — привычные дела и заботы, встречи, разговоры, воспоминания,

скудный быт, нищета, несправедливость, жестокость одних и долготерпеливость, покорность, незлобивость других.

Однако незамысловатую жизнь Бунин изображал как бытийно значительную, таящую загадки общерусские, психологические, философские. Готовя сборник «Иоанн Рыдалец», он писал в 1913 го^{ду}: «Будут в этой книге и иного рода рассказы — любовные, „дворянские“ и даже, если хотите, „философские“. Но мужик опять будет на первом месте — или, вернее, не мужик в узком смысле этого слова, а душа мужицкая — русская, славянская».

Мало найдется книг в литературе, где простонародная повседневная жизнь была бы возведена до высокого философского и общезначимого смысла. Чуткие современники именно так воспринимали бунинские рассказы. «Иоанн-рыдалец, как это просто, прекрасно, правдиво рассказано Вами, — говорил Горький. — Это вы, это я, это все мы, вся русская литература рыдает денно и нощно, оплакивая злодеяния своих иванов грозных, не помнящих себя в гневе, не знающих удержу

своей силе. Вот мне бы хоть один такой рассказец написать, чтобы всю Русь задеть за сердце»[8].

В рассказах Бунина нет последнего итога, в них — глуби и дали времен. Они открыты будущему, обращены к близким и грядущим поколениям.

Мотив загубленной, неразумно прожитой жизни, «истасканной наизнанку», остается ведущим в рассказах 1913–1914 годов. Постигая драмы и трагедии русских людей, Бунин пытался найти причины их не только в социально-бытовых условиях, но и в основах национального характера, в строе мышления и чувств.

Противоречивые характеры, своевольные натуры, трагические судьбы, не поддающиеся односложным объяснениям, привлекают внимание Бунина. О губительной власти стихийных страстей и инстинктов, приводящих к неожиданным катастрофам и взрывам, заставляет размышлять писатель такими рассказами, как «Хорошая жизнь», «Игнат», «Ермил», «При дороге», «Я все молчу».

Бунин вглядывается в глубины и логику

переживаний, в запутанные взаимоотношения своих героев и вновь и вновь пытается понять, почему добрые сердцем, великодушные люди, не только безропотные, но и независимые, неизбежно оказываются во власти корыстных и деспотичных («Сила», «Захар Воробьев», «Весенний вечер»).

Разорванный мир одиноких людей, затерянных в глухих просторах России, — разноречивая Русь предстает в рассказах Бунина: благостно-светлая, терпеливая, смиренная, кроткая и буйная; капризная, дикая, деспотичная... Писатель стремится уяснить — что же все-таки определяет жизнеотношение и поведение людей? «Есть два типа в народе, — писал Бунин позже. — В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, „шаткость“, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: „Из нас, как из дерева, — и дубина и икона“, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает, — Сергей Радонежский или Емелька Пугачев» (*Собрание сочинений*, т. 7, с. 94).

Бунинские крестьяне — талантливые, могучие, выносливые — в большинстве своем живут еще первобытно-стихийно, подчиняясь то зову потаенных инстинктов («Игнат», «При дороге», «Сверчок», «Веселый двор»), то вековым привычкам и нормам, идущим от язычества, общины, религиозно-патриархальных или буржуазных представлений («Жертва», «Худая трава», «Забота», «Хорошая жизнь», «Князь во князьях»). Их поступки зачастую непредсказуемы, необъяснимы, так как вызваны какой-то слепой первородной силой.

Изображая гибельную власть импульсивных, стихийных порывов в человеческих судьбах, Бунин полемизировал с теми современниками, которые поэтизировали, превозносили изначальную мощь человеческих страстей. Бунин доказывал обратное: Русь страдает от неразвитости сознания и психики, от неограниченной власти эмоций.

Лишь в двух рассказах — «Лирник Родион» и «Хороших кровей» — писатель показал целесообразную направленность таланта, внутренних сил человека. Лирник Родион радуется

людей пением, а коновал Липат лечит животных, обладает особой способностью «смирять, уравнивать буйные силы природы» (Бунин, т. 4, с. 173). Оба находятся в ладу с миром, собой и природой. Рассказ «Лирник Родион» раскрывает представление Бунина о должном развитии человеческой личности. Сокровенная связь с народом, родиной, ее историей и природой, богатство чувств, простота и отзывчивость отличают лирника Родиона. Он был из тех немногих людей, для которых вся жизнь — «рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение», мечта и песня, «он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера» (там же, с. 158).

Проблемы человеческой личности, индивидуального сознания и психологии становятся в общественной жизни России начала века вровень с социально-политическими. Не случайно и в литературе и публицистике тех лет обострились споры об идеалах, о поведении и назначении человека.

«Чашей жизни» (1914) откликнулся Бунин на социально-философские споры современ-

ников. Провинциальный быт и нравы, мелкое соперничество, бесплодные мечты, жизнь, растраченная на пустяки. А за обыденностью провинциальной глуши возникают думы о России, о смысле существования, о высоком предназначении человека, о дарованной каждому *чаше жизни*.

Бунин выводит читателя из замкнутой, унылой атмосферы уездного быта, силой своего искусства приближает к авторскому мировосприятию, к чувствам и мыслям о подлинных ценностях жизни. О никчемном существовании героев автор повествует неторопливым тоном мудрого летописца. Быт возвышается до бытия, частная жизнь включается в общерусскую, освещается проблемами вечными. Писательскую позицию Бунина того времени можно определить словами из его письма о странствиях 1914 года по России: «...опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь... опять сильно чувствовал, как огромна, дика, пустынна, сложна, ужасна и хороша она».

Рассказы и повести Бунина, включающие так много безотрадных картин и трагических

событий, не оставляют, однако, мрачного впечатления. Мир в его книгах предстает не только злым, но и прекрасным. Например, в рассказе «Забота», где над всем царит однообразие хозяйственных обязанностей и тревог, которые жену Авдея «сделали за долгую жизнь страдалицей», а его — «нелюдимом», появляются черты и подробности совсем иного, противоположного смысла. С угрюмо-озабоченным Авдеем контрастирует беззаботная радость дочери, собирающейся на девичник, увлеченно играющие мальчишки, бездельники-охотники. Но главные токи радости, красоты, молодости, как всегда у Бунина, исходят от природы: «Под скатом мелкая речка разливается широким плесом... Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях». Это жизнеутверждающее мироощущение автора противостоит восприятию героя, который «глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной».

Бунин принадлежал к тем художникам XX века, кто, видя всю жестокость миропорядка,

не терял веры в торжество правды, добра и красоты. В лирико-философском рассказе «Смерть пророка» устами умудренного провидца, пережившего на своем веку и счастливые и горестные годы, Бунин утверждал: «Каждое мгновение свое должен человек посвящать жизни...» (Бунин, т. 3, с. 197). Речь идет не о жизни бездумной, легковесной, а о жизни, одухотворенной высокими целями, высоким призванием. Недаром рассказ завершается словами поэта Саади и знаменательным возгласом автора: «Мир и радость всем живущим!» (там же, т. 3, с. 200).

Вслед за Чеховым Бунин обновлял структуру рассказа. Он упрощал событийный сюжет, приглушал интерес к внешним явлениям, зачастую открывая повествование сообщением о его развязке: с самого начала мы узнаем о смерти Захара Воробьева, о ночном разговоре мужиков, который разрушает прежние наивные представления гимназиста о народе. Да и тогда, когда сюжет развивается последовательно («Веселый двор», «Ермил», «Игнат»), писатель подробно изображает не поступки, не действия, а работу сознания, душевное со-

стояние, инстинктивные побуждения героев. Бунин исследует ту «тайную работу души», которая является первоисточником любых поступков, незаметно погружая читателя в сложный поток чувств героев (так как они еще плохо умеют мыслить, их думы неотделимы от чувств). Возникает и особая форма воссоздания переживаний: Либо путем сказовой манеры, где в самой речи обнаруживается отношение человека к миру («Хорошая жизнь», «Сверчок», «Сила»), либо введением несобственно-прямой речи, переплетающейся с голосом автора. Сохраняя колорит крестьянского восприятия, Бунин как бы договаривает то, что лишь смутно чувствуют его герои. Так передано внутреннее состояние Захара Воробьева или Аверкия («Худая трава»).

Замкнутый мир героя всегда осложнен, обогащен и расширен авторским видением. Может быть, потому и появляется в прозе Бунина огромное количество выразительнейших деталей, эпизодических персонажей, внесюжетных сцен и эпизодов. Ассоциативное сопоставление их, смена планов и масштабов изображения, ритма, интонационное

многообразии — все это позволяло создавать в небольшом рассказе неоглядную картину многосложного неразгаданного мира. Один день или несколько эпизодов дают представление не только о судьбе героя, но и о самой России, о состоянии мира и человека в нем. Любая картина — бытовая, природная, психологическая, — любая частность не существуют у Бунина изолированно, они всегда включены в пестрый поток бесконечной жизни.

Художественное своеобразие бунинского повествования пронизательно уловил Рене Гиль, французский писатель, поэт и критик. Отмечая редкостный «дар построения, ритма и синтеза» у Бунина, он писал о глубине охвата жизни художником «во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее».

Искусство Бунина, говоря словами Горького, раздвигало «перед русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле» (*«Горьковские чтения»*, с. 69).

Л. Крутикова

Комментарии

Произведения данного тома печатаются по Собранию сочинений И. А. Бунина в девяти томах (т. 3, 4. М., Художественная литература, 1965–1966), в основу которого были положены издания: Бунин И. А. Собрание сочинений, т. I–XI. Берлин, Петрополис, 1934–1936; сборники «Весной, в Иудее. Роза Иерихона». Нью-Йорк, 1953; «Митина любовь. Солнечный удар». Нью-Йорк, 1953; «Петлистые уши и другие рассказы», Нью-Йорк, 1954 — с позднейшей авторской правкой. Произведения, вошедшие в настоящий том, вновь сверены по прижизненным изданиям, в результате чего внесены необходимые исправления.

Рассказ «В стране пращуров», не входивший в Собрание сочинений И. А. Бунина в девяти томах, печатается по «Литературному наследству» (т. 84, кн. 1. М., Наука, 1973).

Список условных сокращений

Бунин — Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М., Художественная литература, 1965–1967.

«*Весной, в Иудее*» — Бунин И. А. Весной, в Иудее. — Роза Иерихона. Нью-Йорк, изд-во

имени Чехова, 1953.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

«Горьковские чтения» — Горьковские чтения 1958–1959. М., Изд-во ЛН СССР, 1961.

«Жизнь Бунина» — Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина 1870–1906. Париж, 1958.

ЛН — Литературное наследство, т. 84, кн. 1–2. М., Наука, 1973.

«Материалы» — Бабореко А. И. А. Бунин. Материалы для биографии. Изд. 2. М., Художественная литература, 1983.

«Митина любовь» — Бунин И. А. Митина любовь. Солнечный удар. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1953.

Музей Тургенева — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле.

«Петлистые уши» — Бунин И. А. Петлистые уши и другие рассказы. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1954.

Полное собрание сочинений — Бунин И. А. Полн. собр. соч., т. 1–6. Пг., изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1915 (Приложение к журналу «Нива»).

«Последнее свидание» — Бунин И. А. Последнее свидание. Париж, изд-во Н. П. Карбас-

никова, 1927.

Собрание сочинений — Бунин И. А. Собр. соч., т. I–XI. Берлин, Петрополис, 1934–1936.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

Деревня*

Журн. «Современный мир», СПб., 1910, № 3 (март), 10–11 (октябрь-ноябрь), с подзаголовком: «Повесть». Ранее в газ. «Утро России» (М., 1909, № 34 — 1, 15 ноября) появился отрывок, озаглавленный «Утро».

Бунин «задумал писать „Деревню“, — писала В. Н. Муромцева-Бунина 9 июля 1959 года, — ...еще в 1908 году».

Первую часть повести Бунин завершил в сентябре 1909 года, в Москве, работая с большим напряжением. Он писал 22 сентября Горькому, что готово «около трех журнальных листов (всего, верно, будет семь), и так устал, что не спал почти всю ночь и руки трясутся» («Горьковские чтения», с. 44). Работа продвигалась быстро. По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «в три дня Ян написал начерно первую часть „Деревни“. Иногда прибежал к

маме, говорил: „Труть, жуть“, — и опять возвращался к себе и писал».

Написанные главы Бунин читал осенью 1909 года в кругу друзей. Вера Николаевна говорит в «Беседах с памятью»: «Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей (Пушешниковым. — А. Б.) в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать „Деревню“. Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидели Карзинкина (брата жены Телешова. — А. Б.), Телешова, Белоусова и еще кого-то... Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили» («Материалы», 1967, с. 135).

Бунин также читал «Деревню» в литературном кружке, в Москве. В газетах сообщалось, что новое произведение «выразительно окрашено с идейной стороны и, вероятно, вызовет разговоры и полемику справа и слева» (газ. «Биржевые ведомости», веч. вып., СПб., 1909, № 11348, 6 октября). 10 февраля 1910 года Бунин отослал первую часть в «Современный мир» для мартовской книги, рассчитывая

дать вторую на апрель и май. Но продолжение повести в этих номерах не появилось: в конце апреля Бунин выехал за границу, в Северную Африку и Италию, на Капри. В четвертом номере «Современного мира» редакция извещала читателей: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина „Деревня“ переносится на осень». Вернувшись из поездки, он сказал корреспонденту газеты «Одесские новости» (1910, № 8117, 16 мая): «Сейчас я всецело занят мыслью об окончании повести „Деревня“, начало которой напечатано в „Современном мире“. Отсюда еду на два дня в Москву, а оттуда — в Орловскую губернию — в деревню. Там я и займусь энергично окончанием „Деревни“». Болезнь, а затем смерть матери прервали работу Бунина над повестью, он продолжал писать уже в Москве. 20 августа 1910 года он сообщал Горькому: «В Москве я писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к

смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания... Повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжело работать)» («Горьковские чтения», с. 48). Лишь второго сентября 1910 года рукопись была отправлена в «Современный мир», для 10-го и 11-го номеров. В Москве, в литературном кружке «Среда», Бунин читал вторую часть «Деревни», которая, как информировал «Наш журнал» 19 сентября 1910 года, «произвела на слушателей сильное впечатление. Несомненно, это новый большой вклад в сокровищницу русской литературы»[9].

В ноябре 1910 года «Деревня» вышла отдельным изданием в «Московском книгоиздательстве» — сразу же после опубликования в журнале. Она была напечатана также в следующем году и имела большой успех.

При переизданиях Бунин сделал значительные сокращения текста и стилистические поправки: для Полного собрания сочинений 1915 года, а затем — для Собрания сочинений (т. 2, 1934), по тексту которого в послед-

ние годы жизни он снова многое исправлял.

Горький говорил о «Деревне», что слишком «густо» написано — «каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою — этнографично» («Горьковские чтения», с. 50).

Бунин признавал справедливость такой оценки, сам повторял это определение позднее в беседах с друзьями. Он вычеркнул многие бытовые подробности и сократил отдельные эпизоды, в частности некоторые из тех, которые касались прошлого Кузьмы Красова, — придав повествованию большую стройность и динамичность. Кузьма рос в Черной Слободе захолустного уездного города, в Ельце, «он видел в детстве грязь и пьянство, лень и скуку... Детство дало только одно поэтическое впечатление: была темная кладбищенская роща да выгон на горе за Слободой, а за ним — простор, жаркое марево степи...» (*Полн. собр. соч.*, т. V, с. 61).

Обдумывая свою жизнь, Кузьма вспоминал: «На базаре воспринял он много постыдного. Там их с братом научили высмеивать нищету матери, то, что она стала запивать, брошенная подростками сыновьями» (там же,

с. 62).

Прототипом Кузьмы Красова послужил поэт-самоучка Е. И. Назаров. «Озерский кабатчик как-то сказал мне, — пишет Бунин, — что в Ельце появился „автор“. И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан (с которого списан отчасти Кузьма в моей „Деревне“»).

В деревне Глотова Орловской губернии, где обычно Бунин проводил лето у двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой, и в окрестных деревнях он знал крестьян, которые стали персонажами его повестей и рассказов. 26 мая 1909 года он записал в дневнике: брат Евгений Алексеевич «чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. „Вы что говорите?“ И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное».

В этих лицах нетрудно узнать персонажей повести «Деревня» — Молодую и ее мужа Родьку.

«Много было разговоров у Яна с родны-

ми, — пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина, — что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором» («Материалы», с. 137).

Н. А. Пушешников отметил в дневнике имена крестьян, которых Бунин, по его выражению, «изучал»: «Яков Никитич предмет изучения. В „Деревне“. Лысый, необычайно жадный, кривоносый, богатый мужик. Никогда не отвечал на вопросы прямо, все шутил. Любимая его фраза: „Как сказать?“ Он не мог ни о чем говорить и ни о чем не думал, кроме хозяйственных расчетов. Одет всегда был: в армяк-поддевку и белую, длинную, из мужицкого холста рубаху. На бледном лице кривой,

розовый нос. Николай Мурогий. Тоже в „Деревне“. Высокий, нескладный. Что-то забавно-детское поблескивало в лице. Сашка Копченка. Нежный овал лица, сероглазая» (*Музей Тургенева*).

Яков Никитич — прототип Якова Микитича, богатого и жадного мужика из Дурновки. Двое других, наряду с упомянутыми выше Донькой Симановой и ее мужем, дали Бунину некоторые характерные черты для Родьки и Молодой.

О создании образа Тихона Бунин говорил: «...захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в четыре дня. И на год бросил» (*ЛН*, кн. 2, с. 274). Имя этого лавочника, возможно, и было Тихон Ильич. Оно часто упоминается в дневниковых записях Бунина о крестьянах.

Относится к «Деревне» и следующая запись в дневнике: «Люди, наиболее живыми и по-новому написанные, наиболее значительные, разнообразные и в большинстве своем

новые в русской литературе: *Деревня*. Тихон и Кузьма Красовы, старая жена Тихона, кривой солдат Родька и его жена, по прозвищу Молодая, мужик Николка Серый и его сын сапожник Дениска, девки и бабы, „величавшие“ Молодую накануне ее свадьбы с Дениской».

«Деревня» вызвала большие споры и была началом огромной популярности Бунина. За этой первой крупной вещью последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти „беспощадные“ произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы» (Бунин И. А. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 403).

В «Деревне», как в «Мужиках» Чехова, ничего не было от народнической идеализации русской деревни. И это дало повод критикам упрекать Бунина в пессимизме, в незнании

народа.

Многим казалось, что «деревня в восприятии Бунина — сплошной кошмар, „ужас и безумие“» (Утро России, 1912, № 17, 21 января), что он зарисовывает ее «сплошь черным-черно» (Запросы жизни, 1912, № 38). Рецензенту газеты «Россия» (1910, № 1546, 1 декабря) «Деревня» Бунина, в которой, по его мнению, воспроизводится «только грязь, грубость, озлобленность», представлялась «чудовищной». Критик газеты «Киевская мысль» (1912, № 272, 1 октября) называл «Деревню» «возмутительной, насквозь лживой книгой».

Автора упрекали в незнании изображаемой среды, писали, что он «горожанин, живущий кабинетной жизнью» (Колосов А. Литературные наброски. — Мысль, 1913, № 4), обвиняли в барской точке зрения на народ (Гизетти А. Возрождение или вырождение? — Ежемесячный журнал, 1916, № 4).

Бунин писал брату Ю. А. Бунину 17 августа 1911 года: «Есть обо мне фельетон в „Речи“ (на днях) г-жи Колтоновской. Говорит, между прочим, что таких книг, как „Деревня“, немного во всей русской литературе. Но что

все-таки я — „может быть, не подслушал бие-
ния сердца деревни“, ибо я „пришлый интел-
лигент“ в ней».

Горькому Бунин писал 20 апреля 1911 го-
да, что некоторые критики говорят о его
«страхах мужицких бунтов». У Бунина, писал
А. В. Амфитеатров, «городской господский пе-
репуг его пред новым мужиком» (Современ-
ник, 1911, кн. 2). Писатель В. Муйжель также
упрекал Бунина в незнании деревни и в по-
мещичьей точке зрения на мужика: «Из окна
вагона-ресторана скорого поезда так же, как
из просторного помещичьего тарантаса (...)
видел автор деревню с ее пьяными, больны-
ми, купающимися, возвращающимися с база-
ра мужиками (...) Он не был в деревне» (ста-
тья «На господском положении». — Живое
слово, 1911, № 9, 2 мая; № 10, 9 мая; № 11, 16
мая).

Бунин говорил корреспонденту одной из
газет: «Большинство критиков совершенно
не поняли моей точки зрения. Меня обвиня-
ли в том, что я будто озлоблен на русский на-
род, упрекали меня за мое дворянское отно-
шение к народу и т. д. И все это за то, что я

смотрю на положение русского народа довольно безотрадно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму...» (*Музей Тургенева*).

На одном из собраний литературного кружка «Среда» в 1912 году Бунин «взволнованно отвечал критикам, — вспоминает П. Мурашев, — указав на то, что он полжизни прожил в деревне; в детстве товарищами его были крестьянские дети; позднее он не порывал с ними связи и до последнего времени ежегодно и подолгу живет в деревне, погружаясь в самую гущу деревенской жизни, живя ее интересами, радостями и горем» (*Музей Тургенева*).

О знании деревни Бунин говорит также в письме к Н. С. Клестову: «И деревню воспринимаю я по-своему. Но ведь и Толстой, и Гл. Успенский, и Эртель, — только их изображения деревни считаю я ценными, — воспринимали по-своему. Важно прежде всего — знать. А я — знаю. И, быть может, как никто из теперь пишущих. Важно и восприятие иметь настоящее. Есть у меня и этого доля» (*Новый мир*, 1956, № 10, с. 210).

Множеству резко критических оценок «Деревни» противостояло немало статей, в которых отвергались несправедливые нападки на ее автора. П. Н. Сакулин писал, что нельзя противопоставлять повесть литературе 40-х годов — «Запискам охотника», «Деревне» Григоровича — и старым народникам и на этом основании относиться с осуждением к ней, говорить о неверном изображении народа. Эпоха, в которую выступил Бунин, совсем иная, с иными общественными задачами, нежели время Тургенева, и литература отображает исторически изменившуюся действительность. Но и тогда, в ту отдаленную пору русской жизни, «Чернышевский приветствовал рассказы Н. Успенского», в которых деревня изображается едва ли не в более мрачных тонах, чем у Бунина. «И. А. Бунин глубоко вскрыл процесс деревенской жизни, взбудораженной революционным движением. Как тонкий наблюдатель... он заглянул в самые глубины коллективной психологии... Читатель чувствует, что в народной жизни произошел большой сдвиг» («Вестник воспитания», М., 1916, с. 82–83).

Писательница Л. Я. Гуревич восхищалась описаниями в «Деревне», которые «по своей свежей и выразительной красоте, волнующей воображение, по своему чудесному, простому, сдержанно-красочному языку, напоминающему порою язык Чехова, могут быть названы „классическими“... Великолепно выписана и центральная фигура повести — этот выбившийся в люди своей сметливой энергией деревенский делец, умный и властный Тихон Ильич Красов» (Русская мысль, 1910, кн. 5).

Художник и писатель П. А. Нилус говорил Бунину в октябре 1910 года о его «Деревне» как о большой творческой удаче, в ней главное — «дух земли, крепкий, настоящий (...) Отдельные места из странствий Кузьмы превосходны, особенно меня поразили соловьиная ночь и слякоть, тасканье по постоянным дворам, трактирам, грязь, мерзость, ночевки не раздеваясь, старчество Кузьмы, все эти чудесные штрихи» (ЦГАЛИ).

Горький писал М. К. Куприной-Иорданской в 1910 году: «Это — произведение исторического характера, так о деревне у нас еще не

писали» (Бунин И. А. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 403–404). Бунину Горький писал 7-13 ноября 1910 года: «Так еще не писали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее (...) Я почти уверен, что московские и петербургские всех партий и окрасок Иваны Непомнящие и Незнающие, кои делают критические статьи для журналов — не оценят „Деревни“, не поймут ни существа, ни формы ее... Но я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьезные люди скажут: „Помимо первостепенной художественной ценности своей, „Деревня“ Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали о России, как о целом — это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически“» («Горьковские чтения», с. 52–53).

За неверие в народ, писал Горький в 1918

году, ругали и Чехова, который показал «Мужиков» в мрачном освещении. «Иван Бунин мужественно сгустил темные краски — Бунину сказали, что он помещик и ослеплен классово-враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Ив. Вольное, Семен Подъячев и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина».

Горький также писал о Бунине: «Его „Ночной разговор“ и другая превосходная по красоте языка и суровой правдивости повесть „Деревня“ утвердили новое, критическое отношение к русскому крестьянству» (Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, изд-во И. П. Ладыжникова, 1922, с. 25).

Андре Жид записал в дневнике о Бунине: «Его „Деревня“ удивительна» (ЛН, кн. 2, с. 384).

О французском издании «Деревни» («Le Village», Paris, 1923) Анри де Ренье писал: «...Тихон, Кузьма! — г. Бунин так нарисовал портреты этих двух персонажей своего удивительного и ужасающего романа, что забыть их уже невозможно, — столь живо врезаются они в нашу память. Кузьма, Тихон — во-

круг них вращается жизнь всей деревни, в ее мрачной и убогой обыденности, а вокруг деревни чередуются, сменяя друг друга, времена года: ледяная зима, знойное лето, пьянящая весна, задумчивая осень!» (ЛН, кн. 2, с. 377).

Томас Манн читал «Деревню» по-французски, и в переводе; по его словам, она «сохранила полностью свою захватывающую силу», «это необычайно скорбный роман из крестьянской жизни» (ЛН, кн. 2, с. 380).

Бунин отметил в дневнике 8 октября 1917 года: «Думал о своей „Деревне“. Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 113).

2 сентября 1947 года Бунин писал М. А. Алданову: «Поражен „Деревней“ — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечитывал) — теперь вдруг увидел, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна» (Литературная газета, 1984, № 31, 1 августа, с. 5).

Шибай — мелкий торговец, скупщик.

...опойковые сапоги... — Опоек — телячья

кожа, выделанная на сапожный товар.

Подрукавный хлеб — из муки «второго разбора, из-под рукава (на мельнице)» (Вл. Даль).

Замашка — холст из пыльниковой конопли.

...толпа... повалила... к усадьбе... прижала его к двери. — Бунин, изображая бунт крестьян, основывался на реальных фактах, которые он наблюдал в Огневке, в имении брата Евгения Алексеевича. Он писал М. П. Чеховой из Огневки 7 июня 1906 г., что крестьяне сожгли скотный двор, погорели лошади, свиньи, птица и, «вероятно, запылят еще разок, ибо волнуются у нас мужики» (об этих событиях см.: сб. «Время», Смоленск, 1962, с. 101–102).

О *Доньке* Бунин пишет в дневниках: в Глодове, Орловской губернии, «заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку» (запись 3 июля 1911 г.).

Строки из былин и народных песен, которые приводит Кузьма, Бунин взял из своих фольклорных записей. Опубликованы в *ЛН*,

кн. 1, с. 405, 417.

...отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил... — Генерал-фельдмаршал О. В. Гурко (1828–1901) в русско-турецкую войну (1877–1878) совершил переход со своим отрядом через Балканы, занял Софию и разбил под Филиппополем турецкого генерала Сулейман-пашу.

Трегубый мужик. — Упоминается в дневниковых записях Бунина 15 июля 1911 г. о деревне Глотова.

Жан-Поль Рихтер — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха (1763–1825).

...торгующего... халуем... — отрубями, кормом для скота.

Рассказ Оськи о похоронах собаки — народная сказка (см.: ЛН, кн. 2, с. 148).

Он рос в Черной Слободе... — Черная Слобода, Бабий базар, Пушкарная Слобода, Торговая улица, упоминаемые в повести, — реальные наименования в городе Ельце Орловской губ.

«Под сим памятником...» — О надписи на памятнике А. В. Кольцову сообщалось в «Москвитяине» (1853, № 19, с. 93–94) и в «Во-

ронезских губернских ведомостях» (1853, № 46); о ней много писали в 1892 г., в пятидесятилетие со дня смерти поэта; см. также: Литературная Россия, 1976, № 36, 3 сентября, с. 10. Бунин стилистически изменил надпись. Ее текст был такой:

«Просвещенной безнаукъ Природою на-гражденъ Монаршою милостию скончался 33 годовъ и 26 дней в 12 часу брака неимель»

Персидский марш — австрийского композитора Йоганна Штрауса-сына (1825–1899), автора нескольких музыкальных произведений этого названия. В данном случае, по-видимому, речь идет о «Персидском военном марше».

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — председатель Первой государственной думы, дядя В. Н. Буниной.

...*стражники играли «Тореадора»...* «*Матчиш*»... — Имеется в виду ария тореадора Эскамильо из оперы французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875) «Кармен». «Матчиш» — мелодия популярной песни по мотивам известного «Испанского марша».

Дурново Петр Николаевич (1844–1915) —

министр внутренних дел, известный своей расправой над участниками революции 1905–1907 гг.

«Витя» — Витте Сергей Юльевич (1849–1915), глава царского правительства в 1905–1906, гг.

Макаров Степан Осипович (1848–1904) — в русско-японскую войну командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре; погиб на броненосце, подорвавшемся на mine.

Велик День — день Пасхи.

Нонче ты, завтра я... — искаженные слова арии Гер-манна из «Пиковой дамы» Чайковского («Сегодня ты, а завтра я...»).

...Митрофана... босяка. — Бунин писал в дневнике 21 июня 1912 г., будучи в д. Глотова: «Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана в „Деревне“). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и — „вот бы что в газетах-то пронести!“. Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной...» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, 118–119).

Ты, коровья смерть... — Картина «дикой оргии», которую разыгрывали, чтобы прекра-

тить падеж скота, написана Буниным со слов его брата Евгения Алексеевича. В воспоминаниях Е. А. Бунина, написанных «исключительно для брата своего Вани», читаем: «...за амбарами, в поле идет целая процессия с песнями, свистом, гиканьем, хлопаньем бичами, звоня в косу. Впереди, со свечами и образами, идет много народу, несколько женщин запряжены в соху. Нас предупредили, чтобы близко не подходили, иначе они могут и имеют право кого попало встречного убить или застегать кнутами до полусмерти и не будут отвечать — будто бы по закону старых древних обычаев. И вот видим: они, приплясывая, в одних рубашках, с растрепанными волосами, выкрикивают: „Нас восемь девок, восемь баб, девятая удова, мы опахиваем, обмахиваем, ты, коровья смерть, не ходи в наше село“. И еще пели и опять повторяли: „Ты, коровья смерть, не ходи в наше село...“ В это время была какая-то эпидемия на скотину, дохли коровы, и бабы, собравшись, решили предупредить или прекратить падеж. Во многих деревнях и селах бывали подобные дикие оргии, доходившие до экстаза и изуверства, — вери-

ли и рассказывали повсюду, что там, где подобное проделывалось, падеж быстро прекращался» (ЛН, кн. 2, с. 229).

Падрина — подстилка под стог или скирд.

Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. — Французский офицер А. Дрейфус был осужден в 1894 г. по сфабрикованному обвинению в шпионаже на пожизненную каторгу на Чертовом острове близ Гвианы. Под давлением общественного мнения он был помилован и в 1906 г. реабилитирован.

...продажа братьями Иосифа. — Здесь говорится о картине на библейский сюжет. Иосиф, сын Иакова и Рахили, был продан братьями в рабство.

Козырьки — маленькие санки.

«Хаз-Булат удалой...» — романс А. Н. Аммосова.

«Прикрасна, как андел небесный, как деман, коварна и зла...» — Искаженные строки из стихотворения Лермонтова «Тамара», ставшего народной песней; музыка Э. Ф. Направника.

Маленькое зеленое деревцо... стояло на столе... — Обряд свадьбы Бунин описал та-

ким, каким он должен быть при выдаче замуж девушки, а не вдовы (см.: *ЛН*, кн. 2, с. 146). В песнях и причетах этого обряда много грусти и скорби, что гармонировало с тем, чего могла ждать Молодая в ее будущей нелегкой жизни с Дениской. «Чужая сторонущка» для невесты «горем населена, слезами поливана, тоской покрывана и печалью горожена». Свадебные народные песни Бунин изучал по сборнику «Песни, собранные П. В. Киреевским».

Суходол*

«Вестник Европы», СПб., 1912, № 4, апрель.

Бунин начал писать повесть летом 1911 года в деревне Гло-тово, в имении двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой Васильевском. Он говорил корреспонденту газеты «Московская весть» (1911, № 3, 12 сентября): «...мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием „Суходол“».

Закончил в декабре 1911 года на Капри. В заметках для автобиографии Бунин записал: «Суходол — Гло-тово, VII. 1911 г. Капри, XII. 1911 г.» (*Музей И. С. Тургенева*).

Первоначально он намерен был отдать повесть в альманах символистов «Шиповник». «Сговорился с „Шиповником“, — писал он с Капри Н. С. Клестову 6 декабря 1911 года, — обещал дать ему в январе повесть „Суходол“» (Бунин И. А. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 405). От этого намерения он затем отказался.

На Капри, у Горького, Бунин прочитал рукопись, с большим успехом, 8/21 февраля 1912 года. По свидетельству Н. А. Пушешникова, повесть очень понравилась Горькому и присутствовавшему при чтении М. М. Коцюбинскому, сравнившему ее со «старинным гобеленом» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, с. 242).

При переизданиях Бунин сделал стилистические исправления и сокращения (см.: Бунин И. А. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 405–406).

Семейная хроника обитателей Суходола создавалась по преданиям, сохранившимся в семье Буниных. В ней отражены черты различных лиц из их рода. В. Н. Муромцева-Бунина писала 3 апреля 1958 года: «Совершенно верно, что Суходол взят с Каменки, родового имени Буниных. От Глотова верст двена-

дцать, но от Озерок версты две, если я не ошибаюсь, их разделяет большая дорога, идущая в Елец... Я была в Каменке... От имения ничего не осталось... Вы правы, что и „Суходол“ и „Жизнь Арсеньева“ не хроника, не автобиография и не биография, а художественные произведения, основанные на биографическом материале».

Дед И. А. Бунина, Николай Дмитриевич, получил при разделе имущества в 1818 году имение «Елецкой округи в сельцах Семеновском, Каменка тож, и в Озерках (...) 300 десятин с лесы, с санными покосы и со всеми угодьями» (Гончаров Ю. Предки И. А. Бунина. — «Подъем», Воронеж, 1971, № 1, с 137).

У деда, Николая Дмитриевича Бунина, было трое детей: Николай, Алексей и Варвара. Все они были людьми незаурядными. Некоторые черты деда Бунин придал Петру Кириллычу («Суходол») и помещику Хвощинскому («Грамматика любви»). Дети Николая Дмитриевича также являются прототипами изображенных в «Суходоле» лиц. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала: Алексей Николаевич Бунин рассказывал, что мать его (рожденная

Уварова) была красавицей; «она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным» (ср. гл. IV «Суходола»).

Алексей Николаевич, отец писателя, был участником Крымской войны, куда отправился добровольцем вместе с братом Николаем со своим ополчением. Там встретился с Л. Н. Толстым. В «Суходоле» тоже братья «охотниками» пошли на войну.

Смерть Ивана Чубарова, брата матери Бунина, как писала В. Н. Муромцева-Бунина, перенесена в «Суходол» — смерть Петра Петровича, — «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом».

В то время, когда Иван Алексеевич, подростком, бывал в Каменке, Бунины жили в Озерках, а Каменка принадлежала уже семье покойного брата отца, Николая Николаевича. Однажды, после долгой ссоры, когда они не встречались, Бунины нанесли визит владель-

цам Каменки, «и там Ваня с Машей, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — впервые увидели свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинского. А отказав, после его отъезда, заболела нервно. Она прототип тети Тони в „Суходоле“» («Жизнь Бунина», с. 22).

О «Суходоле» Бунин говорил: «Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью „Деревня“. Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь...

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще.

Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д.

В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса... Дело в

том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.

В моем новом произведении „Суходол“ рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан „Деревни“) представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев (...) Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех

и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты дворянской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского помещного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике» (Московская весть, 1911, № 3, 12 сентября).

Появление «Суходола» оживило давнишние суждения некоторых критиков о Бунине как певце старой усадебной России, грустящем о разоряющихся дворянских гнездах и оплакивающим вырубленные вишневые сады. Наиболее прямолинейно писал в начале 1900-х годов о Бунине как о меланхолическом лирике, писателе-пейзажисте народник П. Ф. Якубович в «Русском богатстве».

И теперь многим казалось таким несомненным, что Бунин «вздыхает по умершей жуткой душе Суходола» (Григорьев Р. «Новые книги. И. А. Бунин. „Суходол“...» — Современник, 1913, № 3), что он, подобно Тургеневу, отразил «грустную поэзию разоряющихся дворянских гнезд» (А. Л. И. А. Бунин. К 25-летию

литературной деятельности. — Россия, 1912, № 2136, 28 октября), и генеалогию его творчества надо будто бы вести от Тургенева (Колтоновская Е. Бунин как художник-повествователь. — Вестник Европы, 1914, кн. 5). Вместе с тем Колтоновская с восхищением говорит о том, что «Суходол» так «лиричен, так глубоко пропитан интенсивными авторскими настроениями, что к нему гораздо больше подходит название поэмы, чем повести» (с. 340). У Бунина, пишет она, «постепенно реалистические приемы сильно преобразились... Самое понятие реализма можно применять теперь в отношении к Бунину только с оговорками. В своем реализме он является в большей степени импрессионистом» (с. 341).

В критике отмечалось, что «Бунин как художник проявил в „Суходоле“ силу и чистоту таланта, превосходящие все прежде им написанное. Повесть чисто бытовая, „Суходол“ местами обращается в яркий и громадный символ: из-за помещичьей усадьбы Хрущевых вдруг выступает вся Россия, проглядывает лицо всего русского народа» (Петров Гр. С. Суходолия. — Кругозор, № 1913, № 2).

На суждения критиков о том, что Бунин в таких произведениях как «Божье древо» или «Суходол» пишет о жизни, которая канула в вечность, он возражал: «Я пишу о душе русского человека, при чем здесь старое, новое. Вероятно, и теперь какой-нибудь Яков Ефимыч трясет портками и говорит теми же сказками. А они: все это картины старой жизни, — да не в этом дело» (запись в дневнике 2 января 1928 г.).

Критики, которые обращали Бунина в прошлое, полагая, что он следовал за Тургеневым в своем мастерстве пейзажиста, не постигали его как художника. Ф. Степун писал: «Бунин, как художник, гораздо чувственнее Тургенева; эта чувственность определенно роднит его с Толстым. Бунинский мартовский вечер не только стоит перед глазами, но проливается в легкие; его весну чувствуешь на зубу, как клейкую почку. У Тургенева (...) Ирина скачет верхом по Лихтентальской аллее; Паншин въезжает верхом на двор калитинской усадьбы, в „Вешних водах“ — опять верховые лошади. Во всех трех случаях мы представляем себе прекрасных лошадей, но лошадей вооб-

це. У Бунина же таких лошадей вообще нет. Лошади в „При дороге“, лошади в „Деревне“, лошадь в „Звезде любви“ все совсем разные, до конца конкретные лошади. И это относится, конечно, не только к лошадям, а ко всему, что описывает Бунин». «Природа Бунина, — продолжает критик, — при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева».

У Бунина, в сравнении с Толстым, «все картинней, „безумней“, как выразился о себе он сам», — пишет в «Грасском дневнике» поэтесса Г. Н. Кузнецова.

По мнению Горького, «Суходол» — «это одна из самых жутких русских книг» («Горьковские чтения», с. 92).

В этот период в замыслах Бунина было также написать роман об интеллигенции «обеих столиц», под заглавием «Зима», но планы эти не осуществились. Он позднее говорил В. Н. Муромцевой-Буниной, что «в

Москве остался неоконченный роман листов в шесть или повесть» (ЛН, кн. 1, с. 371). Он предполагал также написать в 1912 году драму, «где будут затронуты и город, и деревня» (там же).

«Деревня», «Суходол», «Зима», драма должны были охватить все слои русского общества. В интервью, в речах, дневниках и письмах этих лет Бунин затрагивал важнейшие проблемы: о национальном русском характере, о судьбах современной литературы, о языке — о том, что касалось России в целом.

«Суходол» Бунин называл романом, — в некоторой мере это автобиографический роман-хроника, предшествующий совершеннейшему образцу этого жанра — «Жизни Арсеньева». Г. Н. Кузнецова под впечатлением разговора с Буниным записала в дневнике: «Читала „Суходол“ и потом долго говорила о нем с Иваном Алексеевичем... Несомненно, вещь эта будет впоследствии одной из основоопределяющих и все творчество, и духовную структуру И. А. Он сам не знает, до какой степени раскрыл в „Суходоле“ „тайну Буниных“ (по Мориаку)» (ЛН, кн. 2, с. 292).

В Суходоле, писал Бунин, «жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна». Вероятно, именно в этом смысле следует понимать слова, что в повести он раскрыл «тайну Буниных» по Мориаку.

В повести — истоки нового письма, элементы стиля той прозы, в которой на переднем плане не историческая Россия, с ее жизненным укладом, как в прозе начала 1910-х годов, в «Деревне» например, а душевная жизнь людей, — прозы лирической.

Развитию этого рода прозы предшествовал опыт «прозаических поэм» странствий Бунина по Востоку — «Тень Птицы» (1907–1911), и дневников 1911 года о плавании по Индийскому океану, изданных почти без изменений в 1925–1926 годы под заглавием «Воды многие».

Бунин исследует человеческую природу особенно глубоко в прозе 1920-1940-х годов («Митина любовь», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи» и др.). Но и «Суходол» — уже пример прозы психологической, с ее захватывающими страстями и с ее тайнами. Здесь не только «жизнь семьи, рода» таинственна и

страшна. Таинственна и страшна своей непреоборимостью, непостижимостью и любовью, из-за которой трагически ломались судьбы суходольцев, от которой сходили с ума, как сошла тетя Тоня.

Что-то есть почти фантастическое в том, как в «Суходоле» филин ночью, томимый любовью, «ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки», шептала молитву. «...Выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо скалку»; филин перелетал на ригу, «внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями».

В «Митиной любви» этот большой ушастый филин, пугач, с еще большей силой, чем тетю Тоню и Наталью, потрясал своим криком Митю (см. гл. X). «Митина любовь» — шедевр прозы лирической, которой предшествовал «Суходол».

Польский писатель Ярослав Ивашкевич полагал, что «Суходол» «не только формой

своей предвосхищает современную американскую литературу, но и по содержанию как бы близок целому ряду фолкнеровских рассказов об упадке зажиточных некогда семей...» (Предисловие Ивашкевича к его переводу «Суходола». — «Twôrczosc», Warszawa, 1968, № 8, с. 11–12).

...без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья. — Прототипом Натальи, несомненно, в какой-то мере послужила крестьянка, с которой Бунин, живя в имении Васильевском, в д. Глотово, встречался и беседовал в те дни, когда писал «Суходол». Он отметил в дневнике 20 июня 1911 г.: «...катались на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается».

Шестая книга — родословная книга, в которую были внесены Бунины, принадлежавшие к дворянам древнего рода.

Комолая корова — безрогая.

Меркурий Смоленский. — Легенда о Меркурии Смоленском, древнее народное предание, содержится в русской житийной литературе; икона безглавого Меркурия, как пишет В. Н.

Муромцева-Бунина, хранилась у Буниных с дедовских времен.

Трошин лес действительно был в ближайших к Глотову местах.

Огинский — М. К. Огинский (1765–1833), польский композитор.

«*Людмила*» — баллада В. А. Жуковского.

«*Ты мертвецу святыней слова обручена...*» — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца».

Будылястый — от слова «будыль»: голень, кость, то есть костистый.

Парс. — Парсы — огнепоклонники, выходцы из Персии, ныне живущие в Индии, последователи пророка Зороастра (не позднее 1000 г. до н. э.); в его учении — противопоставление двух вечных начал: добра и зла. Бунин, говоря о парсах, подчеркивает этим приверженность Герваськи всему злему, что было в жизни.

Мартын Задека. — Имеется в виду, вероятно, толкователь снов «Гадательный, древний и новый оракул...».

На море, на окояне... — Заклинание, схожее с заклинанием Климата Ерохина, есть сре-

ди фольклорных записей Бунина (опубликовано в *ЛН*, кн. 1, с. 402). Блок писал: «...Заговоры, а с ними вся область народной магии и обрядности, оказались той рудой, где блещет золото неподдельной поэзии»; тут, по его словам, непонятная для нас «древней души вера в слово» (Блок А. А. Поэзия заговоров и заклинаний. — Собр. соч., т. 11. Л., 1934, с. 134, 144).

Юшка, «провиненный монах»... — Лицо реальное. Бунин записал в дневнике 20 мая 1911 г., будучи в д. Глотова: «Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был четырнадцать лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: „выгнали... Я провиненный монах, значит“. Почему хвастается? Думаю, что отчасти затем, чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. „Что же, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?“ — „Черт меня теперь заставит работать!“ — В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, — с длинными жидкими волосами, — и моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и

что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. „Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?“ Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. „Ну, я теперь надолго житель!“» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 114).

Крик*

Газ. «Русское слово», М, 1911, № 225, 1 октября. Печатается по кн. *«Петлистые уши»*. Датируется по Собр. соч., т. III, 1934.

В автографе рассказ озаглавлен «Атанас», а дата указывает на начало и конец работы над произведением: «26–28 июня 1911 г.» (ЦГАЛИ). В основе сюжета рассказа, как видно из черновой записи, сделанной Буниным, лежит действительный факт: во время плаванья матросы напоили для забавы пассажира-грека (Бунин И. А. Собр. соч., т. 2. М, 1956, с. 406).

Смерть пророка*

Газ. «Русское слово», М., 1911, № 298, 28 декабря, под заглавием «Смерть Моисея».

Рассказ написан на библейский сюжет — о пророке Моисее, освободившем еврейский

народ «от рабства и идолопоклонства».

Повествуя о смерти пророка, Бунин развивает идею: стремление к нравственному идеалу побеждает страх смерти и в конце концов, в своей деятельности, человек обретает бессмертие. Таков в своих стремлениях, для Бунина, Толстой (см.: *Бунин*, т. 9, с. 18–19).

Бунин говорил: «Ведь я не верю в смерть» (запись в дневнике В. Н. Муромцевой-Бунинной 18 марта 1925 г.).

Искандер Двурогий, или Искандер Зулькарнайн («двурогий») — прозвание Александра Македонского (356–323 до н. э.), царя Македонии, завоевавшего Малую Азию, Палестину, Египет, Персию и часть Индии, запад и восток — оба рога вселенной.

Вода вечной жизни. — Согласно персидским легендам, Искандер мечтал найти «воду жизни». Вода жизни — символ бессмертия для посвятивших себя тому, чтобы творить благие дела, для душ чистых и праведных, — как пророк Моисей в рассказе Бунина или Левий Матвей в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. Левин принес пергамент — хар-

тию, где записаны слова Иешуа, которые прокуратор Иудеи Пилат прочитал: «Смерти нет (...) Мы увидим чистую реку воды жизни» (Булгаков Михаил. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., Художественная литература, 1973, с. 744). Далее были слова о том, что нет большего порока, чем трусость. Из трусости перед чернью Пилат обрек на смертные муки безвинного Иешуа. Через это обессмертил себя. Но он «более всего в мире ненавидел свое бессмертие и неслыханную славу» (там же, с. 797).

Атабек-Абубекр, или Абу-Бакр — правитель Фарса (Фаристана, в 1226–1258), области на юге Ирана, которая была самостоятельной и подчинила себе значительную часть Ирана. Благодаря мудрой политике Абу-Бакра Фарс не был разорен монголами, от которых он откупился золотом. За это Саади превозносил Абу-Бакра и посвятил ему свои книги «Бустан» и «Гулистан».

Древо Заккум. — По корану, плоды этого дерева будут причинять мучения отверженным в аду — «таков будет пир у них в день возмездия»: «Древо это растет на дне ада. Вер-

шины его уподобляются главам демонов» (Коран. М., 1901, сура 37).

Сура о Великой Вести — 78-я. К ней по сюжету примыкает 81-я, отрывок из которой пересказывает Бунин.

Я Син — эти буквы, смысл которых остается неясным, дали название 36-й главе Корана; ее читают как отходную молитву.

Книга вечная — *Галльюн* — согласно Корану, «книга, находящаяся на небе и заключающая в себе описание деяний всех людей» (Коран. М., 1901, с. 208). О человеке, опьяненном запахом роз, говорится во вступлении к «Гулистану» Саади.

Снежный бык*

Журн. «Путь», М., 1911, № 1, ноябрь, под названием «Из рассказов без заглавия». Черновой автограф озаглавлен «Бессонница» и имеет дату: «29 июня — 2 июля 1911 г.». В сб. «Иоанн Рыдалец» (М., 1913) и в *Полн. собр. соч.* рассказ помещен под названием «Без заглавия». В дальнейшем Бунин искал новые заглавия: «Снегур» (газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 534, 18 ноября; сб. «Последнее

свидание», Париж, 1927) и наконец — «Снежный бык» (*Собр. соч.*).

Древний человек*

Газ. «Русское слово», М., 1911, № 187, 14 августа, под заглавием «Сто восемь». Новое название рассказ получил в газете «Последние новости» (Париж, 1930, № 3441, 24 августа), датирован: «1911–1930». Дата в автографе: «3–8 июля 1911 г., Глотова» (*ЦГАЛИ*).

Таганок — крестьянин д. Глотова, которого хорошо знал Бунин. В дневнике в июле 1911 года он пометил: «Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию» (см.: «Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 115, 116).

Сила*

Газ. «Русское слово», М., 1911, № 214, 18 сентября. Рассказ датирован Буниным: «16. VIII. 1911». Но в заметках для автобиографии он написал: «Сила — под Одессой у Буковецкого на даче Климовича 16 авг. 1911, кончено в Москве 1 сентября 1911» (*Музей Тургенева*).

История, которую рассказывает Буравчик,

основана на народной — солдатской сказке; ее по-своему передает бунинский герой (см.: Атанов Г. М. Проза Бунина и фольклор. — Русская литература, 1981, № 3).

Хорошая жизнь*

Журн. «Современный мир», СПб., 1912, № 1, январь. Датируется по *Собр. соч.* ноябрем 1911 года.

Бунин писал 8 (21) декабря 1911 года Н. Д. Телешову о своих встречах с Горьким на Капри: «Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в „Современный мир“ и „Всеобщий ежемесячник“» (*ЛН*, кн. 1, с. 601). Рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок», о которых говорится в письме, Бунин читал у Горького. «Имею очень большой успех», — сообщал он Ю. А. Бунину в ноябре 1911 года. В письме 23 января / 5 февраля 1912 года он спрашивал брата: «Читал ли „Хорошую жизнь“? Что скажешь? Мне кажется, много здорово я завернул!» (сб. «Время», Смоленск, 1962, с. 106).

М. А. Алданов, прочитав два последних тома *Полн. собр. соч.* Бунина; писал ему 22 августа 1947 года: «Почти все изумительно. Самое изумительное, по-моему: „Хорошая жизнь“ и „Игнат“. Но какой вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой „Хорошей жизни“ не помню в русской литературе (...) Это никак не мешает тому разнообразию, о котором вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных; конечно, язык „Записок охотника“ или чеховских „Мужиков“ не так хорош, как ваш народный язык (...) Нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали *по памяти* иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в „Древнем человеке“ можно было написать только на месте. Были ли у вас записные книжки? Записывали ли. вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова в его *правдивых*, а не выму-

ченных со всякими „мелкоскопами“ вещах)».

Бунин ответил 23 августа 1947 года: «Что иногда, да даже и частенько, я „мрачен“, это правда, но ведь не всегда, не всегда (...) Наряду с „мрачным“ сколько я написал доброго, самого меня порой до слез трогającego! Впрочем, вы и сами соглашаетесь, что я разнообразен. Насчет народного языка: хоть вы и жили только в Волынской деревне, — и как жили, бог мой! — *такой* писатель, как вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, напр., по-французски? Это в вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотницкий, и дурачков, и юродов, и нищих — как в вас русский (и теперешний, и разных старинных людей ваших романов, и французский, и английский). И клянусь вам — никогда я ничего не

записывал; последние годы не мало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а „для потомства“ — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, которые, конечно, уже никогда не будут написаны (...) Клянусь, что девять десятых этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен вам): как девять десятых *всего* написанного мною на девяносто девять процентов *выдуманно*, так и „Игнат“ и „Хорошая жизнь“ выдуманы (...) Ходила к нам, „на барский двор“, одна баба, жена мелкого деревенского торгаша (вся его лавка была в большом сундуке), женщина бойкая, пронзительная, говорливая, соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым — отсюда и пошла „Хорошая жизнь“. (Письма Бунина Алданову цитирую по публикации

проф. А. Звереса.)

О правде вымысла Бунин писал (запись не датирована): „Какая у Бунина память! Как живо помнит он всякие события, послужившие ему темой для какого-нибудь рассказа, лица, обстановки, картины природы, цвета, запахи!“

Это так, да не так. Память у меня на что-нибудь более ли менее обыденное, простое, бывшее со мной или при мне, на дни, на годы, на лица — словом, на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной само собою, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке». (Дневники Бунина периода эмиграции цитируются по публикациям М. Грин, а дневники 1911–1920 гг. — по фотокопиям, полученным от М. Грин.)

Бунин также говорил: «...мое существо сильно воспринимает, запоминает не частно-

сти, а нечто общее, а из этого создает вымысел», и так убедительно, что «чуть не все любовные истории, написанные мною, не только мои читатели, но даже и критики считали и считают мною самым пережитыми» (см.: Бабореко А. Поэзия и правда Бунина. — «Подъем», Воронеж, 1980, № 1, с. 136).

Сверчок*

Журн. «Всеобщий ежемесячник», СПб., 1911, № 12, декабрь. В заметках для автобиографии Бунин указал двойную дату: «Капри 28–30 ноября 1911 г.» (*Музей Тургенева*). Печатается по кн. «Петлистые уши».

П. А. Нилус писал Бунину 7 января 1912 года: «...читал (...) „Сверчка“ в „Ежемесячнике“. И воистину прочел с удовольствием. Ах, молодец, чудесно написано и до такой степени не похоже на наших любезных писателей, точно ты из другого теста слеплен. Ах, хорошо!» (*ЦГАЛИ*. Письма Бунина Нилусу цитируются по фотокопиям с автографов из парижского архива Бунина. Получено от М. Грин).

В иностранной критике сравнивали «Сверчка» с рассказами Толстого. Писатель-

ница Зинаида Тулу б сообщала Бунину 10 октября 1914 года, что профессор Краковского университета Яновский, который намерен был посвятить ряд лекций его творчеству, прилагал усилия к тому, чтобы Бунин был переведен на польский, немецкий и французский языки. Он восхищался прозой Бунина, говорил, что с рассказом «Сверчок» можно сопоставить только «рассказы Толстого — например, „Хозяин и работник“». По его словам, «Бунин — писатель мирового калибра, быть может — лучший в России» (*Музей Тургенева*).

Андре Жид писал Бунину 23 октября 1950 года: «Я не знаю писателей, у которых внешний мир находился бы в более тесном соприкосновении с другим миром, с миром внутренним, чем у вас, у которых ощущения были бы более точны и незаменимы, слова более естественны и в то же время неожиданны. Вы с одинаковой уверенностью изображаете нищету и убожество, с одной стороны, и благополучие, с другой, отдавая все же некоторое предпочтение самым обездоленным людям на свете (...)

В одном из самых захватывающих ваших

рассказов („Туман“) вы описываете страшную смерть несчастного человека: отец, сам полумертвый от холода, затерянный в тумане, в крошечной тьме, еле тащит его на спине. Эту историю рассказывает отец кухарке. „Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?“ А рассказчик рассеянно отвечает:

— Не до того было» (ЛН, кн. 2, с. 385–386. Перевод Н. М. Любимова). «Пусть в вашем изгнании, пусть в тумане, — продолжает Андре Жид, — который окутывает нас со всех сторон, нет-нет да и мелькнет луч света; не приходите же в отчаяние от того, что творится вокруг, — пусть этот луч света вызовет у вас, пусть он все еще вызывает у вас улыбку при взгляде на жизнь» (там же).

Ночной разговор*

«Сборник первый», СПб., Издательское товарищество писателей, 1912. Написан на Капри в пять дней (19–23 декабря 1911 г.). «Рассказ для вас готов, — сообщил Бунин Н. С. Клементову 24 декабря. — Он о мужиках, называет-

ся „Ночной разговор“. Позавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кое-кто) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех, — хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) — у господ критиков» (Бунин И. А. Собр. соч., т. II. М., 1956, с. 407). Об успехе своего произведения в кругу литераторов, собиравшихся у Горького, он говорит в письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года: «Клестову даю рассказ „Ночной разговор“... Читал его у Горького — и снова с огромным успехом» (там же).

«Большое озлобление», говоря словами Бунина, рассказ вызвал в правой печати. А. Бурнакин писал в «Новом времени» (1912, № 12928, 9 марта): «...как в „Деревне“, *опачкивание народа* и опять соответствующее выполнение: поэзия дурных запахов, загаженные проходы, миллионы блох и вшей, портянки и портянки». Обвинение в безмерном сгущении красок прозвучало и на страницах газет «Столичная молва», «Запросы жизни», «Русские ведомости» и т. д. Напротив, Любовь Гуревич видела в Бунине хранителя великих заветов Толстого. Истекший литературный

год, замечала она, значителен тем, что вышел том посмертных произведений Толстого с «Хаджи Муратом» — «перед нашим растерянным литературным поколением (...) встал образец строгого, гениально простого и могучего художественного письма». Бунин относится к тем писателям, которые, пишет Гуревич, «являются как бы живыми звеньями, соединяющими наших, уже ушедших из жизни классиков с тою классической литературою будущего, которая должна же вновь родиться». Его «Ночной разговор» и «Веселый двор» представляют собою «настоящее художественное очарование (...) И, читая его, все время упиваешься его дивным, правдивым, метким языком, вылепляющим при посредстве нескольких слов живые характерные фигуры, передающим в диалоге мужиков всю первобытную наивность и свежесть крестьянской психологии вообще и тембр каждой представленной нам индивидуальности» («Ежегодник газеты Речь на 1913 год», СПб., изд. редакции газеты «Речь», с. 372, 388, 389).

Французский писатель Анри де Ренье писал, что рассказ «Ночной разговор» «преис-

полнен трагической и своеобразной красоты» (ЛН, кн. 2, с. 376).

Ливингстон Давид (1813–1873) — английский путешественник. *Беккер* Самуэль Байт (1821–1893) — английский путешественник и исследователь, открывший один из истоков Нила.

Рассказ Пашки об убийстве арестанта очень близок по содержанию записи Бунина в дневнике 29 июля 1911 г. о глотовском крестьянине Илюшке: «Поразительно рассказывал на днях Илюшка, как он убил человека. Умывался у водовозки — пошла кровь носом, косил на солнце. Возле него малый... Малый Илюшке: „Полей мне“. Илюшка: „Ай я тебе прачка?“ Милый смех, умное лицо. Заговорили о его молодой бабе. Спокойно, громко говорит при всех... Потом о том, как убил — и все так же весело, бодро, легко. „Неужели правда убил?“ — „Ей-богу, правда, об этом даже в газетах писали и в приказе по полку. Нас с Козловым дивизии начальник за это убийство арестанта, во время препровождения, к медали хотел представить, да нас в Киев перевели.

На смотру по рублю дали“. А убили так. Три солдата препровождали несколько арестантов из Ново-Сенак в Зухдены. По дороге ночевка, припоздали. Один арестант лежал в телеге, больным прикинулся. Привели в пересяльную казарму. Сторож пошел с солдатом пробовать окна — крепки ли решетки. Арестант сидел на крыльце. Вдруг вскочил и за угол. „Козлов за ним, я наперерез“. Стреляли на звон кандалов. По пяти зарядов выпустили. „Я еще зарядил — раз! — слышу, потишал звук. Я еще раз. Слышу — стихло, упал. Я подбежал — он сел на ж..., на руки: добей меня, ради бога! Я приложил штык и вот в это место, где бронхит бывает — так штык в спину и выскочил... А он как бежал? Разрезал кандалный пояс и деру, на бегу его рукой держал. Мы в него попадали, — два зуба выбило, в десны и в сустав, в пальцы попали. А тут подбежал Козлов, взяли за кандалы и поволокли...“ — „И тебе не грех?“ — „Какой же тут грех? Мне за него год пришлось бы сидеть“. — „Да лучше год...“» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 116).

Веселый двор*

Журн. «Заветы», СПб., 1912, № 1, апрель, с подзаголовком: «Повесть».

Бунин начал писать повесть не позднее июля 1911 года в Глотове: этим временем датирована черновая рукопись, первоначальное заглавие которой — «Мать и сын» (ЦГА-ЛИ). Начало Бунин читал летом жене Вере Николаевне и другим лицам в Глотове. Работа над произведением была завершена в конце 1911 года. В письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года Бунин сообщал: «Про печника и старуху рассказ еще никуда не давал: хотел было Овсянику (Овсянико-Куликовскому. — А. Б.) в „Вестник Европы“... да приехал Миролюбов и Чернов — сотрудники какого-то нового, имеющего выйти в январе в Петербурге журнала — и просили этот рассказ дать им. Почти согласился» (Бунин И. А. Собр. соч., т. II. М., 1956, с. 407). На Капри, под Новый, 1912 год, Бунин читал рассказ у Горького, который сообщал Е. П. Пешковой: «С восьми часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать умирает с голода, а сын ее, лентяй и бездельник, пьет, пьяный пля-

шет на ее могиле, а потом ложится под поезд, и ему отрезает ноги. Все это в высшей степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление. Слушали: Коцюбинский, у которого больное сердце, Черемнов — туберкулезный, Золотарев — человек, который не может найти себя, и я, — у меня болит мозг и в голове, и во всех костях. Потом долго спорили о русском народе и судьбах его». (Письмо 3/16 января 1912 г. Архив А. М. Горького, вып. 9. М., 1966, с. 131.)

4 января 1912 года Бунин писал Ю. А. Бунину: «Кончил и расширил рассказ про Егорку-печника и его мать, назвал так: „Мать и сын, будничная повесть“. Под Новый год читал у Горького. Все очень хвалили, сам Горький — сдержанно, намекнул, что России я не знаю, ибо наши места — не типичны, „гиблые места“... Думаю, что Горький полагает, что касаться матерей, души русского народа — это его специальность, он даже Гоголя постоянно толчет с... за „Мертвые души“ — писал Гоголь Ноздревых да Собакевичей, а Киреевского, Хомякова, Бакунина — проглядел» (*Музей Тургенева*).

Бунин знал не только «гиблые места», он изъездил и исходил пешком многие украинские хутора и села. «Прекраснее Малороссии нет страны в мире» (Бунин, т. 6, с. 260), — восклицает он, и далее — словами Гоголя: «Ты, древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа!» (там же, с. 261).

Жил Бунин и в Витебской губернии, очень много ходил здесь пешком, присматривался к нравам крестьян, изучал белорусский язык. «У крестьян этой полосы, — говорил он корреспонденту „Московской газеты“ (1912, № 217, 22 октября), — по моему мнению, в наиболее чистом виде сохранились неиспорченные черты славянской расы. В них видна порода. Да и живут они хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в средней России».

Крестьян, как говорил Бунин, — «совершеннейших аристократов», умных, талантливых, он наблюдал и в его родных местах — орловских деревнях. В Осиновых Дворах он однажды восхищался мужиком с ласково-лучистым взором, который напоминал своим ви-

дом профессора; «другой поразил, — писал он, — XVI век, Борис Годунов». На Прилепах один крестьянин казался ему «великим удельным князем» — умный, с «чудесной доброй улыбкой. Вот кем Русь-то строилась», — пишет Бунин в дневнике («Неман», Минск, 1980, № 6, с. 153).

И произведения Бунин писал не только, по его определению, «жестокие», но и «благостные», такие как «Захар Воробьев» и «Лирник Родион». А повести и рассказы «мрачные» не внушают чувства безнадежности. «В повести „Веселый двор“, — писала Л. Гуревич, — сквозь обычную уравновешенность Бунина проступает теплота авторского чувства и глубокая серьезность его основного настроения. У другого писателя самая тема вызвала бы читательскую слезу (...) Благородная сдержанность бунинского письма придала его повествованию величавую красоту и поэзию» («Ежегодник газеты Речь на 1913 год», СПб., с. 389).

Весной 1912 года Бунин читал не опубликованный тогда еще рассказ на собрании телешовской «Среды», он произвел сильное впечатление. По опубликовании рассказа в

критике указывалось на подспудную, глубоко скрытую, но ощутимую во всем контексте произведения любовь и сострадание писателя к деревенскому человеку, к его тяжелой и сумрачной доле. Пересказав содержание рассказа, Ю. Айхенвальд продолжал: «И вот, когда про все это читаешь у Бунина, то не только беспредельную жалость чувствуешь и болит сердце, болит совесть, но и бесспорным становится, что пусть сколько угодно свидетельствует о себе автор: „Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты“, — он все-таки не может не любить Ани-сьи, он не может не испытывать к ней самой жалостливой нежности, и невольно в свою как будто бесстрастную манеру, в свое эпически невозмутимое повествование, в эти безжалостные подробности объективного рассказа он вплетает нити-нервы своего острого чувства, быть может даже — заглушённое отчаянье» (Речь, СПб., 1912, № 305, 6 ноября).

Игнат*

Газ. «Русское слово», М., 1912, № 162, 164–167, 17–20 июля. Печатается по кн. «Пет-

листые уши».

Рассказ написан в конце февраля 1912 года. Бунин сообщал П. А. Нилусу 20 февраля 1912 года: «Я написал еще рассказ — развратный». В заметках для автобиографии отметил: «Игнат — конец февраля 1912 г. Капри». В. Н. Муромцева-Бунина писала Юлию Бунину 1/14 февраля 1912 года о работе Ивана Алексеевича над «Игнатом»: «Он увлечен своим рассказом и пишет его в запале. Рассказ „с щекоткой!“» («Материалы», с. 180).

О том, как был «выдуман» «Игнат», Бунин писал М. А. Алданову 23 августа 1947 года: «...Был... у нас на деревне подросток пастух, про которого говорили», что он порочных склонностей, «вот почти и вся правда, от которой пошла выдумка „Игната“».

Посылая рассказ Ф. И. Благову, Бунин писал 18 июня 1912 года: «Многоуважаемый Федор Иванович, посылаю вам рассказ, о печатанье которого мы с вами уговорились в мае перед моим отъездом. Называется он действительно „Игнат“ и настолько сильно сокращен, что думаю, вы сможете напечатать его в 2–3 фельетонах. Делите его как хотите —

это, в конце концов, неважно. Будьте добры известить меня о получении его, а также и о том, когда (приблизительно) начнете его печатать» (Бунин И. А. Собр. соч., т. II. М., 1956, с. 407). Публикация рассказа откладывалась еще почти на месяц из-за того, что Благов находил в нем «некоторую рискованность положений и описаний» (там же) для газеты, имеющей широкую аудиторию (письмо к Бунину 29 июня 1912 г.), и требовал переделок.

В автографах (три рукописи, ЦГАЛИ) рассказ имел заглавия «Грушка», «Любовь». Бунин сделал многие сокращения рукописно-го текста в ранних изданиях и потом — по тексту последнего прижизненного Собрания сочинений 1934 года, а также готовя рассказ для сборника «Петлистые уши». Он вычеркнул в авторском повествовании о персонажах многие фразы и эпизоды, которые должны были, по первоначальному замыслу, яснее высветлить личность Грушки (Любки) и Игната. Вот некоторые вычеркнутые строки, в которых говорится о Любке: «Чувствовалось, что ей ничего не стоит признаться в каком угодно стыдном деле», «Она и все позволила бы, если

бы нашла это выгодным, возможным, и была бы с любовником проста, деловита, придавая таинственность своим отношениям с ним лишь из хитрости, из желания одурманить...» Вычеркнут эпизод, в котором Любка выглядит крайне бесстыжей в своей связи с барчуком. Лаконичнее после сокращения стал рассказ о раздумьях Игната, как склонить Любку к взаимности: «У, будь деньги, была бы она его: смертным боем бил бы он ее, увел бы в город, нанялся к купцу или лавку открыл, и за все за это полюбила бы она его! Но мало было дворов в Извалах беднее Игнатовых, жалованья Игнат получал четыре рубля... Бродили в голове нелепые мысли — убить барыню, убить монополющика... Казалось порою, что даже церковь мог бы он обокрасть, лишь бы достигнуть своего... Но мысли эти были случайны, оне не касались сердца. Он только все молчаливее становился, все чаще напивался, тратя последнюю копейку, и ходил оборванный, с голыми коленками, в разбитых, сопревших лаптях: сапоги он выменял, но хранил их, на какой-то случай, как зеницу ока». А вот как выглядит в рукописи эпизод, когда

перед Любкой неожиданно вырос Игнат с топором:

«— Мой грех, Игнат, — сказала она. — В последний раз прости. До веку буду любить тебя. Скорей добей его. Богаты будем. Тебе ничего не будет. Скажем — захватил меня, из ревности убил... Скорее».

Бунин говорил, что «его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей „утробной сущности“».

Любка — личность примитивная. И Игнат под стать ей. Атмосфера, изображенная в рассказе, оттеняет его личность: «женственно красивая Стрелка», собачья свадьба и т. д. — фон, на котором вырисовывается Игнат, раскрываются его любовные страсти. В Любке есть что-то влекущее, непреодолимое, чему Игнат не в силах противиться. Уже в рассказе «Игнат» зарождаются замыслы Бунина, которые он развил в книге «Темные аллеи» «Таинство любви» Мити («Митина любовь») являло собой, говоря словами поэтессы М. В. Карамзиной, «чудо благодатное». Но им владел, как говорил Бунин, не только идеал Мадонны, но и идеал содомский. Митя, с его потребностью

прекрасного, в чем-то не совсем ушел в своих сокровенных побуждениях от Игната и после случайной связи с женщиной застрелился: жизненный тупик для него оказался неизбежным, как и для героя рассказа «Игнат».

Глухарь — большой бубенчик, в отличие от колокольчика, открытого снизу.

Поярковые валенки — сделанные из шерсти, «руна с ярки, с овцы по первой осени, первой стрижки» (Вл. Даль).

Захар Воробьев*

«Сборник товарищества „Знание“ за 1912 год», кн. 38, СПб., 1912.

Дата написания в заметках для биографии указана: «Середина февраля 1912 г. Капри».

Об этом рассказе Бунин писал Н. Д. Телешову из Одессы 10 марта 1912 года: «Вот в следующем сборнике „Знания“ (верно, он уже вышел) будет мой Захар — он меня защитит. Почитай. Хвалят» (ЛН, кн. 1, с. 610). Рассказ имел большой успех. 22 марта 1912 года Бунин писал Н. С. Клестову из Одессы: «Тут „Ночной разговор“ и „Захар Воробьев“ сдела-

ли некий шум» (Бунин И. А. Собр. соч., т. II. М., 1956, с. 407).

Шум был и в прессе. В. Н. Муромцева-Бунина писала Ивану Алексеевичу 11 апреля 1912 года: «Сейчас я получила вырезки из газет. Очень ругает тебя „Новое время“. Кончается так: „От писаний наших венчаных лаврами изящных словесников становится не по себе“. Это по поводу „Захара Воробьева“». Реакционная газета увидела в этом рассказе Бунина пасквиль на Россию. (См.: «Новое время», 1912, № 12928, 9 марта.)

О чтении рассказа на Капри сообщал племянник Бунина, переводчик Джека Лондона, Голсуорси, Тагора — Н. А. Пушешников в письме к Ю. А. Бунину в 1912 году: «По прочтении его Горький сказал: „Об этом ни слова никому не говорите. Это пойдет ко мне“. Чтение было вчера, когда к нам неожиданно вечером пришли гости: Г(орький), В. С. М(иролюбов), М. М. К(оцюбинский) и М. Ф. (Андрева). В. Н. (Бунина) и М. Ф. ушли в номер к Чер., а мы остались одни. Сначала разговор не вязался — молчали, мычали — и (Бунин) предложил гостям прослушать его новый

небольшой, на полчаса, рассказ. После двух первых страниц Горький сказал: „Это что-то хорошо! Постойте, дайте дух перевести“. Горький был захвачен — „это великолепно! Какие люди у нас бывают!“ Мих. М. (Коцюбинский) сказал, что рассказ прекрасный, „он словно пропитан ржаным запахом“. В. С. тоже хвалил, но особенно много и долго, несколько раз возвращаясь к теме, хвалил Горький. Даже дорогой, пока мы провожали его до дома, он продолжал о рассказе. Он шел отдельно с Иваном Алексеевичем и был как-то особенно нежен, ласков и интимно мягок с ним. Он очень любит, когда говорят о больших людях, героях» («На родной земле», Орел, 1958, с. 307).

Захар Воробьев из Осиновых Дворов. — Название деревни не вымышленное. Здесь бывал Бунин, приезжая в Глото-во, он сделал записи в дневнике о встречах с крестьянами этой деревни.

...пыль на дороге как пыс. — Как пысняк, поросль.

...осты вешать. — Ость — щетинистый усик на зернах ячменя, ржи, пшеницы; в дан-

ном случае — в мякине, в отходах после обмо-
лота колосьев и отвеиванья зерна; речь идет
о корме для скота.

...церковный титор... — Правильно: кти-
тор — церковный староста.

Шат — нечистый дух, черт, шайтан.

Ермил*

Журн. «Современник», СПб., 1913, № 1, ян-
варь, под заглавием «Преступление». Загла-
вие «Ермил» дано рассказу в сб. «*Последнее
свидание*». Печатается по кн. «*Петлистые
уши*».

Бунин записал в дневнике 9 мая 1912 года:
«Юлий, Митя и я ездили в Симонов мона-
стырь. Потом в пятом часу были у Тестова (ре-
сторатора. — А. Б.). Говорили о Тимковском (о
писателе Н. И. Тимковском. — А. Б.), о его веч-
ной молчаливой неприязни к жизни. Об этом
стоит подумать для рассказа».

В рассказе «Ермил» неприязнь к жизни
анализируется Буниным как один из суще-
ственных элементов психологии преступно-
сти.

Он внушил себе, что все ему лиходеи... — Озлобленность, вечное недовольство всем претили Бунину, в ком бы это ни проявлялось — в интеллигентах или в темных деревенских людях. В рассказе «Пыль», увидев мужиков с «замученными» скукой лицами, рассказчик спрашивает: «Откуда эта мука скуки, недовольство всем? На всем земном шаре нигде нет этого».

Удавили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечек колдовских. — По-видимому, убийство с ритуальной целью факт не вымышленный. В журнальной редакции «Деревни» упоминается аналогичное преступление: «Мужики из Колодезей удавили в Курасовском лесу караульщика — с тем, чтобы разделить для каких-то колдовских целей веревку, снятую с мертвого».

КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬЯХ*

Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 3, март. Заглавие в черновом автографе — «Лукьян Степанов» (ЦГАЛИ), и дата: «Вечер 30, утро 31 декабря 1912 г. Капри».

Сева открыл пианино... что-то начал. — В Собр. соч., 1935, зачеркнуто: «Лунную сонату, из которой знал только первую страницу».

«Осень, осыпается весь мой бедный сад!» — Романс на слова А. К. Толстого; известна музыка Кюи, Бюцова и О. Клема.

С паголенком — с голенищем чулка.

...стадо овец... на ходу подкармливаясь, с шумом дыхания. — Деталь, которая повторяется в прозе Бунина. Есть запись в дневнике 16 июня 1912 г.: «Шла отара, — шум от дыхания щиплющих траву овец» («Подъем», 1979, № 1, с. 118).

Последнее свидание*

Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 3, март, под заглавием «Вера». Новое заглавие дано в кн. *«Последнее свидание»*. Печатается по сб. *«Митина любовь»*.

При переизданиях Бунин правил стиль и сделал сокращения. Исключил, в частности, некоторые фразы Стрешнева, говорившего о дворянстве, которые были в *Полн. собр. соч.*, например: «Любовь огаревских дней, когда „шиповник алый цвел, стояла темных лип ал-

лея...“», — строки из стихотворения Н. Огарева, которые десятилетия спустя, слегка измененные, приводятся в рассказе «Темные аллеи». И далее: «— Зачем ты ушла — и за кем! — из своего рода, из своего племени? Мы должны умереть в нем. Будь мы трижды прокляты, но это так! Сколько сумасшедших от любви в наших, дворянских, летописях! Но это лучше, лучше, — мы для теперешних распутных романов не годимся».

Жертва*

Журн. «Современный мир», СПб., 1913, № 3, март, под заглавием «Илья Пророк». Новое заглавие дано в кн. «Последнее свидание». В рукописи (машинопись с правкой автора) дата: «17/30 янв. 1913 г. Капри» (Музей Тургенева). Печатается по сб. «Весной, в Иудее».

В. Н. Муромцева-Бунина пишет в дневнике 9 июня 1923 года о возникновении замысла рассказа: «Ян (...) говорил о своем творчестве, как созидался у него „Илья Пророк“. Ехал в Елец и увидел — на большой дороге изба строится и стружки блестят на лунном свете».

В рассказе отразились другие реальные

впечатления Бунина. В дневнике он записал 17 июня 1912 года: «Вечером были на выезде из Глотова, в крохотной избушке, где молнией убило малого лет пятнадцати и девочке-ребенку голову опалило» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1. с. 118).

Сюжет рассказа отчасти основан на народной сказке «Илья Пророк и Миколай Угодник», записанной Д. Н. Садовниковым со слов крестьянина Ставропольского уезда Самарской губернии Абрама Новосельцева (Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым. — В кн.: «Записки императорского русского географического общества по отделению этнографии», т. 12. СПб., 1884, с. 270–272. См. также «Русская литература», 1981, № 3, с. 14–31).

Петровки — пост перед Петровым днем 29 июня ст. ст.

Бог-Саваоф — одно из ветхозаветных именовании бога, бог сил.

Забота*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 55, 7 марта.

Старновка — идущие на крышу снопы.

Хрептуг — веретье, вроде простыни; подвязывалось к приподнятым оглоблям для корма коней овсом.

Будни*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 34, 10 февраля. В газете «Возрождение», Париж, 1926, № 544, 28 ноября, — под заглавием «На погосте. Рассказ». Дата в рукописи (машинопись с правкой автора): «25–26 января — 7–8 февраля 1913 г. Капри» (ЦГАЛИ).

В тексте 4-го тома *Собр. соч.* (1935) Бунин вычеркнул (после слов: «...Несешь и с Дона и с моря») в апреле 1953 года следующий диалог семинариста и мужика:

«Ну, а скажи, пожалуйста: как относятся к тебе твои односельчане? За кого они считают тебя?»

— Никак они ко мне не могут относиться».

Эти фразы Бунин перенес в статью «Думая о Пушкине», напечатанную в 1926 году:

«Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: „Каково ваше отношение к Пушки-

ну?“

В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне. Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему» (Бунин, т. 9, с. 454).

Некоторых лиц, изображенных в рассказе, Бунин наблюдал в деревне Глотова. Он записал в дневнике 23 мая 1912 года: «Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам. Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: „Ах, как бы я хотел прочитать „Лунный камень“ Бальмонта!“» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 118).

...лошадь с палевой гривой. — Грива соломенного цвета, бело-желтоватого.

...каких бы я корней наворочал! — Фраза из обиходной речи самого Бунина. В 1911 г., будучи в Нюрнберге, он восхищался готическими соборами с их «порталами, цветными

стеклами и органом» и говорил, что жизнь устроена так, что многие изумительные со-здания искусства никогда не услышишь и не узнаешь, «а каких можно было бы корней на-ворочать!» («*Материалы*», с. 176).

Личарда*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 61, 14 мар-та.

Личарда — персонаж популярной русской народной сказки о Бове Королевиче; верный слуга Бовы.

Яруга — овраг, ручей в овраге.

Последний день*

Газ. «Речь», СПб., 1913, № 47, 17 февраля. Да-та авторизованного машинописного текста — «1/15 февраля 1913 г.» (ЦГАЛИ).

Бунин знал людей, подобных персонажам рассказа Петру, Сашке и Андрею, безжалост-ных к животным, обрисованных в параллель-тем, кто «людей, какие позамечательнее», ве-шают. Андрей говорит: «— А я тоже недавно собачонку удавил. Пристряла чья-то, живет неделю, другую, брехать не брешет... Я поду-

мал, подумал, взял да и удавил».

В дневнике Бунин, будучи в Глотове, записал 7 июня 1912 года: «К Андрею Сенину прибилудилась собака. „Пожила, пожила, вижу — без надобности, брехать не брешет, ну я ее и удавил“».

Всходы новые*

Газ. «Речь», СПб., 1913, № 102, 14 апреля, под заглавием «Весна». Новое заглавие дано рассказу в сб. *«Последнее свидание»*. Авторизованный машинописный текст датирован: «2 февраля 1913 г. Капри» (ЦГАЛИ).

Запись Бунина в дневнике 20 мая 1911 года — в тон рассказу, в котором изображены люди больные, отживающие, и в то же время Бунин рисует — весну, «вечно юную землю», колокольный звон и пение о том, что родится жизнь «юная и чистая»: «Молились о дожде мужики (...) было отдание Пасхи, Вознесение — по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвоном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным».

Караковый жеребец — «темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами, желтизною на морде и в пахах» (Вл. Даль).

Осека — огороженное место.

Копье господне*

Газ. «Русская молва», СПб., 1913, № 88, 10 марта, под заглавием «Рана от копья». В рукописи (машинопись. с поправками Бунина — *Музей Тургенева*) рассказ озаглавлен «В Красном море».

Хамсин — сухой и жаркий ветер в Африке, несущий пыль и песок. Бунин писал об этом по живым впечатлениям своих путешествий по Алжиру и в глубь Сахары.

Иоанн Рыдалец*

Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 4, апрель. Печатается по кн. «*Петлистые уши*». Черновой автограф датирован: «3 марта/18 февраля 1913 г. Капри» (*Музей Тургенева*). Фотокопия листа первого и последнего — в ЛН, кн. 2, с. 473.

В. Н. Муромцева-Бунина сообщала с Анака-

при Ю. А. Бунину 28 февраля/13 марта 1913 года, что Иван Алексеевич написал «рассказ про святого „Иоанна Рыдальца“. Горький с Золотаревым обалдели от этого рассказа» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, с. 251).

Критик А. А. Измайлов писал в газете «Биржевые ведомости» (1913, № 13582, 6 июня) о «Иоанне Рыдальце», что здесь не вымысел — «это жизнь, это правда. Так не сочинить».

Бунин на вырезке из газеты сделал помету к этим словам: «А именно весь „Иоанн“ сочинен мною от слова до слова» (*Музей Тургенева*).

В письме (4 октября, без указания года) А. А. Измайлову Бунин говорит: «Не раз... слышал я от критиков, что я что-то „записываю“, собираю, рассказываю свои семейные предания и т. д... Когда будете писать обо мне, не говорите, пожалуйста, о моих „записях“, можно ошибиться. „Иоанн“ весь выдуман. А вы целый фельетон построили на контрасте выдумки и были» (*ИРЛН*, ф. 115, оп. 3, № 47).

По словам критика В. П. Кранихфельда, книга «Иоанн Рыдалец» «так богата содержанием, так полна интереса, что просто теря-

ешься, как и подойти к ней». Удивителен «мощный язык Бунина, достигшего в последних его произведениях неподражаемой красоты и чистоты... его чудодейственная способность поднимать в мир поэзии самые, так сказать, будничные явления жизни... Среди наших современных художников, оторвавшихся от жизни и населивших мир своей фантазии какими-то отвлеченными категориями и бесплотными призраками, Бунин представляет одно из редких и счастливейших исключений. Он цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве, сближающем его чеканные произведения с лучшим наследием наших классиков» (Современный мир, 1913, № 11, с. 278).

Юродивый, Иоанн Рыдалец. — Бунин писал в дневнике 8 июня 1911 г.: «...Умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались (...) а похоронили так, что весь город дивился: великолепно».

ный гроб, певчие... Тоже „сюжет“». Этим «сюжетом», по-видимому, и стал рассказ «Иоанн Рыдалец».

Бунина интересовали люди, обрекшие себя на подвижничество, и те, что по своей доброй воле надевали на себя личину безумия — юродивые. Он отметил в дневнике в июле 1915 г., что «читал о персидских мучениках» (1.VII), «житие Серафима Саровского» (3.VII), «житие юродивых» (4.VII).

Были на Руси юродивые «Христа ради», как юродивый Федор, о котором повествует в своем «Житии» протопоп Аввакум, или у Пушкина Николка («Борис Годунов»), у которого под личиной глупости скрывалась святость и мудрость, Василий Блаженный, — в их странных поступках не было «греховной гордыни». В отличие от всех них Иван Рябинин, Корейша (в «Чаше жизни») и многие другие в рассказе Бунина «Слава» — лжеюродивые и лжепророки. В них подмечена характерная черта русской жизни того времени: «...Мы, русичи, исконные поклонники плутов и вырождков и... эта наша истинно замечательная особенность, наша „бабская охота ко про-

рокам лживым“ есть предмет, достойный величайшего внимания» (Бунин, т. 5, с. 168). О «своекорыстных пророках» и лже-Мессиях Бунин писал в стихах («На исходе»).

На Афон собирается. — Новый Афон на Черноморском побережье Кавказа, где был монастырь.

Худая трава*

Журн. «Современник», СПб., 1913, № 4, апрель. В сб. *«Последнее свидание»* и в *Собр. соч.* рассказ печатался под заглавием «Оброк». К прежнему названию Бунин возвратился, готовя рассказ для кн. *«Петлистые уши»*, по тексту которой он печатается.

В. Н. Муромцева-Бунина писала Ю. А. Бунину 28 февраля/13 марта 1913 года: «Ян еще рассказ посылает в „Современник“, по-моему, очень хороший, о больном мужике. Как он умирает. Описана там и Анюта-дурочка» (сб. *«В большой семье»*, Смоленск, 1960, с. 251).

В рассказе нашел отражение также эпизод из жизни отца Бунина. Он записал в дневнике 28 мая 1912 года: «Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После

исповеди встал, сел, спросил: „Ну, как по-вашему, батюшка, — вы это знаете, — есть во мне *она*?“ Робко и виновато. А священник резко, грубо: „Да, да, пора, пора собираться“» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 118).

В письме к Н. С. Клестову 19 мая 1913 года Бунин назвал рассказ «Худая трава» — «Мужицкий Иван Ильич», по сходству со «Смертью Ивана Ильича» Толстого, в котором повествуется о раздумьях героя рассказа перед смертью. Общее того и другого рассказов состоит только в тематическом сходстве. Иван Ильич, в отличие от Аверкия, в болезни и в страхе смерти, мучительно сознавал, «что он прожил свою жизнь не так, как должно было», что она была «ужасная», — только об этом и думал теперь; у него — полное одиночество и злоба на жену, на дочь; в настоящем — ничего, что могло бы его утешить, а воспоминания — «ничтожны и гадки».

Аверкий не цепляется за жизнь, как Иван Ильич, он, зная безнадежность своего положения, равнодушен к житейским заботам и находит великую отраду в воспоминаниях о счастье любви к той, которая и теперь с ним.

Он все забыл, «только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой (...) ощутительно помнил». И вокруг себя замечает он больше всего то, чем наполняют его душу воспоминания, — с вниманием слушает, как под «мягко и приятно рычавшую гармонию» зять и солдатка «звали друг друга взглядами, словами, бесконечной „страдательной“». В его жизни было это прекрасное, неумирающее, — только это и остается, только то, что возвышает душу, а все ничтожное, изменное исчезает, предается забвению.

Бунин говорил, что «ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний». В Аверкий, несомненно, выразилось то, чем в немалой мере жил сам Бунин, когда жизнь обращала его мечтой к прошлому. В. Н. Муромцева-Бунина пишет в дневнике 23 декабря/5 января 1918 года: «У Яна был жар один день, и в этот день он был очень трогательный. Говорил все из „Худой травы“, уверял, что он похож на Аверкия».

Аверкий, как определил Бунин, «персонаж небытийный», живет отрешенно от всего, чем живут другие, «живет в пустоте».

Все цветы от слез пожглись... один табак остался. — Эту легенду Бунин слышал от странника, посетившего его в Глотове. Бунин записал с его слов 19 мая 1912 г.: «...шла Богородица от Креста и плакала, и все цветы от слез ее сохли, один табак остался; вот бог и сказал — жгите его» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 117).

Пыль*

Журн. «Заря», 1914, № 5, 2 февраля.

Некоторые впечатления, по-видимому, дал Бунину для рассказа Орел, где он жил в молодости, и, возможно, Елец. В дневнике он писал: «19 мая (1912) Глотово (Васильевское). Приехали позавчера. Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши (...) Орел порастил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скудная жара».

Лирник Родион*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 87, 14 апре-

ля, под названием «Псальма», вместе с рассказом «Сказка», под общим заглавием «Псальма и сказка». Заглавие «Лирник Родион» дано рассказу в кн. *«Последнее свидание»*. Дата в *Собрании сочинений*: «Капри. 28.2.1913».

Черновой автограф озаглавлен «Псальма про сироту» и датирован: «28 февраля/13 марта 1913 г. Анакапри» (*Музей Тургенева*). Рукопись начинается: «Я эту псальму, этот южно-русский сказ слышал в херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер — давно, в молодости...» Печатается по сб. *«Весной, в Иудее»*.

Бунин записал «Псальму про сироту» во время путешествия по Днепру в 1896 году. Бунинский вариант этой широко известной «псальмы» не вошел ни в один из сборников украинского фольклора; опубликован в *ЛН*, кн. 1, с. 400–401; автограф — в *Музее Тургенева*. Лирник Родион — лицо реальное: в конце записи «псальмы» Бунин указал: «Киевская губ., Васильковский у., Рокитянского стану, с. Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре, 1896 г.».

По свидетельству Н. А. Пушешникова, Бу-

нин читал рассказ Горькому в марте 1913 года и. ст. и «довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить:

— Вот, черт его дери! — и как бы стыдясь: — Вот и Тургенева не могу читать — реву» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, с. 251).

В. Н. Муромцева-Бунина приводит в дневнике (30 марта 1949 г.) слова Бунина: «Вот рассказ замечательный, — сказал неожиданно Ян, — это „Лирник Родион“».

Сермяжная свитка. — Сермяга — от мордовского «сермяг»; одежда из грубого некрашеного сукна.

Сказка*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 87, 14 апреля. Рукопись (ЦГАЛИ) датирована: «12–15 марта 1913 г. Анакапри».

В рассказе Никифор пересказывает по-своему народную сказку «Барин и мужик», которая была опубликована незадолго до написания «Сказки» Бунина (см.: ЛН, кн. 2, с. 140 и

152, сноска 13); она бытовала и в Орловской губернии.

Гарусный платок — из гаруса, мягкой крученой шерстяной пряжи.

Кутузка — арапник, длинная охотничья плеть.

Хороших кровей*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 174, 28 июля.

...семь штук ужасных собак... на клоки разорвали нищенку... — Здесь отобразились впечатления тех глухих мест, которые хорошо знал Бунин, живя в Глотове. В дневнике он записал 16 июня 1912 г.: «В лесу усадьба, полумужичская. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 118).

Объестся корова веху. — Веха — пустырник.

При дороге*

Сб. «Слово», М., 1913, № 1. Заглавие в черновой рукописи — «Большая дорога». В белой рукописи был эпиграф — видоизмененные строки из собрания П. Киреевского (см.: ЛН, кн. 1, с. 411, № 139):

*Жарко камению самоцветному
На крутой горе против солнушка.
Жарко в тереме свеча горит —
Жарче сердце воску ярого.*

В рукописи рассказ заканчивается словами о том, что Парашку мужики до обморока били «сапогами и повезли в Елец, в больницу».

Печатается по сб. «Петлистые уши».

Много позднее у Бунина были планы сделать из рассказа драму. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 25 июля / 7 августа 1921 года: З. Н. Гиппиус «занята тем, как из рассказа „При дороге“ сделать пьесу. Все уговаривает Яна (...) Вечером, после обеда, они около часу разговаривали на эту тему (...) З. Н. советует вывести на сцену и любовницу отца Параша. Ян стал выдумывать, какая она должна быть, какой у нее муж. „Она может быть лавочницей, мало говорящей, но власт-

ной, с густыми волосами и прекрасной шеей. Муж у нее маленький, чахленький старикашка. Сидит на полу вечером, разуваается, стучит сапогом и говорит: „Да, нонче все можно“ (намекая на связь жены)“. „Да, — повторяет она спокойно, — все можно. Только бы лучше об делу подумай!..“ Она уже лежит в постели. З. Н. не понимает, что в деревне есть свой бонтон, что женщине заехать к любовнику почти невозможно».

Некоторые лица и обстоятельства, изображенные в рассказе, Бунин уяснил из разговоров с Н. А. Пушешниковым; в этом разговоре и зародилась у него мысль написать рассказ. Он отметил в дневнике 28 мая 1912 года: «Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)...»

В рассказе «При дороге» Бунин сумел извлечь правду жизни из самых будничных ее явлений, обнажить таившийся в ней ужас серых и однообразных будней. И. С. Шмелев пи-

сал Бунину 21 сентября 1913 года: «...прочел я рассказ ваш „При дороге“, не дотерпел. Чудесно, любовно, чисто, целомудренно...» Осквернили тело девушки, но она «чиста, как чист остается бегущий ключ, в который проходом сплюнул пьяный похабный солдат. И немая безвольность, и любовный восторг оскверняемой, не сознающей себя чистоты, небо, которое не заплюешь, и стихийное чувство сопротивления, и ужас полусознания... Чудесно. И мучительно, и славно. Радостно, что протест, и протест бессознательный» (*Музей Тургенева*).

В. Л. Львов-Рогачевский в отзыве на рассказ особо подчеркивал, что художник заставляет читателя любить жизнь, хотя повествуется в нем о событиях столь грустных. Это, писал он, «трепещущий поэзией очерк... Он написан со строгой сдержанностью, недосказанностью, его не читаешь, а жадно пьешь строка за строкой и, кончив, долго не можешь успокоиться, долго сидишь, как очарованный» (журнал «За семь дней», 1913, № 39).

Ф. Степун считал, что «При дороге» — вещь более совершенная и более значительная,

чем очень близкая по теме повесть «Митина любовь». Он писал: «В „При дороге“ Буниным рассказано, как в душе и крови деревенской девушки Парашки сначала дремотно-растительно, нежно („ночным перепелиным трюканьем“), потом острее и томительнее („тоскою горизонтов, дорог, видом и песнею цыганского табора“) постепенно нарастает любовь; как эта безликая любовь постепенно распаляет душу и, слепая, мечется во все стороны, охлестывая задумчивое и страстно-мечтательное сердце Парашки глухими, грешными порывами то к собственному отцу, то к городскому мещанину, то к глупому и страшному работнику Володе; как, наконец, эта любовь, — такая прекрасная в природе и в предчувствии и такая оскорбительная и смрадно-душная между людьми, — доводит ни в чем не повинную Парашку до преступления и безумия».

Чубарые... волосы — пестрые; примесь рыжих к серым или к черным и белым.

«Уснул, уснул мой любезный, у девушке на руке, на кисейном рукаве...» — Строки народной песни, записанные Буниным (см.: ЯН, кн.

1, с. 410, и примеч., с. 414).

«Этих нет уж ден...» — искаженные строки из «Русской песни» («Не скажу никому...»)

А. В. Кольцова:

*И тех нет уж и дней,
Что летели стрелой,
Что любовью нас жгли,
Что палили огнем!*

Чаша жизни*

Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 12, декабрь. Отрывок из рассказа под заглавием «О. Кир» напечатан в газете «Русское слово» (1913, № 120, 26 мая). В автографе этот фрагмент первоначально был озаглавлен «Портрет» (*Музей Тургенева*). Не сразу нашел Бунин название и для всего рассказа: сперва озаглавил «Дом» (автограф, с датой «31 августа 1913», ЦГАЛИ), потом — «В Стрелецке» (машинопись, датирована: «2 сентября 1913 г.», ЦГАЛИ). Наконец, и это заглавие в машинописном тексте переменял на «Чаша жизни», заимствовав его у Лермонтова, из стихотворения «Чаша жизни»:

Мы пьем из чаши бытия

*С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами...*

В автографе Горизонтов именовался Высоцким. Печатается по кн. *«Митина любовь»*. Бунин начал писать рассказ в марте 1913 года. В эти дни В. Н. Муромцева-Бунина сообщает в дневнике: «Ян пишет „Чашу жизни“. Нервен, раздражителен, придирчив».

Бунин рассказывает, из чего создалась у него «Чаша жизни»: «То, что у каждой девушки бывает счастливое лето, — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее имение Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в „Митину любовь“, и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Туббе (винокура у помещика-соседа Бахтеярова в Глотове. — А. Б.), и там же был аристон, и опять эта

лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селихово — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла „Чаша жизни“. А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Корейши...

Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда палом народ, поклонницы заваливали его апельсинами... Когда он умер, вез./\$1 его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви... И дурак я, что не написал жития этого „святого“. У меня и материалы все были... Там стихи его были» («Материалы», с. 209–210).

Прототипом Горизонтова, с его исключи-

тельной заботой о зоологическом существовании, послужил, по устному свидетельству писателя С. М. Малашкина, преподаватель духовного училища в городе Ефремове Орловской губернии. Подобно герою рассказа он постоянно ходил с парусиновым зонтом и в калошах, купался летом и зимой в Красной Мечи и продал свой скелет для анатомических целей.

Бунинскому герою близок Ипполит в романе Достоевского «Идиот», эта «ничтожная, самодовольная посредственность»; он говорил: «Завещаю мой скелет в Медицинскую академию для научной пользы» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 8. Л., 1973, с. 392). В «Бесах» Достоевского Лебядкин разъяснял свои намерения: «Хочу завещать мой скелет в академию...» (там же, т. 10, с. 209). Такое же завещательное распоряжение сделал и аптекарь Оме в романе Флобера «Мадам Бовари» (М., 1958, с. 334–335).

О персонажах «Чаша жизни» газета «Волжское слово» (Самара, 1913, № 271, 11 декабря) писала: «...люди, судьба которых predeterminedena от рождения, которые не будут

бороться с судьбой, ничего не ищут, никуда не стремятся, ничего не преодолевают. Казалось бы, что может быть интересного для читателя в мире их переживаний? Но могучая сила таланта заставляет читателя проникнуться интересами их незаметной жизни, пережить вместе с ними и трагедии, незаметные трагедии этой насквозь трагической, хоть и незаметной жизни, скорбеть хоть на минуту об их смерти...»

Рецензент журнала «Современный мир» (1915, № 2) говорит: «„Чаша жизни“ — это чаша испытаний жизни. В этой чаше много сладкого яда любви (...) Мудрость видит в этой чаше малую чашу жизни, большой, страшной русской обывательской жизни»; «...тоскуя над любовью, автор точно мудро говорит: „все равно, все равно... счастья не было бы у девушки и с тем первым (...) И от этого чаша жизни становится еще страшней“».

Критик Г. Кипен писал о произведениях, вошедших в книгу Бунина «Чаша жизни. Рассказы 1913–1914 гг.» (М., 1915), что в его эпосе «нет так называемых чисто объективных образов; все они связаны с личным настроением».

ем автора, проникнуты лиризмом. В свой эпос Бунин все более вносит (...) элемент субъективности (...) Эпик и лирик все более сливаются у Бунина в одно целое (...) Лиризм Бунина, слитый с эпически мощной формой, уже есть источник драматизма» («Северные записки», 1915, июль — август).

Отзывы иностранной критики — свидетельство прочно завоеванного Буниным мирового признания. Анри де Ренье писал в газете «Фигаро» (1924, 8 января): чувство природы у Ивана Бунина «сквозит в его рассказах, которые он предлагает нашему вниманию в сборнике „Чаша жизни“; то же заглавие носит первая повесть сборника, одна из самых захватывающих своей беспощадной суровостью. В этот сборник входит „Пастух“ („Игнат“. — А. Б.) и удивительный рассказ, который называется „В стране мертвых“ („Тень Птицы“. — А. Б.), где искусство г-на Бунина, с его глубиной, с его изобразительной силой, искусство таинственное, тонкое и могучее, предстает во всей своей зрелости. У г-на Бунина воображение пессимистическое; он наблюдает живые существа со всепонимающей

иронией, с такой именно иронией он показывает в „Чаше жизни“ молчаливое соперничество священника Иорданского и купца Селихова — соперничество, в котором сторают их жизни. Мрачная, цепкая, безмолвная ненависть — это все, что у них осталось от жизни, жалкий гнилой плод, который она им оставила! Конечно, люди не прекрасны и не добры, но разве вокруг них нет красоты? Есть деревья и цветы, небо и свет, текущие воды, плывущие облака; есть времена года: весна — время обновления, осень — время увядания, лето, с его полнотой бытия, зима с бесконечными снегами, с судорожными объятиями морозов, с короткими днями и долгими ночами, усыпанными ледяными звездами, с темными алмазными ночами, с холодом, который представляет собой и живое существо и в то же время аромат; обо всем этом г-н Бунин дает точное представление, дает нам почувствовать это физически. Г-н Бунин глубоко понимает язык вещей (...) У г-на Бунина понимание природы сочетается с проникнутой горьким чувством пронизательностью, какою отмечено его знание человека» (перевод

Н. М. Любимова; фр. текст — ЛН, кн. 2, с. 378).

Французский писатель, поэт и литературный критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году: «Высокопочтимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу „Le calice de la vie“ („Чаша жизни“. — А. Б.) о глубинах жизни с ее телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа.

Вы говорите в предисловии к своему первому сборнику, что некоторые упрекают вас в пессимизме; нельзя себе представить ничего более ошибочного, чем этот упрек, ибо вы всюду даете действенное ощущение того, как глубоко охватываете вы жизнь — всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее в те моменты, когда человек уже не находится или еще не находится под влиянием законов человеческой относительности, когда он действует и противодействует первобытно...

Как все сложно психологически! А вместе с тем, — в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмос-

сфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода внушение, внушение того тайного, что окружает действие, мы знаем и у Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности, неуравновешенности действующих лиц, из-за его нервной страстности, которая витает, как некая возбуждающая аура, вокруг некоторых случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее привычную нам ясную норму.

Скажу еще об одной характерной вашей черте, — о вашем даре построения, о гармонии построения, присущей каждому вашему рассказу. Ваш разнообразный и живописующий анализ не разбрасывает подробностей, а собирает их в центре действия — и с каким неувимым и восхитительным искусством! Этот дар построения, ритма и синтеза как будто не присущ русскому гению: он, кажется, — позвольте мне это сказать, — присущ гению французскому, и когда он с такой ясно-

стью выступает у вас, мне (эгоистически) хочется в ваших произведениях почтить французскую литературу. И, однако, вы ей ничем не обязаны. Это общий дар великих талантов.

Что до вашего широкого и тонкого чувства природы в ее нежности, в ее радостном и печальном великолепии, то я не говорю о нем: я выше пытался определить ваше страстное отношение к бытию, к жизни, и в этом анализе уже заключено то, что я думаю о вашем чутком общении со всем вещественным» («Материалы», с. 228–229).

Осыплю лицо могильной перстью — то есть горстью земли.

Я все молчу*

Газ. «Русское слово», М., 1913, № 231, 8 октября. Печатается по кн. «Петлистые уши».

Машинописный текст с правкой автора, представляющий собой окончание рассказа, датирован: «1913, 14 сентября, г. Одесса» (Музей Тургенева). Эта дата стоит под окончательным текстом рассказа. Но, по-видимому, в основном он был написан уже в июле: Бунин

читал его в это время на даче Ковалевского под Одессой Д. Н. Овсяннико-Куликовскому и художнику В. П. Куровскому, а несколько позднее — в Москве на «Среде» Телешова.

Известно реальное лицо, послужившее прототипом Шаши, — это крестьянин из тех мест, которые Бунин знал, живя в Глотове. Он был женат на падчерице винокура помещиков Бахтеяровых в селе Глотове, немца Отто Карловича Туббе — Дуне, в которую был влюблен гимназист Бунин. В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Зимой сыграли свадьбу младшей падчерицы Отто Карловича, той Дуни, которая некогда пленяла Ваню. Выдали ее за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа „Я все молчу“. Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: „Прах моей могилы все узнает“ и „я все молчу“... Свадьба была пышная, свадебный пир происходил в помещичьем доме Бахтеяровых, которые все зимы проводили в городе. На пиру „молодой“, сделав вид, что приревновал „молодую“, оборвал ей шлейф, нарочно

наступив на него, мучил он ее и в замужестве, иногда очень гадко, в конце концов она не выдержала и бросила его, а он понемногу дошел почти до нищеты.

Когда рассказ „Я все молчу“ был напечатан в газете „Русское слово“, кто-то показал его „Шаше“. Тот прочитал и с возмущением сказал: „Уж если писать, так должен был писать всю правду, а не выдумывать...“ (Видимо, он все же был доволен, что о нем напечатано в газете...)» («Жизнь Бунина», с. 46).

Бунин говорил, возражая своим оппонентам, не видевшим в персонажах его рассказов символического значения, утверждавшим, будто бы у него, в отличие от произведений писателей-модернистов, нет «безумия, невнятицы», что он «о безумии, о невнятице говорит внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печенку...»

Это и есть, как говорил Достоевский, «реализм (...) доходящий до фантастического».

Бунин, по его признанию, в ту пору «искал» новые формы творчества; «я нашел, — говорит он, — через некоторое время себя,

свою музыку (...) „Деревня“ — реализм. „Господин из Сан-Франциско“ — симфоничен».

...на престольный праздник, называемый Кириками, в селе бывает ярмарка. — Ярмарка изображена Буниным по впечатлениям от ежегодных ярмарок в д. Глотова, где он обычно проводил лето у двоюродной сестры. Некоторые подробности из дневниковых записей о Глотове перенесены им в рассказ «Я все молчу». 15 июля 1911 г. он записал: «Нынче Кирики (день Кирика и Иулиты— 15 июля ст. ст. — А. Б.), престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, поженски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолето-

вая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один кострец высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: „Подайте, папашечки!“ Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: „Ето считается по старинному заведению проказа“. Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле...

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда

торгаш обругал его» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 115).

В. Н. Муромцева-Бунина также вспоминала о Глотове: церковь «стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви — часовня, где образа писались с покойных Глотовых».

«В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подаваний. Такого количества уродов, калек мы не видели и на Востоке! Описывать их я не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича „Я все молчу“... Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого...» Одного из калек Бунин заставил «рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцевали на деревянных конях».

На ярмарке «уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьюще-

го смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке» («Материалы», с. 117–118).

Древнецерковный распев — знаменитый распев, он восходит к XII в.

...вопит о... Лазаре, об Алексее Божьем человеке... — Наиболее распространенный духовный стих, прототип которого — евангельская притча о богатом Лазаре.

...калеки... Вот одна из этих тележек... — Бунин сфотографирован с одним из таких калек, рядом с тележкой; см.: ЛН, кн. 2, с. 233.

«Три сестры жили...» — Этот стих и следующие Бунин записал в Глотове 19 мая 1912 г. со слов странника Ивана, который рассказал ему приведенную в «Худой траве» легенду о табаке. Текст духовного стиха дан в рассказе, по сравнению с записью в дневнике, в немного измененном виде.

Святые*

Журн. «Вестник Европы», СПб., 1914, № 4, апрель. Заглавие в машинописном тексте, да-

тированном «23 января / 6 февраля 1914 г. Капри», было: «Блудница Алина» (ЦГАЛИ). Печатается по кн. «*Митина любовь*».

Газета «Голос Москвы» писала: «Прекрасна крохотная, в девять страничек картина Ив. Бунина „Святые“ в „Вестнике Европы“. Образный язык, красивая фигура старика, — рассказ его о мученице Елене, о горькой судьбе которой проливал он слезы умиления, — все это очень хорошо и проникнуто той особой теплотой и ласковым юмором, который так удаётся Бунину».

Бунин записал в дневнике: из наиболее «любимого, ценного» для него — «„Святые“ больше всего». Это рассказ — во хвалу жизни и любви. Блудница Елена, претерпев жестокие гонения за свою любовь, которую в конце концов дано было ей познать, стала святой. «...Великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!»

Арсенич. — Бунин писал Б. К. Зайцеву 12 сентября 1943 г.: «...Весь этот Арсенич сплошь выдуман, — никакого такого, даже подобного я никогда не видал, — как выдуманно девять

десятих всего мною написанного».

Ниоба — в греческой мифологии — дочь Тантала. Она оскорбила, хвастаясь своими многочисленными детьми, богиню Лето, мать Аполлона и Артемиды, за что были убиты все ее дети, а Ниоба от горя окаменела.

Мальтротировать — от фр. *maltraiter* — грубо обращаться, издеваться.

Шелка шамаханские — из Шамахи (на Кавказе).

Весенний вечер*

Сб. «Слово», Книгоиздательство писателей в Москве, 1915, № 4. Печатается по кн. *«Петлистые уши»*. Рукопись (машинопись) датирована: «31 января / 12 февраля 1914 г. Капри». Наборная рукопись (машинопись с исправлениями Бунина) — в собрании рукописей Марии Федотовны Муромцевой; на первой странице Бунин написал: «Прошу как можно тщательнее воспроизвести оригинал. Есть умышленные ошибки, ударения на словах и т. д. — все это надо сохранить. Ив. Бунин». Сохранилась у М. Ф. Муромцевой и корректура рассказа — верстка, с надписью автора: «Исправить

и дать мне в 2-х экз. Для подписи. Ив. Бунин. 2 дек. 14». Корректурa «Весеннего вечера» (без даты) имеется также в Институте мировой литературы ЛН СССР.

Бунин читал рассказ, как сообщал И. Игнатов в газете «Русские ведомости» (1915, № 19, 24 января), в Обществе любителей российской словесности.

О Бунине писали, что он «принадлежит к числу тех редких писателей, каждое произведение которого представляет шаг вперед по сравнению с предшествующим» (*Музей Тургенева*).

В отзывах на «Весенний вечер» говорилось о психологической сложности изображенных персонажей. «Рисую преимущественно темные проявления души деревенского человека, Бунин, однако, умеет дать почувствовать в ней и великую тоску по иной, светлой и праведной жизни (...) Полон тоски и этот спившийся, одуревший от пьянства мужик» (Джонсон И. Новые книги. Слово, сборник четвертый. — Утро России, М., 1915, № 44, 14 февраля).

Е. Колтоновская писала: «Как отточенный

кинжал, ранят бунинские слова, тоже отточенные, холодноватые и прозрачные — колющие и жгущие, как ледяные кристаллы» (Вестник Европы, 1915, кн. 3).

Писательница Л. А. Авилова поражалась лаконичностью языка Бунина, жанровым своеобразием его произведений. «Вот у вас: „брат! отдай!“ — говорит она о рассказе „Весенний вечер“, — и одним словом „брат“ выдвигается целый характер. И как только он крикнул: брат! — так можно было предчувствовать, что он и убьет, и деньги бросит. Очень сложно, а ясно» (ЦГАЛИ).

Бунин, по словам Авиловой, разрушил многие литературные условности, которые до него никто не замечал. «Анекдота, — писала она, — вы никогда не пускали к себе на порог. Но вы изгнали и фабулу, и определенную мелодию со всеми ее нежностями, теноровыми нотками и веянием теплоты. Вместо мелодии стало то, чего шарманки играть не могут» (там же).

Куприн так определил творческие достижения Бунина того времени: «Бунин тонкий стилист, у него громадный багаж хороших,

здоровых, метких, настояще-русских слов; он владеет тайной изображать, как никто, малейшие настроения и оттенки природы, звуки, запахи, цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; богатство определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим выбором, подчиненным вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, жив и *насыщен*; художественные трудности кажутся достигнутыми непостижимо легко... И многое, многое другое» (Куприн А. Чтение мыслей. — Журнал журналов, 1916, № 20).

...притынная деревушка... — «Притынный, место притынное, куда охотно сходятся» (Вл. Даль).

Тень Птицы*

В *Полном собрании сочинений* 1915 года рассказы печатались под заглавием «Храм Солнца». В 1917 году изданы, вместе со стихами на темы Востока, под этим же названием, а в 1931 году в Париже — отдельной книгой, озаглавленной «Тень Птицы», в которую вошел также рассказ о древней столице Цейло-

на, Анарадхапуре, «Город Царя Царей». В первом томе *Собрания сочинений* (1936) Бунин восстановил прежнее название, «Храм Солнца», но, готовя том для нового издания в июле 1953 года, зачеркнул это заглавие и написал: «Тень Птицы».

Это — цикл рассказов о путешествии по странам Востока. Они своеобразны по жанру, сочетают в себе дневниковые записи — описания городов, древних развалин, памятников искусства, пирамид, гробниц — и легенды древних народов, экскурсии в историю их культуры, в историю расцвета и гибели царств. Не ускользает от внимания Бунина и то, что «нищета разрушает кварталы Скутари, Стамбула, Галаты, Фанара и превращает их в вертепы и трущобы».

Бунин писал: «„...Страсть к обозрению мира“, говоря словами Саади, всегда была и есть у меня в очень большой, даже редкой мере» («Подъем», Воронеж, 1977, № 1, с. 134).

Он не только изъездил Россию и Европу, но странствовал по Африке, в Палестину, на Цейлон. В Константинополе побывал тринадцать раз! В письме к издателю Боссару 21

июня 1921 года он говорит о своих путешествиях: «...меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические». Книгу о своих странствиях Бунин хотел назвать «Поля мертвых».

Поэтесса Г. Н. Кузнецова пишет о своей беседе с Буниным в ноябре 1932 года: «Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все Некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!» (*ЛН*, кн. 2, с. 291).

Это влечение ко всем Некрополям мира — от «жажды жить (...) не только своим настоящим, но и (...) тысячами чужих жизней, — говорил Бунин, — современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его» (*ЛН*, кн. 1, с. 386).

Оттого все его «самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей», — Стамбул, Египет, Палестина, все то, о чем он повествует в «Тени Птицы». Потом будет Цейлон — и «Братья». Он также скажет о себе:

«Жизнь моя — трепетное и радостное участие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною».

Стремление — раствориться в неизведанном в путешествии, «с наслаждением» затеряться в толпе древнего города, «в той возбуждающей атмосфере толпы, которая охватывает душу и тело горячим веянием жизни и тянет к слиянию с жизнью всего мира». И текут «все новые и новые толпы, полные страстного и волнующего зноя жизни. И когда в этот зной врывается свежее дыхание ночи и моря, я пьянею от сладкого сознания, что и я в этом новом Содоме и свободен...» (*Полн. собр. соч.*, т. IV, с. 113, 114).

В этом приобщении к неизведанному прекрасному — путь к обновлению себя и к обновлению жизни, — по Достоевскому: красота спасет мир. Приобретенный опыт убеждал: «Всякое путешествие очень меняет человека». Приходило сознание преемственности бытия, и укреплялась мысль, что не может погибнуть что-то «непостижимо божествен-

ное в человеке», — то, что и есть жизнь.

Идея бессмертия проникает рассказы «Тень Птицы» и придает им универсальный смысл. Бунин «верил в бессмертие сознания, но не своего я», — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, говоря о своей беседе с ним 9 февраля 1923 года.

В «Тени Птицы» в высочайшей художественной форме выразилась та особенность русской литературы, о которой говорил Достоевский, — явленная миру столь удивительно в Пушкине, — это «способность всемирности, всечеловечности, всеотклика».

Бунин писал: «Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почувал». Рассказы «Тень Птицы» написаны так, как бы он сам был, говоря словами Достоевского, «гражданин древнего мира».

В этих рассказах не только чувство истории и беспримерная зоркость художника, обзорающего все «царства и славу их», но и великий дар постижения прошлого. В этом ему близок Толстой не только как исторический романист, но и как глубокий мыслитель с его постоянным интересом к Востоку, к воз-

зрениям древних учителей жизни и философов — Индии, Китая, Японии. Именно у Толстого, как сказал Бунин, «обостренное ощущение Всебытия» (Бунин, т. 9, с. 47).

Сам Бунин связывал идеи, которыми он проникся в путешествиях, с его пониманием Толстого: «Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал» (Бунин, т. 9, с. 47).

А писал он о людях, обладающих способностью особенно сильно чувствовать время чужое, прошлое и чужие страны, — это «поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой (...) Все они (...) отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия...» (Бунин, т. 9, с. 48). Почуять «темный след // Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве», — как говорит Бунин в стихотворении «В горах», — значит в некоей мере ощутить Всебытие.

Об изображении Востока у Бунина писал Ю. Айхенвальд: «Его пленяет Восток, „светоносные страны“, про которые он с необычайной красотой лирического слова вспоминает теперь (...) Для Востока, библейского и современного, умеет Бунин находить соответственный стиль, торжественный и порою как бы залитый знойными волнами солнца, украшенный драгоценными инкрустациями и арабесками образности; и когда речь идет при этом о седой старине, теряющейся в далах религии и мифологии, то испытываешь такое впечатление, словно движется перед нами какая-то величавая колесница человечества» (ЦГАЛИ).

Тень Птицы*

Альманах «Земля», сб. 1, М., 1908.

Рассказ написан, как говорит В. Н. Муромцева-Бунина, «после нашего первого путешествия на Ближний Восток в 1907 году, но там все из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году, в ту „незабвенную весну“» («Жизнь Бунина», с. 148).

В письме брату Юлию Алексеевичу 12 ап-

реля 1903 года Бунин сообщал, что отправился он в путешествие на пароходе «Нахимов» из Одессы 9 апреля. В пути — «чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких». При приближении к Босфору «открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко, гористые берега (...) Солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор». 13 апреля Бунин продолжил письмо: «Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию... Босфор поразил меня красотой. Константинополь. Часов в десять мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское подворье... В подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню» («Жизнь Бунина», с. 144–145). Это типично для Бунина:

путешествуя, в незнакомом городе он обычно поднимался на самую высокую точку, чтобы осмотреть все в целом.

«Кроме обычных мест, посещаемых туристами, (проводник) Герасим водил его в частные дома (...) Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал ее, зато ислам вошел глубоко в его душу (...) Он взял с собою книгу персидского поэта Саади „Тезкират“, он всегда, когда отправлялся на Восток, возил ее с собой» (там же, с. 146). «Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве» (там же, с. 143).

В. Н. Муромцева-Бунина, совершившая вместе с Буниным путешествие на Восток в 1907 году, вспоминает: «Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, посольство, кладбище... Он знает Константинополь не хуже Москвы (...)

Ян говорит о ветхости и запустении этого, по его словам, самого лучшего города в мире.

Сообщает мне разные исторические сведения, упоминает о прежних великих султанах».

Взяв комнаты в Афонском подворье, — продолжает Вера Николаевна, — «спешим по темному коридору, освещенному тусклой лампочкой, обратно в город. Спускаемся к Золотому Рогу, к мосту Валидэ. Темнеет. Стамбул силуэтом вырисовывается на зеленоватом небе. Скутари зажигается огнями... Из шумной и освещенной Галаты мы попадаем через мост Валидэ, за проход по которому берут какую-то мелкую монету, в тихий и темный Стамбул.

Да, здесь смесь Византии и Востока». (Здесь и в дальнейшем цитирую воспоминания В. Н. Муромцевой-Буниной о путешествии Бунина по Востоку, по рукописи, которую она любезно прислала мне.)

«Quocumque adspicias nihil est nisi pontus et aer». — «Взоры куда ни направь, повсюду лишь море и небо». Овидий. Скорби, кн. 1, элегия 2, стих 23.

Святая София — Айя-София, храм святой Софии, превращенный турками, завоевавшими-

ми Константинополь в XV веке, в мечеть.

Море богов*

Журн. «Северное сияние», СПб., 1908, № 1,
ноябрь.

В Пирее... мы бросили якорь... — Бунин с женой, Верой Николаевной, отправились из Константинополя 17 апреля 1907 г. Иван Алексеевич, — вспоминает Вера Николаевна, — «говорил об „алтарях“ солнца, то, что он потом развил в своей книге „Храм Солнца“, высказывал пожелание уехать на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, Южной Америке, на островах Таити».

Из Пирея в Афины прибыли поездом. «Когда мы выезжаем из города, — пишет Вера Николаевна, — в глаза нам ударяет выжженный холм с золотисто-желтыми храмами, которые так прекрасны на густо-синем фоне неба... Ян выскакивает из экипажа, бежит к входу, пробитому в гранитной стене, окружающей Акрополь внизу, и быстро поднимается по широкой мраморной лестнице к Пропиле-

ям». «Вот мы входим по мраморным плитам в Парфенон... Садимся на скользкую ступень лестницы и некоторое время сидим молча.. Ян поднимает небольшой кусок мрамора и говорит, что ни за что не расстанется с ним, тайком унесет с собой».

Опять в море. В ранних вариантах рассказа читаем: «Вот и Хаос Гезиода, то первобытное и безликое, из чего возник мир! Сколько богов рождалось на берегах этого моря и сколько их поглотил этот Хаос, подобно титану Кроносу, поглощавшему всех чад своих от Реи! Первый бог, почувствованный человеком, был столь страшен, что человек даже в молитве не дерзал произносить его имя, — как это было в Халдее, в Египте, у племен семитических и даже у греческих — в диких горах и лесах Аркадии, где долго поклонялись только Волчьему Зевсу, требовавшему жертв человеческих... Человеческих жертв требовало и Солнце, воплощавшееся в капищах по берегам этого моря то в Бэла, то в Молоха, то в Илу-Самаса, то в Иегову — „огонь поедающий“... А Время все поглощало и поглощало его образы. Поглощило оно и Озириса и Зев-

са... Поглотило и Гора и Аполлона, „детей Солнца“... Затмевает своим дыханием и лик Иисуса... Но Солнце все же существует! На Крит мы не заходили, — продолжает Бунин. — Проснувшись на рассвете, я увидел волнистый силуэт высокого мыса, голубевшего в утреннем паре. Родина Зевса Олимпийского! Пусть Кронос поглотил-таки его — легенда его детства так трогательна! Рея укрывалась от Кроноса в гроте, озаряемом золотым отблеском от хрустально-кобальтовой влаги; пчелы кормили его янтарным медом, коза давала ему свои лиловые сосцы. А когда ребенок плакал, воины били копьями в медные щиты — и ребенок смолкал, тараща на них светлые глазки, и Кронос ничего не слышал за веселым трезвоном» (Бунин, т. 3, с. 436–437).

Дельта*

Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4085, 29 мая. В *Полн. собр. соч.* этот рассказ частично входил в текст рассказа «Зодиакальный свет».

Двадцатого апреля 1907 года Бунин и Вера

Николаевна прибыли в Александрию. «Здесь, — пишет Вера Николаевна, — гораздо больше, чем в Константинополе, бросается в глаза смешение туземных кварталов с европейскими домами и отелями на широких улицах и просторных площадях. Кроме того, в этом смешении есть и нечто африканское, первобытное».

В отрывках, исключенных Буниным из последней редакции текста, об Александрии читаем: сюда «когда-то стеклись чуть не все древние религии и цивилизации, которые уже свершили свои пути и, воздвигнув им памятники, искали спасения в космополитизме, готовые возвратиться к первобытному братству и к первобытному Безыменному Богу». Александрия стала «городом, блистающим мраморными театрами, храмами, портиками, библиотеками, Серапеумом — „храмом погребенного Солнца“, — и вот в нем сошлись жрецы, философы, грамматикки, софисты, поэты и ученые всех стран, дабы Солнце возродилось...»

Походы Александра «изумили, раздвинули грани земли до сказочного, породили тысячи

сказаний, покрыли тысячи свитков рассказами о неведомых прежде богах и странах... Заложив город и гавань в Дельте, в Месопотамии Египта, он как бы снова созвал человечество на равнину Сенаарскую — к построению новой Вавилонской башни. Пусть снова смешаются языки! Даже одна попытка достигнуть неба перерождает мир!»

Александр, «стерший грани почти всех царств земли, совершивший жертвы во всех ее капищах, но поклонявшийся, может быть, только Неведомому богу Сократа и Платона, родился для того, чтоб, соединив царства востока и запада, построить первый международный город и заложить первые основания какого-то нового храма, взамен опустевших храмов Греции, Иудеи и Египта. И на его город выпала беспримерная в истории роль — стать центром всех религий и всех знаний древности, стать предшественником Назарета... а потом и „великим полем битвы за имя Христово“, — полем печальным, впрочем... Разве есть место, которого не могли бы осквернить жрецы и схоласты?» (Бунин, т. 3, с. 440–441).

Жизнь Египта «текла во тьме и рабстве, стала подобна „палке, изъеденной червями“... А был ли на земле народ более славный? В темные и жестокие времена варварства он первый восстал среди народов в беспримерной цельности и законченности своего облика — и на первобытной земле, каждая пядь которой оплачивалась кровью, сумел сохранить этот облик пять тысячелетий. Он не знал себе равных ни в труде, ни в созидании памятников, ни в знаниях, ни в морали, ни в отваге, уживавшейся рядом с изумительной для того времени кротостью. Он был наставником всего древнего мира: это на основах его культуры, его религии выросли Ассирия, Финикия, Иудея, Греция — и христианство. За четыре тысячелетия до Греции он создал беспримерное по силе резца ваяние, создал беспримерную по тонкости, чистоте, яркости и простоте живопись; создал поэзию гимнов, беспримерную по вдохновению; создал религию — беспримерную уже по одному тому, что она одна не потребовала человеческих жертвоприношений!

Он никогда не знал судр и париев. Никогда

на знал рабства женщин. Он всегда был человечен, опрятен, мягок в обращении, благоговейно чтит жизнь во всех ее проявлениях; об этом свидетельствует прежде всего обоготворение животных — обоготворение земных проявлений божественной творческой силы. Он не раз властвовал над всем Востоком, но даже и в эти дни никогда не уподоблялся в свирепости другим народам, обивавшим городские стены кожей пленных.

„Добро ярче изумруда в черной руке невольника“, — начертал он на папирусе, — и добро стало краеугольным камнем и веры его, и всех житейских установлений.

Вера была величественна и грандиозна, как величественны и грандиозны все труды и все искусства Египта. Первобытная, космическая широта мысли сочеталась в Египте с величайшей изощренностью и тонкостью. Вера Египта в основе своей, в первоисточниках признала единого бога и множество светозарных форм его. Она была, по чудесному выражению Шамполиона, пантеистическим единобожием(...) Радость бытия, где смерть лишь ступень к совершенству, радость сыновней

близости к Отцу и братской близости ко всему живому, участие в красоте и гармонии светозарного космоса — вот что было основой египетского пантеизма, столь близкого к пантеизму христианства. Но, придя в Мемфис и воздвигнув пирамиды, Египет точно схоронил под ними свою веру. Замкнутый, мистически строгий, он становился все мрачнее и мрачнее. Он уже вступил в те великие битвы народов, что затянулись на тысячелетия и, затопив землю кровью, породили грозные и страшные глаголы еврейских пророков. „И предал его господь в руки властелина жестокого. И стали сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И оскудели реки и каналы египетские. И дух Египта изнемог в нем... И прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых...“» (Бунин, т. 3, с. 442–444).

Свет Зодиака*

Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 3000, 9 июня. В *Полн. собр. соч.* рассказ частично входил в текст рассказа «Зодиакальный свет».

Каир шумен... — О пребывании в Каире В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Едем по прекрасной аллее, прямой и обсаженной высокими деревьями... Уже в конце аллеи различаем пирамиды. Ян сравнивает их с деревенскими ригами. Издали они не кажутся грандиозными... Наконец, останавливаемся. Идем мимо английского отеля.

— Вот где пожить бы зимой! — роняет он как бы про себя.

Мы с ним быстро идем вперед. Но тут нас обступают проводники, хозяева верблюдов, предлагающие прокатиться вокруг пирамид... Мы всеми правдами и неправдами отбились от всех этих докучливых, развращенных туристами людей.

И вот мы одни у подножья Хеопса, и только тут, подойдя вплотную к пирамиде, я ощущаю ее величину. Но ни взбираться на нее, ни осматривать внутри мы не решаемся — слишком жарко! Мы обходим вокруг все пирамиды, удивляемся высоте каждого уступа и всем существом понимаем, что значит „египетская“ работа... Затем долго стоим перед

Сфинксом, очень засыпанным песками... Потом идем дальше по пустыне, по слоистым пескам. Становится жарко, песок начинает нагреваться. Ян опасается солнечного удара, но все же идет и идет вперед. Доходим до какого-то могильника. Ян устремляется в него». «Довольно долго стоим около террариума (в зоологическом саду) с маленькими очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается, — у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями». В старом Каире поднимались «на Цитадель, где находятся колодезь Иосифа, мечеть и дворец вице-короля...

Как во всех восточных городах, жизнь протекает здесь на улице. Тут и бреют, и стряпают, и производят всякие ручные работы. Конечно, масса полуголых, чумазных детей, пристающих с бакшишем... На Цитадель мы поднялись как раз вовремя, за четверть часа до заката. Колодезь Иосифа волнует нас своей древней простотой. В мечеть мы только заглядываем, она в стиле Айя-Софии. Двор ее

большой, чистый, выложен мрамором, обнесен высокими стенами, с фонтаном впереди. Цитадель построена Саладином в XII веке, на нее пошли камни с малых пирамид.

Нас тянет западная сторона, откуда открывается вид на весь Каир-, сначала мы видим Старый Каир с лесом минарет, затем Новый, далее пирамиды, пустыню».

О пирамидах Бунин писал: «Я обошел Великую пирамиду и с запада. Я прошел между Хуфу и Хафри по широкой волнистой долине. Хафри был близко-близко... Но показалась вдали кучка людей: три бедуина, два европейца в кремовой фланели и розовое платье под белым зонтиком, блестящим на солнце. И потому, как четки, но малы были их фигурки среди песчаных бугров, сразу стало видно, как обманчиво, как громадно пространство между мной и пирамидой, между небом и песками. И долго, долго шел я, спотыкаясь на блестящие черные камни, увязая в шелковистых рассыпчатых наносах.

В глубине долины Хафри скрылся. Стало почти страшно — так светло, так тихо и жарко было в ней. Впереди тянулась гряда скал,

заметенная сверху серым золотом, с пробитыми в ней входами в могильники. Я заглянул в один и увидел в душном полусвете звериный помет, похожий на зерна кофе. Одна стена была закопчена дымом, — верно, пастухи ночевали. Но здесь могли быть и гиены... И я поспешил выбраться на солнце. Гиен не оказалось, зато мои руки и вся одежда мгновенно покрылись живой, жгучей сеткой блох... А когда я достиг наконец Великой пирамиды, то увидел жалкую сцену: бедуины проделывали с европейцами комедию езды на верблюде. Верблюд с глухим внутренним ревом и клокотаньем поднимался с колен, и толстая женщина, боком сидевшая на нем, вытаращив глаза и исказив красное, потное лицо ужасом, отчаянно визжала и хваталась за черные руки бедуина.

Голос ее прозвучал в знойном пространстве между небом и пустыней, как писк. В голове моей, одурманенной жарой и усталостью, тяжело отдавался стук сердца. Шлем был мокр, руки горели от укусов» (*Полное собрание сочинений*, т. IV, с. 163–164).

Иудея*

Сб. «Друкарь», М., 1910. Эта публикация включает также тексты, позднее выделенные в самостоятельные рассказы «Камень» и «Шелол».

Предлагая Н. Д. Телешову свой рассказ, Бунин писал ему 1 августа 1909 года: «Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора» (*ЛН*, кн. 1, с. 586).

Бунин писал рассказ в Васильевском, Орловской губ., весной и летом 1908 года. В. Н. Муромцева-Бунина, вспоминая о пребывании Бунина в это время в Васильевском, говорит: «Он писал „Иудею“, просматривал „Море богов“, „Зодиакальный свет“».

О пребывании в Иерусалиме Вера Николаевна пишет: мы идем «к Западным Воротам, с грубой средневековой башней. По дороге рассматриваем при дневном свете сарацинскую зубчатую стену, которая скрывает древний город, спускающийся с запада на восток.

Пройдя сквозь темные ворота, мы останав-

ливаемся на крохотной площади и смотрим на Цитадель Давида, окруженную рвами и бойницами. Потом спускаемся по странной узкой улице со сводами, а местами с холщовыми навесами, делающими ее сумрачной. Сразу охватывает трепет: одно название чего стоит — улица Царя Давида!» Затем уехали «фаэтоном» на Елеонскую гору. «Ян указывает мне Иосафатову долину и говорит:

— Это место Страшного Суда. И евреи и мусульмане считают великим счастьем быть похороненными здесь. — И он привел слова пророка Иоиля о Долине Иосафата». Об этом — стихи Бунина «Долина Иосафата». Потом поднялись по склону Елеонской горы. На горе — православный храм, «он очень не вяжется с угрюмой пустынностью Иудеи; к тому же, словно нарочно, купола его выкрашены в густой синий цвет. Мы поднялись на колокольню... На обратном пути остановились в Гефсиманском саду». Есть стихотворение Бунина «В Гефсиманском саду» (1894).

Мечеть Омара — мечеть, именуемая Куббат ас-Сахра, конец VII в. Омар — арабский ха-

лиф, завоеватель Иерусалима. В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Пройдя мимо Судилица Соломона, мы вступаем на ослепительно белый двор. Не буду описывать Мечети Омара, скажу лишь то, что навеки сроднилось с моей душой: сверкающая белизна ее двора с темными кипарисами (напоминавшими мне картины Беклина), массивное великолепие храма, стоящего на мраморном возвышении и отливающего светло-желтым кафелем и голубым фаянсом, а внутри мечети — огромный, черный, шершавый камень под зеленым балдахинном, — скала Мориа, — яшмовые и порфиновые колонны, сохранившиеся со времен Храма Соломона, мозаики, похожие на парчу, и запах „кипариса с запахом розовой воды...“»

Камень*

Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2930, 31 марта. В *Полн. собр. соч.* рассказ «Камень» соответствует главам 4-й и 5-й рассказа «Иудея» (см. также примеч. к рассказу «Иудея»).

Стена Плача. — Вера Николаевна вспоминает: «Пройдя по улице Давида несколько дальше той улочки, которая ведет к Храму Господню, мы свертываем вправо и, спускаясь по уступам, попадаем в узкое замкнутое пространство. Восточная сторона его — высокая каменная стена; это и есть „Стена Плача“, главное святилище евреев; некогда она была частью укреплений, окружавших Храм Соломона, ныне же — часть внешней — стены, идущей вокруг Мечети Омара».

Камень Мориа. — К словам Талмуда: «Камень Мориа, скала» — Бунин сделал примечание, приписав от руки на полях первого тома изд. «Петрополиса»: «Имя Скалы — Эвенгашетия, то есть в переводе: Камень Основы». С Камнем Мориа связаны различные легенды. Бунин цитирует Коран и говорит, каким символом, по Корану, является Камень Мориа для мусульман:

«...Камень Мориа, „непрестанно размахивающийся между небом и землей“, как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным» (Бунин, т. 9, с. 48).

О Камне Мориа говорится в поэме В. А. Жуковского «Агасфер».

Шеол*

Бунин. Ив. Тень Птицы. Париж, 1931. В *Полн. собр. соч.* рассказ соответствует главе шестой рассказа «Иудея» (см. также примеч. к рассказу «Иудея»).

Астарта (Истара, Иштар) — богиня древних вавилонян, олицетворение звезды Венеры. Ее культ носил сладострастный характер. О ней — стихотворение Бунина «Истара» (см. т. 1 наст. изд.).

Тир и Сидон — города-государства древних финикийян (соврем. Сур и Сайда).

Пустыня дьявола*

Газ. «Русское слово», М., 1909, № 296, 25 декабря.

Бунин пишет: «В забвении почитает святая земля, возвратившаяся к первобытной нищете и безлюдности. Но незабвенна ее летопись. И великой меланхолии исполнены ее дремот-

ные дали» (Полн. собр. соч., т. IV, с. 192).

Страна содомская*

Газ. «Русское слово», М., 1911, № 158, 10 июля, под заглавием «Мертвое море».

Храм Солнца*

Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 12, декабрь.

В. Н. Муромцева-Бунина пишет: из Бейрута к Баальбеку отправились поездом. «Едем мы в третьем классе, — на востоке мы ездили днем всегда в третьем классе, — всегда увидишь что-нибудь интересное... познакомишься с некоторыми нравами... После перевала длинный туннель, — прорезываем насквозь Ливан. За ним много распаханной земли. Далее цепь Антиливака со своим знаменитым Гермоном... Едем по долине, которая слева от нас замыкается Ливаном, а справа Антили-вак.

Баальбек — развалины огромного храма, вернее храмов, самых древних и самых огромных из всех, когда-либо созданных рукой человеческой. Как показывает само на-

звание, они были посвящены Ваалу, богу Солнца.

За Баальбеком — пустыня, хотя и плодородная. От огромного города, который на своем веку претерпел так много и от людей и от землетрясений, осталось маленькое селение, а от храма — шесть исполинских колонн... Мы долго бродим среди этих циклопических развалин, с каким-то недоумением взираем на колонны, которые вблизи кажутся еще более исполинскими... Мы оставались среди руин до самого заката, то есть до того времени, когда вход в них запирают... Ян, отвоевывая лишние полчаса у нетерпеливо ожидавшего сторожа, ждавшего нашего ухода, взбирается к подножию колонн, и мы долго не можем его дозваться». О Баальбеке см. комментарий к стихотворению «Храм Солнца», написанному во время пребывания Бунина в этом селении — 6 мая 1907 г., — в т. 1 наст. изд.

Во время вечерней прогулки, продолжает Вера Николаевна, «на окраине селения мы остановились. Тут Ян неожиданно стал читать стихи. Он читал (все восточные) как-то особенно, я никогда раньше, да, пожалуй, и

потом не слыхала такого его чтения».

Бунин взял с собой в поездку бейрутское издание «History of Baalbek by Michel M. Alouf», 1905.

Геннисарет*

Газ. «Русское слово», М., 1912, № 297, 25 декабря. В *Полн. собр. соч.* указано, что рассказ написан 9 декабря 1911 года на Капри. В газете «Возрождение» (Париж, 1927, № 691, 24 апреля), где текст напечатан со стилистическими изменениями и сокращениями, начало и окончание работы над рассказом отмечено двойной датой: «1907–1927».

Бунин писал: «Но надо видеть страну Геннисаретскую: теперь она, молчаливая, пустынная, делит участь всей Палестины» (*Полн. собр. соч.*, т. IV, с. 217).

В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает в своих воспоминаниях о поездке в Вифлеем, город в Палестине (соврем. Бейт-Лахм), где, согласно Библии, родился Иисус Христос: «Это небольшой городок, окруженный возделанными полями, с возвышающимся над ним храмом Рождества Христова, перед которым

мы остановились. Церковь двухэтажная, тоже какая-то радостная. На полу в нижнем храме — звезда, место, где находились ясли. Мы долго стояли на белой лестнице храма, под сводчатым каменным навесом... Не помню, о чем шел разговор, но помню, что Ян неожиданно прочел: „Был Авраам в пустыне темной ночью...“» («Авраам»).

Nic de Virgine Maria Jesus Christ us natus est. — Здесь родился от девы Марии Иисус Христос (лат.).

Назарет — город в Палестине; согласно библейскому рассказу, здесь прошло детство Христа.

Тивериада — город Галилеи на берегу Тивериадского (Геннисаретского) озера.

В стране пращуров*

ЛН, кн. 1, с. 76–78. Печатается по этому тексту.

Путешествие, о котором говорится в рассказе, Бунин совершил вместе с женой в 1911 году. В Коломбо они прибыли 2 марта, на Цейлоне жили около полумесяца. Вера Николаев-

на писала 7/20 марта родным в Москву: «Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный Буддийский храм. Сегодня мы уезжаем отсюда в горы(...) Поразило меня буддийское богослужение. Мы вошли первый раз в храм их вечером. В полумраке грохот бубен, бой в барабан, игра на флейтах, много цветов с одуряющим запахом, и бонзы в желтых мантиях (...) Мне очень нравится, что здесь приносятся в жертву цветы» («Материалы», с. 162–163).

8/21 марта. «Нурильо, где мы находимся, горное местечко, здесь прохладно, ночью даже холодно. Немного отдохнули от жары. Ян очень истомлен. Мне кажется, что ему вредно потеть при его худобе. Пища здесь ужасная, почти все с перцем. Но зато так хорошо, красиво, интересно, что редко бывает подобное сочетание: и древности, и чудесная растительность, — здоровый климат. Много увидели нового, например, здешние туземцы мужчины не стригут волос, и делают прически, и все носят гребень, панталон, так же, как в Египте, нет, а все в юбках и босиком. Ездят

здесь на людях, как в Японии. Легонький на резиновых шинах двухколесный экипаж везет на себе вместе с толстым англичанином худой черный голый сингалезец, сильно обливающийся потом под отвесными лучами солнца.

Сегодня утром мы поднялись на одну из здешних вершин. Поднимались три часа, спускались полтора часа. Все время шли по хорошей искусственной дорожке, вьющейся среди леса. Растительность здесь какая-то необыкновенная: деревья покрыты мхом, какие-то гелиотроповые цветы. Сухо было поразительно, что-то по временам шуршало в сухих листьях, может быть и змеи. Когда мы взошли на вершины, то увидели целый океан гор, идущих кольцами, а на горизонте серебряная гирлянда облаков, — это было на 8300 футов над уровнем моря. Тянуло свежестью, может быть, с океана. Здесь горы конусообразные, только Адамов пик имеет иную форму».

В тот же день Вера Николаевна сообщала брату:

«Мы теперь в Англии, но не в той, дождли-

вой, со сплином, в которой вы были в прошлом году, а в цветущей, экзотической, где чувствуется нега Азии, с удушающе-сладкими запахами и красной почвой (...)

После восемнадцатидневного перехода по Красному морю и океану, где мы пережили совершенно новые ощущения, видели очаровательные закаты, необыкновенно красивые лунные ночи, обливались потом и практиковались во французском языке, мы, наконец, попали в Коломбо.

И с первого же шага изумление и восхищение попеременно охватывают нас. Прежде всего меня поразила мостовая терракотового цвета, затем рикши — люди-лошади с их элегантными легкими колясочками, потом необычная растительность, тут все есть...

В Коломбо мы прожили два дня, жили за городом в одноэтажном доме-бунгалове, в саду, комнаты без потолка, всю ночь электрический вентилятор производил ветер, — жара была неугасимая. Ездили мы на рикшах за несколько верст к отелю, стоящему на океане за городом. Возвращались при лунном свете, казалось, что едешь по какой-то волшебной

стране.

Из Коломбо мы поехали по железной дороге в Кэнди, путь очень интересный, идет среди гор мимо плантации чая... проходит через рощи кокосовых пальм, по временам поезд несется над пропастями...

В Кэнди тоже были два дня. Ездили в лунную ночь в горы, видели летающие огоньки. Бездна, освещенная лунным светом, блестела. Несколько раз были в Буддийском храме. Видели танцы диазола: их танцуют с факелами в руках под бой бубен, грохот барабанов и пение туземцев. Зрелище интересное, но утомительное. Теперь мы поднялись еще выше, в местечко Nuwarn Eliya, выговаривают ее Нурилья.

Едим здесь ананасы, бананы, но виски не пьем, хотя и видим, как пьют их спокойные англичане» (там же, с. 163–164).

«На Цейлоне мы пробыли с полмесяца, — пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина автору данного комментария 15 мая 1957 года, — он там почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля. То, что чувствовал его англичанин в „Братьях“,

автобиографично. Идти в Японию нам было уже нельзя из-за отсутствия средств, — много стоил Египет, кроме того, он уже не мог лишнего дня оставаться, а парохода в Японию нужно было ждать».

11/24 марта 1911 года Бунин писал Юлию Алексеевичу: «Были на севере острова — в Анарадхапуре, видели поистине чудеса, о которых — при свидании. Теперь сидим в Коломбо. Ждем парохода — он придет из Сингапура 31 марта (нового стиля) и, надеемся, доставит нас в Одессу не позднее 10–15 апреля (старого стиля). Очень изнурила жара» (там же).

А. Бабореко

Выходные данные

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений

Том 3. Повести и рассказы 1907–1914

Редакционная коллегия:

Ю. В. Бондарев, О. Н. Михайлов, В. П. Рынкевич

Подгот. текста и коммент. А. Бабореко

Статья-послесловие Л. Крутиковой

Редактор В. Фридлянд

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Сеницына

Корректор И. Усольцева

ИБ № 4588

Сдано в набор 16.01.86. Подписано к печати
24.08.87. Формат 84 X 108 1/32

Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр. отт. 35, 70. Уч. изд.
л. 38,56.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1 — 250 000 экз.)

Изд. № Н-2561. Заказ № 802. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Примечания

Где вы, дети мои? (фр.)

[^^^]

2

«Ворон, взобравшись на дерево» (франц.).

[^^^]

3

«Ворон, взобравшись на дерево» (фр.)

[^^^]

4

Большое спасибо (франц.).

[^^^]

5

Помни о смерти! (лат.).

[^^^]

6

И шумит, и гремит, и разверзаются небеса
(лат.).

[^^^]

7

Ни одного места без гения! (лат.)

[^^^]

Золотарев А. А. Бунин и Горький. — Наш современник, 1965, № 7, с. 103.

[^^^]

Эта часть комментария к «Деревне» и некоторые другие фактические сведения о повести, а также о «Суходоле», которые здесь приводятся по Собранию сочинений в девяти томах (т. 3. М., 1965), написаны автором данного комментария.

[^^^]